А. Ф. МЕРЗЛЯКОВ

Советский писатель

А. Ф. МЕРЗЛЯКОВ

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА


Алексѣй Өеодоровичъ Мерзляковъ
Рисов. Конст. Афанасьевъ

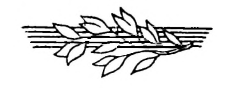
БИБЛИОТЕКА ПОЭТА
ОСНОВАНА
М. ГОРЬКИМ

Большая серия
Второе издание

ЛЕНИНГРАД · 1958

А. Ф. МЕРЗЛЯКОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

Вступительная статья,
подготовка текста и примечания
Ю. М. Лотмана

А. Ф. МЕРЗЛЯКОВ КАК ПОЭТ

1

Литературная деятельность А. Ф. Мерзлякова относится к первой четверти XIX века (наиболее активная — к первому его десятилетию). Оценка Мерзлякова как поэта невозможна без определения места, которое он занимал в общественно-литературной борьбе своей эпохи.

Главным содержанием общественной и идеологической жизни в России в первую четверть XIX века было формирование и развитие декабризма. Этим объясняется, что внимание советских исследователей литературы этого периода сосредоточилось по преимуществу на изучении художественной теории и творческой практики писателей, принадлежавших к лагерю дворянских революционеров. Магистральная линия общественного развития проходила именно здесь. Будучи сам по себе, бесспорно, правильным, подобный подход приводит, однако, к тому, что роль недворянского лагеря этих лет до сих пор недостаточно оценена и слабо изучена с фактической стороны. Для того чтобы определить историческое место даже таких крупных литературных фигур, как, например, И. А. Крылов, их пытаются — порой с натяжками — «приблизить» к декабристам. Это невыгодно сказывается не только на полноте наших представлений об эпохе, но и на изучении самой дворянской революционности.

Программа декабристов формировалась в сложном взаимодействии с идеологическими системами, не укладывавшимися в рамки дворянского мировоззрения. В. И. Ленин указывал, что «в 1825 году Россия впервые видела революционное движение против царизма, и это движение было представлено почти исключительно дворянами». [1]

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 23, стр. 234.

Вместе с тем идеология дворянской революционности не складывалась как классово-дворянская идеология, т. е. как теоретическая защита классово-корыстных интересов дворянства. Напротив: она ставила вопрос о положении народа, о ликвидации крепостничества. Развитие дворянской революционности в России сопровождалось глубоким внутренним перерождением дворянской идеологии по мере внесения в нее демократических элементов. Именно это обусловило возможность эволюции герценовского типа: по мере усиления демократических черт в противоречивом единстве идеологических представлений дворянской революционности — переход на определенном этапе на демократические позиции и разрыв с дворянским мировоззрением. Декабристы, писал В. И. Ленин, «были заражены соприкосновением с демократическими идеями Европы во время наполеоновских войн».[1] Разумеется, вытекавший из общего кризиса феодально-крепостнической системы процесс «заражения» лучшей части дворянской интеллигенции демократическими идеями был длительным, подготовленным задолго до заграничных походов всей суммой демократических идей России и Европы, от энциклопедистов до Радищева и публицистики эпохи французской революции.

События русской жизни начала XIX века и прежде всего — Отечественная война 1812 года, ставя перед передовой частью дворянской молодежи проблему народа, его прав и роли в истории, народности в литературе, — разбивали «маленькую философию»[2] дворянских идеологов карамзинского лагеря и создавали благоприятные условия для усвоения демократических идей.

Выяснить значение передовой недворянской мысли начала XIX века, роль демократической профессуры (Мерзляков, А. П. Куницын, Н. Н. Сандунов, Л. Цветаев и др.) и таких писателей, как И. А. Крылов, А. Х. Востоков, Н. И. Гнедич,[3] В. Т. Нарежный для формирования идеологии декабризма, — очередная задача науки. Необходимость изучения недворянского лагеря общественной мысли первой четверти XIX века диктуется также тем, что в мировоззрении деятелей последующего, демократического периода не все было преемственно связано с системой воззрений дворянских революционе-

---

[1] В. И. Ленин. Сочинения, т. 23, стр. 237.

[2] Выражение К. Н. Батюшкова в письме к Н. И. Гнедичу (октябрь 1812 г.). К. Н. Батюшков. Сочинения, т. 3. СПб., 1886, стр. 209.

[3] Относительно Востокова и Гнедича вопрос этот поставлен в работах В. Н. Орлова «Русские просветители 1790—1800-х годов», изд. 2-е. М., 1953, и И. Н. Медведевой в сб. «Декабристы и их время». М.—Л., 1951.

ров. Наряду с герценовским путем — от революционности, далекой от народа, к демократизму — существовал и другой путь формирования передовой идеологии: от демократизма стихийного, зачастую весьма далекого от политического протеста, — к общественному радикализму.

Все это заставляет считать задачу изучения недворянского лагеря литературы первой четверти XIX века вполне назревшей. Однако перед исследователем этого вопроса встает целый ряд трудностей. Интересующий его лагерь не занимал господствующего положения в литературно-общественной жизни эпохи. Отчасти поэтому у него не было ни отчетливо сформулированных принципов, ни признанных литературных руководителей. Последнее обстоятельство вызывает настоятельную потребность углубленного изучения всего лагеря, причем так называемые «второстепенные» деятели, вроде, например, В. С. Сопикова,[1] В. Г. Анастасевича,[2] З. Буринского и других, ни в коем случае не должны быть упускаемы из виду.

При всем различии в позиции и значении такого рода деятелей есть нечто, объединяющее их: никто из них не может быть включен ни в одну из современных им дворянских литературно-общественных группировок. В этом отношении, например, попытка осмыслить творчество Мерзлякова в рамках карамзинизма[3] так же вызывает возражения, как и полемическое причисление его последователями Карамзина к лагерю шишковистов (см., например, «Видение на берегах Леты» К. Н. Батюшкова). Вместе с тем творческое лицо каждого из перечисленных деятелей, от Куницына, приближавшегося к целостной системе воззрений в духе боевой демократической философии XVIII века, до наивно-царистских настроений, сочетавшихся со стихийной ненавистью к дворянам, в творчестве незначительного поэта-крестьянина И. Варакина,[4] настолько своеобразно, что трудно

---

[1] О мировоззрении Сопикова см. П. Н. Берков. «Идеологическая позиция В. С. Сопикова в «Опыте российской библиографии». — «Советская библиография», 1933, № 1—3, стр. 139—155, и в работе Ю. Г. Оксмана «Из истории агитационной литературы 20-х годов» в сб. «Очерки из истории движения декабристов». М., 1954. Здесь же, на стр. 495, указана литература вопроса.

[2] Об Анастасевиче см.: М. А. Брискман. В. Г. Анастасевич (Из истории русской библиографии). Автореферат. Л., 1956, и его же статью: В. Г. Анастасевич и вопросы теории библиографии. «Труды Ленинградского государственного библиотечного института им. Н. А. Крупской», т. 1. Л., 1956.

[3] См. И. Н. Розанов. Русская лирика. М., 1914.

[4] В письме к Анастасевичу Варакин от имени крепостных крестьян писал: «Не мы виноваты, что не имеем случаев показать в себе Колумбов и Картезиев или Катонов, Сципионов и Су-

найти единую формулу, характеризующую весь этот обширный общественно-литературный лагерь.

К тому же, если в условиях широкого размаха крестьянских выступлений и общей предгрозовой атмосферы «великой весны девяностых годов»[1] смогла возникнуть на гребне народного возмущения целостная революционная теория А. Н. Радищева, идеологически обобщавшая освободительную борьбу крестьян, то в начале XIX века сложилась иная обстановка. Как указывает исследовательница этого вопроса, «в первые три пятилетия (XIX в. — *Ю. Л.*) количество волнений падало».[2] Но дело не только в сокращении (не столь уж значительном) абсолютного числа крестьянских восстаний, а в резкой консолидации в конце XVIII века сил того аппарата подавления, который находился в руках дворянского государства. Положение крестьян не улучшилось, и сила ненависти их к помещикам не ослабла, однако вылиться в широкое выступление, в крестьянскую войну, их недовольству было значительно труднее, чем в последней трети XVIII века. Вспышки крестьянских восстаний сталкивались со старательно укрепляемой машиной феодально-крепостнического государства и часто подавлялись, прежде чем успевали вылиться в массовые выступления. Потребовалось резкое изменение соотношения общественных сил в стране для того, чтобы к 1860-м годам начала складываться революционная ситуация.

Понижение относительной мощи крестьянских выступлений создавало обстановку, не похожую на предреволюционную атмосферу, определившую деятельность Радищева. Бесспорно, известную роль сыграл и спад революционного движения в Европе, а также и внутренняя противоречивость развития демократической мысли после революции во Франции. Новая ситуация отразилась и в умах современников — деятелей антидворянского лагеря. Борьба против крепостнически-сословного строя сочетается у них с иллюзорными надеждами на противопоставляемого дворянам царя.

В период, когда дворянская революционность еще оставалась единственно возможной формой политического протеста и вместе с тем уже назревал переход к новому, более высокому этапу (что требовало осмысления исторической ограниченности декабристов),

---

воровых, но виноваты оковавшие нас» (Рукописный отдел Государственной Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина. Собрание русских автографов. Варакин. К-4, л. 25 об.).

[1] А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем, т. 9. П., 1919, стр. 270.

[2] И. Игнатович. Крестьянские волнения первой четверти XIX в. — «Вопросы истории», 1950, № 9, стр. 49.

отрицательное отношение к барству в отдельных случаях даже приводило некоторых деятелей, например Н. И. Надеждина, к глубоко ошибочному, но исторически объяснимому отрицанию революционной борьбы вообще.

Противоречия сказывались и в эстетической программе. Революционность Радищева позволила ему создать законченную, сознательно противопоставленную дворянскому искусству эстетическую систему. Потеря революционности приводила и к утрате целостного характера художественной программы. Критически относясь к корифеям дворянской литературы своей эпохи, деятели демократического лагеря не могли противопоставить им положительной системы воззрений на искусство. Поэтому они вынуждены были или обращаться к теоретически отрицаемым ими же принципам дворянской эстетики, или, чаще всего, облекать стихийное стремление сблизить литературу с действительностью в форму защиты устаревших уже в эту пору художественных принципов (в этой связи знаменательна постоянная апелляция к творчеству Ломоносова). Создание реалистической художественной теории стало возможным только на новом историческом этапе, в эпоху Белинского.

2

Алексей Федорович Мерзляков (1778—1830) прожил жизнь, не богатую внешними событиями. Сын мелкого провинциального купца, он был отдан учиться в Пермское народное училище. Здесь тринадцати лет от роду он написал оду на мир со Швецией, которая была прислана в Петербург и обратила на себя внимание. Стихотворение было опубликовано в журнале «Российский магазин», а автор переведен в Москву, в университетскую гимназию. Дальнейшие события в жизни Мерзлякова почти исчерпываются его послужным списком. Студент, бакалавр, кандидат, магистр, доктор, адъюнкт, экстраординарный профессор, ординарный профессор и, наконец, с 1817 года до самой смерти в 1830 году, декан — все ступени университетской лестницы были пройдены Мерзляковым за более чем четверть века преподавательской работы.

Жизнь Мерзлякова протекала в окружении университетской профессуры, имевшей в эту эпоху отчетливо демократический характер. Вспомним, что в 1802 году Карамзин в «Вестнике Европы» сообщал как о событии исключительного значения о том, что в России на университетскую кафедру поднялся первый профессор-дворянин. Н. И. Греч вспоминал, как родственники его досадовали на то, что

он «избрал несовместное с дворянским звание учителя».[1] В 1793 году автор реакционной брошюрки «Мысли беспристрастного гражданина о буйных французских переменах» особенно опасался воздействия демократических идей на «народ, состоящий из попов, стряпчих, *профессоров*, бродяг...»[2] Показательно аристократическое презрение, с которым мальчик Вяземский в детской эпиграмме третировал Мерзлякова как «школьного учителя», равно как и проявившаяся при этом в поведении профессора гордость разночинца.[3]

Поэт-ученый, эрудит, организатор публичных лекций и литературных обществ, независимый перед начальством, угрюмый и неловкий в чуждой ему обстановке светского общества и вместе с тем острослов и весельчак в товарищеском кругу[4], — Мерзляков всем своим человеческим обликом был чужд дворянской среде. Менее всего он напоминал тот образ поэта, который создавала карамзинистская традиция. Его нельзя было назвать ни «праздным ленивцем», ни «баловнем счастья». Не только горькая трудовая жизнь интеллигента-разночинца, но и весь круг творческих интересов сближал Мерзлякова с миром художников-профессионалов, актеров, скульпторов, граверов, музыкантов. Дворянская культура чуждалась профессионализации. Когда граф Ф. П. Толстой решил посвятить свою жизнь живописи, ему пришлось столкнуться с резким осуждением: «Все говорили, будто бы я унизил себя до такой степени, что наношу бесчестие не только моей фамилии, но и всему дворянскому сословию».[5] Если литература карамзинистов замыкалась в рамки «изящной словесности», то, в представлении Мерзлякова, труд писателя, с одной стороны, сливался с разысканиями ученого-комментатора, переводчика, мыслью теоретика, с другой — вторгался в сферу музыки, актерского мастерства, изобразительных искусств.

Исследовательская традиция узаконила образ Мерзлякова как благонамеренного чиновника на кафедре, автора хвалебных од. Изучение материалов рисует, однако, совсем иной политический облик ученого и поэта. В идейном развитии Мерзлякова решающую роль сыграло сближение его в конце 1790-х годов с Андреем Ивановичем

---

[1] Н. И. Греч. Записки о моей жизни. М.—Л., 1930, стр. 241.

[2] Мысли беспристрастного гражданина о буйных французских переменах. СПб., 1793, стр. 4—5. Неоговоренный курсив здесь и дальше мой. — *Ю. Л.*

[3] См. «Старина и новизна», кн. 20. М., 1916, стр. 188—189.

[4] «Алексей Федорович острил беспрестанно. Нет человека любезнее его, когда он нараспашку» (С. П. Жихарев. Записки современника. М.—Л., 1955, стр. 12).

[5] Ф. П. Толстой. Записки. — «Русская старина», 1873, кн. 1, стр. 126.

Тургеневым, старшим сыном известного масона и директора Московского университета Ивана Петровича Тургенева. Вскоре возник дружеский кружок, объединивший с Мерзляковым и Андреем Тургеневым В. А. Жуковского, А. С. Кайсарова и А. Ф. Воейкова, а также подрастающего Александра Ивановича Тургенева. Как видно из дневника Андрея Тургенева, в 1799—1800 годы он встречается с Мерзляковым почти ежедневно. Они вместе посещают театр, спорят на литературные темы, зачитываются Шиллером, Гете, даже пишут совместно стихи и переводят «Вертера».

В возникшем в январе 1801 года Дружеском литературном обществе Мерзляков и Андрей Тургенев играют руководящую роль. Мерзляков составляет устав общества и в двух речах (12 и 19 января 1801 года) определяет его задачи. Главная из них — это подготовка к активному, самоотверженному служению родине. Речь 12 января кончалась словами: «Напомню вам только одно имя, одно любезнейшее имя, которое составляет девиз нашего дружества, всех наших трудов, всех наших желаний. Скажите, не написано ли на сердцах ваших: «Жертва отечеству». Итак, мы даем друг другу руки во взаимной доверенности и под благословляющею дланию отечества поем наставшему веку:

Да на наши жертвы дышит
Благодать, успех святый,
Да рука твоя напишет
Наш обет на дске бытий!» [1]

Дневник Андрея Тургенева не оставляет сомнений в политических настроениях друзей в эти годы. В запуганной павловским террором Москве друзья осуждали деспотизм, мечтали о гражданственных подвигах и часто непосредственно касались положения России. Ноябрьским утром 1799 года Андрей Тургенев встретил на улице плачущую крестьянку. «Ее спросили, и она с воем же сказала, что у ней отдают в солдаты мужа и что остается трое детей». Записав эту сцену, Тургенев сразу же обобщил: «Царь народа русского! Сколько горьких слез, сколько крови на душе твоей». Интересно, что перво-

---

[1] Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР (Пушкинский дом). Архив братьев Тургеневых, № 618, л. 24 об. В дальнейшем сокращенно: «Архив бр. Тургеневых». Некоторые цитаты из приводимых в дальнейшем материалов «Архива бр. Тургеневых» были уже использованы в работах В. М. Истрина и В. И. Резанова. Однако, поскольку границы цитат в названных статьях и в нашей работе, как правило, не совпадают, даем ссылку непосредственно на архивный источник.

начальный текст был абстрактнее: «Цари, цари, сколько горьких слез на душе вашей!» [1]

В октябре 1800 года Андрей Тургенев записал в своем дневнике: «Россия, Россия, дражайшее мое отечество, слезами кровавыми оплакиваю тебя: тридцать миллионов по тебе рыдают! Но пусть они рыдают и терзаются! От этого услаждаются два человека, их утучняет кровавый пот их; их утучняют горькие слезы их; они услаждаются; на что им заботиться! Но если этот бесчисленный угнетенный народ, над которым вы так дерзко, так бесстыдно, так бесчеловечно ругаетесь, если он будет действовать так, как он мыслит и чувствует, вы — ты и бесчеловечная, сладострастная жена твоя — вы будете первыми жертвами! Вы бы могли облегчить его участь, и это бы ничего вам не стоило!» Хотя и написанное было достаточно смело, но далее ход мысли А. Тургенева принял такой оборот, что автор не решился доверить ее бумаге и целую строку заменил точками. Затем идет не менее красноречивый текст: «Тебя наградят благословение миллионов, тебя наградит твоя совесть, которая тогда пробудится для того, чтобы хвалить. Отважься! Достигай этой награды!» [2] Достаточно сравнить этот текст с речами А. Ф. Воейкова в Дружеском литературном обществе, [3] чтобы понять, о чем идет речь: зачитывающийся «Заговором Фиеско» и «Эгмонтом» Тургенев мечтает о подвиге тираноборца, который «отважится» спасти родину от деспота.

По мнению Андрея Тургенева, законы выше воли самодержца. Весной 1800 года он записал в дневнике: «Вышел «Царь», поэма М<ихаила> М<атвеевича Хераскова>. И седой старик не постыдился посрамить седины своей подлейшими ласкательствами и, притом, безо всякой нужды. Какое предисловие! Какой надобно иметь дух, чтобы так нагло, подло, бесстыдно писать от лица истины, какая мораль:

Законов выше княжеские троны!

И ему семьдесят лет, и его никто ни в чем не подозревает, и он же после будет говорить, что проповедовал истину, исправлял людей,

---

[1] Архив бр. Тургеневых, № 271, л. 5.

[2] Там же, л. 73 об. — 74. Резко отрицательное отношение Андрея Тургенева и Мерзлякова к правительству Павла I исключает возможность истолкования цитаты как обращения к царю.

[3] См. об этом: Ю. Лотман. Стихотворение Андрея Тургенева «К отечеству» и его речь в Дружеском литературном обществе. «Литературное наследство», № 60. М.—Л., 1956, стр. 325—327 и 336.

был гоним за правду! Они и не чувствуют, как унижают и посрамляют поэзию!» [1]

Молодой Мерзляков разделял политические настроения своих друзей. Об этом достаточно красноречиво говорит написанная им в связи с событиями 11 марта 1801 года «Ода на разрушение Вавилона». М. П. Полуденский, редактируя в 1867 году сочинения Мерзлякова, в соответствии с общим реакционно-казенным духом издания, включил это стихотворение в раздел «духовных». Между тем политический смысл оды очевиден. М. А. Дмитриев в своих мемуарах, отметив, что ода возбудила всеобщее внимание, продолжает: «Многие обвиняли Мерзлякова за эту оду, находя в ней некоторые применения к смерти императора Павла. Действительно, Мерзляков написал это стихотворение вскоре по его кончине». [2]

«Ода на разрушение Вавилона» по своему политическому подтексту примыкает к «Оде достойным» Востокова и «Оде Калистрата» И. М. Борна. Как и в этих произведениях, в ней содержится намек на убийство Павла I:

Тиран погиб тиранства жертвой,
Замолк торжеств и славы клич,
Ярем позорный прекратился,
Железный скиптр переломился,
И сокрушен народов бич!

Стихи эти совпадают по общей направленности с выступлениями ряда других членов Дружеского литературного общества. Воейков, также явно намекая на современность (речь была произнесена незадолго до убийства Павла I), предлагал слушателям бросить «патриотический взгляд на Россию» во время Бирона: «Мы увидим ее обремененную цепями, рабствующую, не смеющую произнести ни одного слова, ни одного вопля против своих мучителей; она принуждена соплетать им лживые хвалы тогда, когда всеобщее проклятие возгреметь готово». [3] Стихотворение Мерзлякова, вероятно, было произнесено на заседании Дружеского литературного общества 11 мая 1801 года. На этом собрании общества, которое, может быть, не случайно состоялось в день двухмесячной годовщины событий 11 марта, Воейков произнес речь «О предприимчивости», говоря, что она «свергает с престола тиранов, освобождает народы от рабства». [4]

---

[1] Архив бр. Тургеневых, № 271, л. 54 об.

[2] М. А. Дмитриев. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869, стр. 165—166.

[3] Архив бр. Тургеневых, № 618, л. 26 об.

[4] Там же, л. 110.

Ода Мерзлякова звучит в тон дневниковым записям Андрея Тургенева и речам Воейкова. Павел — «мучитель», «чудовище земли», он «варварской десницей — соделал целый мир темницей». Стилистически примыкая к ломоносовско-державинской традиции в лирике, политической по содержанию и условно библейской по системе образов, «Ода на разрушение Вавилона» своим антимонархическим пафосом напоминает стихотворения поэтов Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. Тиран — «ужас наших дней», труп его лежит

Лишенный чести погребенья;
А там — свистит дух бурный мщенья
Против сынов твоих сынов.

Рази, губи, карай злой род,
Прокляты ветви корня злого;
В них скрыта язва, гибель нова,
В них новый плен для нас растет!

Критическое отношение к политическим порядкам в России Мерзляков сохранил и в начале нового царствования. Весной 1801 года он произнес в Дружеском обществе речь «О трудностях учения», посвященную препятствиям, стоящим на пути молодого поэта и ученого-разночинца. «Бедность, зависть, образ правления — все вооружается против него, — нельзя вместе думать о науках и о насущном хлебе; молодой человек берется за книгу и видит подле себя голодную мать и умирающих братьев на руках ее...» Особенно примечательны следующие строки: *«Я не хочу говорить о правлении;* еще лежат на российском пегасе тяжелые камни и не позволяют ему возвыситься».[1] Зато в республиканской Греции «правление греков ...способствовало тому, что поэзия греческая носит на себе особливый божественный отпечаток».[2]

В сентябре 1802 года Мерзляков писал Александру Тургеневу и

---

[1] Архив бр. Тургеневых, № 618, л. 106. В. И. Резанов ошибался, полагая, что цитированное высказывание имело в виду «меры императора Павла против литературы» (Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского, вып. 2. Пг., 1916, стр. 135). Изучение рукописей убеждает, что речь «О трудностях учения» была произнесена в первых числах мая 1801 г.

[2] А. Мерзляков. О духе, отличительных свойствах поэзии первобытной и о влиянии, которое она имела на благополучие народов. В публичном собрании имп. Московского университета июня 30 дня 1808 г. М., <1808>, стр. 16.

Андрею Кайсарову о своей вражде к «превосходительным собакам, которые всегда бывают злее обыкновенных». И тут же в характерном тоне продолжал: «Говорят, что у нас при дворе великие перемены: но мне жаль бумаги на описание перемен придворных».[1]

3

В беседах с Андреем Тургеневым, в спорах на заседаниях Дружеского литературного общества вырабатывалась и художественная программа Мерзлякова. Ранние произведения поэта создавались под сильным влиянием сначала ломоносовской одической традиции, а затем — поэтического новаторства Державина. Так, например, «Ода на разрушение Вавилона» обнаруживает не только тематическое, но и стилистическое влияние державинской оды «Властителям и судиям». Характерны в этом отношении «зрительные» эпитеты:

Твой дом есть ночь, твой одр — гниенье,
Покров — *кипящий* рой червей!

Создание политической лирики на основе конкретно-чувственной системы образов — типичная черта державинской поэзии.

Распространившееся в 90-е годы XVIII века влияние Карамзина прошло мимо Мерзлякова в первый период его творчества, зато мимо него не прошла борьба с карамзинизмом. Как видно из дневника Андрея Тургенева, 20 декабря они вдвоем спорят с Жуковским, доказывая, что Карамзин «был более вреден, нежели полезен литературе нашей».[2] В конце марта 1801 года Андрей Тургенев развил эту же мысль в речи «О русской литературе», произнесенной на заседании Дружеского литературного общества. Сопоставление речи и дневниковой записи демонстрирует полное совпадение всех основных положений, и, следовательно, речь может рассматриваться как выражение мнения обоих «корифеев» общества, как называл старшего Тургенева и Мерзлякова Александр Иванович Тургенев. Речь проникнута резким осуждением современного состояния русской литературы, и в первую очередь карамзинизма.

Литературное направление Карамзина осуждается прежде всего за отказ от гражданственной тематики, за отвлечение внимания пи-

---

[1] М. И. Сухомлинов. А. С. Кайсаров и его литературные друзья. — «Известия Отделения русского языка и словесности Академии наук», СПб., 1897, т. 11, кн. 1, стр. 27 и 29.

[2] Архив бр. Тургеневых, № 271, л. 76 об.

сателя от «высокого» содержания к литературной обработке и изяществу слога. Карамзин «слишком склонил нас к мягкости и разнеженности. Ему бы надлежало явиться веком позже, тогда, когда бы мы имели уже более сочинений в важнейших родах; тогда пусть бы он в отечественные дубы и лавры вплетал цветы свои... Он вреден потому еще более, что пишет в своем роде прекрасно; пусть бы русские продолжали писать хуже и не так интересно, только бы занимались они важнейшими предметами, писали бы оригинальнее, важнее, не столько применялись к мелочным родам, пусть бы мешали они с великим уродливое, гигантское, чрезвычайное; можно думать, это очистилось бы мало-помалу. Смотря на общий ход просвещения и особенно литературы в целом, надобно признаться, что Херасков больше для нас сделал, нежели Карамзин».

Последнюю фразу нельзя истолковывать как идеализацию творчества Хераскова — отношение к нему Андрея Тургенева, как мы видели, было отрицательным. Резко-критическая статья Мерзлякова о «Россиаде», напечатанная в 1815 году в «Амфионе», по свидетельству самого автора, отражала мнения, родившиеся «в незабвенном... любознательном обществе словесности»,[1] т. е. Дружеском литературном обществе. Речь шла о предпочтении «важной», эпической поэзии «легкой», салонной.

В речи Андрея Тургенева Карамзину противопоставлен Ломоносов: «Мы ... имели Петра Великого, но такой человек для русской литературы должен быть теперь второй Ломоносов, а не Карамзин».[2] Однако и в данном случае имелась в виду государственная, гражданская тематика, патриотический пафос поэзии Ломоносова, а не его

---

[1] «Амфион», М., 1815, № 1, стр. 51. Ср. в речи «О поэзии и о злоупотреблении оной» Андрея Тургенева: «Херасковы! Державины! Вы хотите прославлять его (Александра I, — речь идет об оде Хераскова «Как лебедь на водах Меандра...» и «Гимне кротости» Державина. — *Ю. Л.*). Но вы то же говорили и о тиранах, вы показывали те же восторги! Мы вам не верим! Молчите и не посрамляйте себя своими похвалами» (Архив бр. Тургеневых, № 618, л. 74). И в данном случае позиция Андрея Тургенева и Мерзлякова совпадала. Характерен резкий отзыв последнего о Державине в письме Жуковскому от 7 июня 1804 г.: «Державин выдал анакреонтические песни ... этот Анакреон пел при Павловом дворе и Павла самого иногда под именем Феба, иногда Амура...» («Русский архив», 1871, № 1, стр. 0148. Подлинник в архиве Жуковского в Государственной Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина, оп. 2, ед. хр. 73, л. 146 об.).

[2] А. Фомин. Андрей Иванович Тургенев и Андрей Сергеевич Кайсаров. Отдельный оттиск из журнала «Русский библиофил», СПб., 1912, стр. 28.

система политических идей. Прославлению царей в поэзии Тургенев противопоставлял воспевание политической свободы. В речи «О поэзии и о злоупотреблении оной» он спрашивал: «Отчего поэты, законодатели смертных, изъяснители таинств божества, теперь не что иное, как подлые любимцы пышности, рабы суетности и тщеславия». Далее следовала резкая оценка «предметов» поэзии Ломоносова: «Смею сказать, что великий Ломоносов, творец российской поэзии, истощая свои дарования на похвалы монархам, много потерял для славы своей. Бессмертная муза его должна бы избрать предметы столь же бессмертные, как она сама; в глазах беспристрастного потомства, со дня на день менее принимающего участия в героях его, должны, наконец, и самые песни его потерять цены своей. Прославляй великие дела Петра, прославляй дела Елизаветы, Анны, Екатерины, но не возобновляй ежегодно торжественных песней на день их рождения, тезоименитства, вступления на престол и проч. Бог, природа, добродетели, пороки, одним словом моральная натура человека со всеми бесконечными ее оттенками — вот предметы, достойные истинного поэта!» [1] Как следует понимать последнюю фразу, видно из того, что Ломоносову противопоставляется Тиртей — «песнопевец», который «вливает в целые тысячи воинов дух неустрашимости, стремление победить или умереть за отечество». В такой поэзии он видел ее «бессмертное происхождение», в песнях поэта — «вдохновение небес». [2]

Как увидим, именно к Тиртею обратился и Мерзляков.

Идеалом поэта — создателя поэзии «высокой», вдохновенной, «важной» и свободолюбивой одновременно — для Мерзлякова, Андрея Тургенева, Андрея Кайсарова в эти годы был Шиллер. Увлечение бунтарской поэзией молодого Шиллера, его драмами «Разбойники», «Коварство и любовь», «Заговор Фиеско», «Дон Карлос» приобретало характер пламенного поклонения. Шиллер противопоставляется Карамзину. «Что ни говори истощенный Кар<амзин>, — записывал Андрей Тургенев в дневнике осенью 1799 года, — но, как ни зрела душа его, он не Шиллер!» [3]

Открывая 19 января 1801 года Дружеское литературное общество, Мерзляков начал речь с чтения по-немецки гимна Шиллера

---

[1] Архив бр. Тургеневых, № 618, л. 73—73 об.

[2] Там же, л. 72 об.

[3] Архив бр. Тургеневых, № 271, л. 11. Как видно из письма А. Кайсарова к Андрею Тургеневу (1802), противопоставление Шиллера Карамзину в кругу Дружеского общества было в известной мере традиционным (см. Архив бр. Тургеневых, № 50, л. 145).

«К радости». В дневнике Андрея Тургенева читаем: «Из всех писателей я обязан Шиллеру *величайшими* (курсив оригинала.— *Ю. Л.*) наслаждениями ума и сердца. Не помню, чтобы я что-нибудь читал с таким восторгом, как «Cab<ale> u<nd> Liebe» в первый раз и ничья философия так меня не услаждает... А «Песнь к радости» как на меня подействовала в первый раз, этого я никогда не забуду».[1]

В сообществе с Андреем Тургеневым Мерзляков переводит «Вертера» Гете, «Коварство и любовь» Шиллера (первый перевод сохранился, второй утрачен).[2] Возникает проект совместного (Мерзляков, Андрей Тургенев и Жуковский) перевода «Дон Карлоса»,[3] причем на Мерзлякова возлагается перевод «той сцены, где Поза говорит с королем».[4] Когда Андрей Тургенев перевел гимн Шиллера «К радости» (сохранились лишь черновики), Мерзляков пишет подробный разбор перевода.[5] Вероятно, в 1801 году Мерзляковым было написано обширное стихотворение в форме послания Вертера Шарлоте. Особенное сочувствие вызывает бунтарство Карла Моора. В дневнике Андрея Тургенева находим характерную запись: «Нет, ни в какой французской трагедии не найду я того, что нахожу в „Разбойниках"». Тургенев, говоря о Карле Мооре, восклицает: «Брат мой! Я чувствовал в нем совершенно себя!»[6] С Мерзляковым он спорил о «разбойничьем чувстве». Андрей Кайсаров в записке Андрею Тургеневу, одной из тех, которыми обменивались друзья, живя в Москве, писал: «Ну, брат, прочел я «Разбойников». Что это за пиеса! Случилось мне последний акт читать за обедом, совсем пропал на ту пору у меня аппетит к еде, кусок в горло не шел и волосы становились дыбом. Хват был покойник Карл Максимилианович!»[7]

Шиллер воспринимался в кругу Дружеского общества как певец попранной человеческой свободы и прав личности. Услыхав от Андрея Кайсарова об издевательстве командира над унтер-офицером, вынужденным молча смотреть на бесчестие собственной жены, Андрей Тургенев видит в этом частный случай издевательства над человеком (в унтер-офицере его привлекает противоречие между рабским поло-

---

[1] Архив бр. Тургеневых, № 272, л. 14 об.

[2] См. дневник Андрея Тургенева. Архив бр. Тургеневых, № 271, л. 51 об.

[3] См. там же, л. 70 об.

[4] См. письмо Андрея Тургенева Жуковскому (лето 1799). Архив бр. Тургеневых, № 4759, л. 7 об.

[5] См. письмо Андрея Тургенева Жуковскому (1802); там же, л. 47.

[6] Архив бр. Тургеневых, № 271, л. 56 об.

[7] Там же, № 50, л. 192 об.

жением и сердечной добротой) и записывает в дневнике: «Если бы Шиллер, тот, которого я называю «моим Шиллером», описал это молчание во всех обстоятельствах!» И далее: «Это огненное, нежное сердце, давимое, терзаемое рукою деспотизма — лишенное всех прав любезнейших и священнейших человечества — деспотизм ругается бессильной его ярости и отнимает у него, отрывает все то, с чем бог соединил его».[1]

Антифеодальные, демократические идеи XVIII века воспринимались ведущей группой Дружеского литературного общества не в их непосредственном, наиболее последовательном варианте, представленном во Франции предреволюционной демократической философией, в России — Радищевым, но в форме бунтарства и свободомыслия, характерного для молодых Гете и Шиллера.

Революционная теория Радищева была неразрывно связана с общими принципами материализма. Не случайно развитие его философской мысли началось с изучения Гельвеция: идея оправданности человеческого эгоизма, права индивидуума на максимальное счастье, которое, в условиях общественно-справедливого строя, обеспечит максимальное счастье и народу — сумме таких индивидуумов, — лежит в основе этики Радищева.

Материалистическая этика XVIII века оказалась чужда деятелям Дружеского литературного общества. Зато им было близко шиллеровское сочетание антифеодального демократического пафоса с осуждением материализма. Специфические условия России начала XIX века, как мы уже говорили, сильно затрудняли усвоение демократической системы идей XVIII века, наследия французских материалистов и Радищева в их полном объеме. Истолкование антифеодальных лозунгов Шиллером больше привлекало участников Дружеского литературного общества. В этом отношении знаменательно, что имена философов-материалистов в сохранившихся дневниках и переписке членов общества почти не упоминаются. В дневнике Андрея Тургенева зафиксирована беседа его с Мерзляковым, в которой дана резко отрицательная характеристика Вольтера.[2]

Любопытно, что из французских писателей ближе всего членам кружка оказались Руссо, ценимый не ниже, чем Шиллер, и Мабли, воспринятый не как философ-коммунист, а как суровый судья современности, проповедник героического стоицизма античных республи-

---

[1] Архив бр. Тургеневых, № 271, л. 24 об. Через несколько дней он записал в дневнике: «А я все думаю об этом молчании» (л. 25).

[2] «Дерзость, ругательства, эгоизм — главные черты его философии» (Архив бр. Тургеневых, № 271, л. 9 об.).

канцев, как писатель, осуждающий мораль, основанную на личной пользе, и противопоставляющий ей этику древней Спарты. В письме, адресованном Мерзлякову и Жуковскому, Андрей Тургенев сообщал, что Мабли «вселил» в него «твердость и спокойствие, презрение к глупым обстоятельствам. . .»[1] Мерзляков был прочнее, чем Андрей Тургенев, связан с традицией просветительской философии XVIII века. Однако в этот период черты сходства в их взглядах были гораздо глубже, чем различие между будущим профессором-разночинцем и начинающим поэтом передового дворянского лагеря.

4

Охарактеризованная система воззрений определила и подход Мерзлякова и Андрея Тургенева к поэзии. На первый план выдвигается высокая гражданская лирика, противостоящая субъективно-лирической тематике карамзинистов, культуре альбомной поэзии, салонным «безделкам». Опытом создания героической свободолюбивой поэзии было стихотворение Андрея Тургенева «К отечеству». К подобным же попыткам следует отнести «Оду на разрушение Вавилона» Мерзлякова, его стихотворение «Слава» и переводы из Тиртея. «Ода на разрушение Вавилона», хотя и написана позже стихотворения «Слава», традиционна по своей художественной системе. Стихотворение «Слава» в этом отношении вносит много нового.

Ранние стихи Мерзлякова свидетельствуют о политической благонамеренности автора. Перелом в идейных настроениях поэта совершился, видимо, в 1799—1800 годы, совпав со временем сближения с Андреем Тургеневым. 8 сентября 1800 года Мерзляков писал Жуковскому: «Когда кончится это шальное для меня время? Когда попаду я на путь истинный? . . Как бы ты назвал это состояние, в котором я теперь хочу делать и не делаю; хожу, задумавшись, из одного угла в другой, бегаю как бешеный по улицам, ругаюсь со всеми? Сумасшествие! Не так ли? По крайней мере я чувствую, что это кризис, кризис для всего меня, решительная лихорадка для моих муз».[2]

Изменения во взглядах Мерзлякова определили интерес его к политической тематике в поэзии. Политическое содержание стихотворения определено общей позицией поэта. Идея прав человека в

---

[1] Архив бр. Тургеневых, № 4759, л. 29 об.
[2] «Русская старина», 1904, № 5, стр. 445.

стихотворении «Слава» развивается как мысль о всеобщем братстве людей, примиренных в гармонии общечеловеческого единства:

Месть, прощеньем усладися,
Руку, падший друг, прими,
Человечество, проснися
И права свои возьми.

Осуществление гуманистических, антифеодальных идей мыслится не как результат борьбы с угнетателями, а как всеобщее примирение, альтруистический отказ от своекорыстного эгоизма, уважение даже во враге человека:

Мы одно составим племя
Всем нам общего отца.
Райского блаженства семя,
Нам любовь влита в сердца.

Идеал гармонического общества для Мерзлякова мыслился лишь как часть всеобщей гармонии вселенной. Слава, сливающая людей в общество, соединяет миры в стройное единство:

Ею блещут и живятся
Все творенья на земли,
Горы всходят и дымятся,
Превращаясь в алтари...
...В безднах света неизмерных
Веет сильный славы дух.
Солнца, им одушевленны,
Составляют братский круг.
В мир из мира льется, блещет
Чувство в пламенных лучах,
И вселенная трепещет
В гармонии и хвалах.

Связь «Славы» с гимном «К радости» Шиллера раскрывается не столько в сходстве размера (четырехстопный хорей), строфического построения (чередования хора и корифея), не столько в сходстве отдельных высказываний, сколько в близости основополагающей мысли, излагая которую, Андрей Тургенев писал в дневнике: «Правду говорил мой Шиллер, что есть минуты, в которые мы равно расположены прижать к груди своей и всякую маленькую былинку, и всякую отдаленную звезду, и маленького червя, и все обширное

творение».[1] Задумав стихотворение «Весна», Андрей Тургенев решает закончить его призывом «к людям», — «чтобы они покорились любви, т. е. небольшой гимн к любви. Все в связи».

Последнее положение интересно. В системе материалистической философии XVIII века исходной точкой морали была собственная польза отдельной личности. «Польза, как мы уже сказали, должна быть существенным мерилом для людских суждений», — говорил Гольбах.[2] «Деяния человека не суть бескорыстны», — писал А. Н. Радищев.[3] Имея четко антифеодальный смысл, подобная точка зрения рассматривала личное благо отдельного человека как высшую цель общественного союза. Именно в обществе, если оно справедливо, человек приобретает наибольшую личную свободу. Последовательно проводя эту мысль, Радищев пришел к смело сформулированной идее: естественное право, т. е. безграничная свобода человека, не уничтожается в обществе (последнее положение было общим местом философии XVIII века), а, напротив, именно в обществе возникает; в естественном состоянии естественное право существует лишь как возможность. «В общественном же положении естественное право заключает в себе всю возможность деяния и есть неограниченно».[4] Общество распадалось на бесчисленные человеческие единицы, связанные совпадением личного и общего блага. С идеалистической точки зрения подобный подход воспринимался как освящение эгоизма и раздробление единого человеческого союза на единицы. Идея всеобщей связи, единства, гармонии воспринималась как противостоящая материалистической морали. В эпиграмме «Философский эгоист» Шиллер противопоставлял учению о себялюбии как основе морали идею всеобщей объединяющей вселенную любви:

Самодостаточно, мнишь ты, уйти из чудесного круга
В мире, где все существа связаны цепью живой?
Как же хочешь ты, нищий, прожить, на себя полагаясь,
Если взаимностью сил держится вечность сама?[5]

Воззрения Шиллера перекликались с характерным для Мерзлякова и Андрея Тургенева и повлиявшим на концепцию «Славы» сочетанием демократического пафоса прав личности, достоинства чело-

---

[1] Архив бр. Тургеневых, № 271, л. 52 об.

[2] Поль Гольбах. Система природы. М., 1940, стр. 181.

[3] А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, т. 3. М.—Л., 1952, стр. 31.

[4] Там же, стр. 47.

[5] Ф. Шиллер. Собрание сочинений, т. 1. М., 1955, стр. 209.

века как высшей внесословной ценности — и идеалистического осуждения пользы как принципа морали. «Космизм» художественных образов «Славы», стремление рассматривать человека как часть единой мировой системы (ср. более позднее стихотворение «Труд») — в свою очередь также были связаны с идеалистической мыслью той эпохи.

Художественная система «Славы» строится в соответствии с идейным заданием. Поскольку в центре стоит представление о мире как о некоей единой идеальной сущности, содержание стихотворения не дает картины материальной жизни. Поэт создает образы, персонифицирующие отвлеченные моральные принципы. Это, в частности, проявляется в стилистике стихотворения, строящейся на абстрактных понятиях:

Кровь сожжет железо плена,
Кровь да смоет рабства стыд!
Старость ищет, оживленна,
Обгорелый шлем и щит,
Храбрость мирты разрывает
Ржавым, радуясь, мечом,
Праздность праздный оставляет,
Слабый стал богатырем!

«Шлем», «щит», «меч», «мирты» создают отвлеченно-аллегорический, окрашенный в тона античной образности фон, который придает всему произведению черты абстрактно-героического гражданственного стиля, широко распространенного в искусстве 1800-х годов. Художественная система «Славы» представляет своего рода литературную параллель к таким произведениям изобразительного искусства, как, например, скульптуры Мартоса и известные медали Ф. Толстого в память 1812 года.

В реализации возникшего в Дружеском литературном обществе, как и в творчестве ряда других поэтов тех лет, лозунга создания героического искусства сыграли роль переводы Мерзлякова из Тиртея, осуществленные, видимо, несколько позже.

На основе культа античного свободолюбия у ведущей группы Общества вырабатывался идеал героя-гражданина, борца, а не пассивного созерцателя. Осенью 1802 года Андрей Тургенев писал в дневнике: «Деятельность кажется выше самой свободы. Ибо что такое свобода? Деятельность придает ей всю ее цену».[1] Сочетание идеи свободолюбия с аскетической моралью заставляло наделять об-

[1] Архив бр. Тургеневых, № 1239, л. 13.

раз идеального гражданина чертами сурового стоика, презирающего личное счастье, искусства, радость жизни. В предисловии к переводу «Освобожденного Иерусалима» Тассо Мерзляков писал: «Римляне новейших времен, при всем унизительном упадке умов и нравов, все еще сохранили воспоминание о величии своих нравов. Они и поныне еще уверены, что кровь Энея течет в их жилах, и имя Цезаря всегда лестно для их слуха. Но сии мысли о величии не могли соединяться с великодушными чувствованиями и геройскими подвигами, которые столько прославили древних римлян. Новейшие пристрастились к предметам, для них более ближайшим. *Энтузиазм свободы они заменили энтузиазмом изящных наук:* они предписывали великие почести и имя самой добродетели дарованиям, которые их забавляли. Не могши более возлагать венцов в Капитолии на воинов, кои покоряли вселенную, они определили сей триумф поэтам, обогатившим их язык и прославившим нацию ...*Таким образом, театральный героизм заступил место истинного героизма*». К слову «добродетель» Мерзляков сделал характерное примечание: «Слово virtus означало прежде *силу*, потом *мужество* и, наконец, нравственное величие. У итальянцев слово virtus означает только успехи в изящных искусствах, и слово, которое в начале своем изъясняло качество, столь многим возвышающее человека, ныне приписывается существам, лишившимся всех отличительных свойств человека. «Soprano есть превосходный виртуоз».[1] Характерна запись в дневнике Н. И. Тургенева: «Мерзляков говорил ныне о высоком и приводил разные тому примеры: а) Трое Куриацов были родные братья, и когда двух убили, третий убежал. Отцу их сказали это, прибавя: что же ему было делать? Умереть, — ответил он».[2]

Воплощение героического идеала видели в первую очередь в древней Спарте, рисуемой в духе идеализации ее в сочинениях Мабли. Причем из концепции французского философа воспринималось не осуждение собственности, а проповедь суровой морали, героической бедности, противопоставления богатых, украшенных искусствами Афин, героической простоте Лакедемона. В поэзии это преломлялось как требование героического искусства и отрицание «разнеживающих» стихов о любви.

В свете сказанного становится понятным интерес Мерзлякова именно к поэзии Тиртея. Она воспринималась как искусство, при-

---

[1] Освобожденный Иерусалим. Поэма Торквата Тасса, переведенная с итальянского Алексеем Мерзляковым. М., 1828, стр. XLII—XLIII.

[2] Н. И. Тургенев. Дневники и письма, т. 1. СПб., 1911, стр. 89.

зывающее к борьбе,[1] суровая поэзия гражданственных подвигов. В непосредственной связи с переводами песен Тиртея находится проясняющая их главную мысль заметка «Сравнение Спарты с Афинами», опубликованная несколько месяцев спустя за подписью NN. Тесная связь этих произведений позволяет предположить, что под псевдонимом NN скрывался Мерзляков.

«Спартанцы, — читаем в этой заметке, — для всех веков суть пример патриотизма, добродетели, великодушия. В Афинах научались хорошо говорить — в Спарте хорошо делать. В Афинах учили *философствовать* — в Спарте *быть философами.* Афины никогда не наслаждались внутренним спокойствием и самая свобода нередко служила для них орудием бедствий, междоусобных браней, битв кровавых; законы Ликурговы, до Лизандра процветавшие, были единственны, примерны. Железные деньги лакедемонян служили им оплотом против роскоши. Спартанцы были люди — *и без золота!*»[2]

Противопоставление Спарты Афинам обозначало этические идеалы революционного аскетизма и морали философов-материалистов XVIII века. Отрицание богатства воспринималось не как социальная программа имущественного равенства, а как проповедь бескорыстной добродетели. В этом отношении обращение к *спартанской поэзии* Тиртея (хотя сам поэт и был родом из Афин), конечно, не случайно. Однако образ Тиртея имел и другой смысл: он воспринимался как идеальный поэт-борец, и в этом смысле образ его вошел в декабристскую поэзию и публицистику. Так, Кюхельбекер ставил Тиртея рядом с Байроном и Шиллером[3] и мечтал «воссесть близ Пушкина и близ Тиртея».[4] Рылеев, сравнивая Немцевича с Тиртеем, писал о поэте, который «высокими песнями» возбуждал «в сердцах сограждан любовь к отечеству».[5] Для Пушкина также имена «Тиртея, Байрона и Риги» («Восстань, о Греция, восстань. . .») в этом отношении однозначны.

---

[1] В предисловии к журнальному тексту переводов из Тиртея Мерзляков писал о том, что спартанцы «готовы были снять осаду и бежать в Спарту. Поэт ободрил побежденных, воспев перед ними военные песни свои, которые дышали любовью к отечеству и презрением к смерти. Спартанцы с яростью ударили на мессенян и увенчали войну блестящей победой. Тиртей в награду получил право гражданства — отличие, которое лакедемоняне весьма высоко ценили» («Вестник Европы», 1805, № 11, стр. 29).

[2] «Вестник Европы», 1806, № 1, стр. 30—31.

[3] См. «Мнемозина», ч. 3. СПб., 1825, стр. 172—173.

[4] В. К. Кюхельбекер. Лирика и поэмы, т. 1. Л., 1939, стр. 75.

[5] К. Ф. Рылеев. Полное собрание сочинений. М.—Л., 1934, стр. 468.

Создавая свои переводы из Тиртея, Мерзляков не был озабочен воссозданием духа подлинной античности. На это указывает то обстоятельство, что, владея греческим языком и будучи знаком с подлинным текстом, он за образец взял немецкий его перевод (см. об этом в примечаниях). Его интересовало другое — создание образцов русской героической поэзии, где в центре — образ «великого в мужах», который «пламенеет — завидной страстью встретить смерть». Его «душа отечеством полна»:

Не ждет врагов, он их сретает,
Не спросит тайно, сколько сил,
Когда отечество взывает, —
Пришел, увидел, победил!..
. . . .
Друзья! — страстям, порокам — брань!
Гоните праздность, лесть!
Вся храбрых жизнь — отчизне дань!
Им пища — благо, честь!

Характерно, что при дальнейшей обработке журнального текста, отдаляясь от немецкого оригинала, Мерзляков убрал мифологические понятия, нейтральные с точки зрения гражданской патетики, но усилил «спартанский» колорит.

Текст «Вестника Европы» (1805)

Пусть силой, крепостию дивной
Он превзойдет *Циклопов* всех,
Пусть будет быстр, как ветр пустынный,
И упредит *Борея* бег...
Герой, в ряду дружины ратной
Трясущий грозно копием,
Есть дар от неба благодатный
Отечеству, народам всем!

Текст «Подражаний и переводов» (1825)

Пусть силой, крепостью телесной
Он диво — богатырь в рядах;
Пусть быстротою стоп чудесной
Он ветры упреждал в полях...
Герой, в ряду дружины ратной
Трясущий грозно копие, —
Се! дар от неба благодатный,
Се, *Спарта*, счастие твое!

Мерзляковские переводы из Тиртея не прошли незамеченными: П. А. Вяземский в 1810 году в связи с выходом «Образцовых русских сочинений» упрекал составителя этой хрестоматии Жуковского: «Зачем не напечатали вы прекрасного перевода Мерзлякова Тиртеевых од?» [1] Пропуск этот, очевидно, был не случаен: героическая граж-

---

[1] П. А. Вяземский. Запросы господину Василию Жуковскому от современников и потомков. Сочинения, т. 1. СПб., 1878, стр. 1.

данская лирика была чужда Жуковскому. Однако вскоре и сам Жуковский, оказавшись в 1812 году в центре военных событий, под влиянием кружка А. С. Кайсарова (А. С. Кайсаров был директором типографии штаба Кутузова) обратился к героической лирике, и опыт переводов Мерзлякова был им, бесспорно, учтен. Характерно, что после создания «Певца во стане русских воинов» за Жуковским утвердилось прозвище Тиртея.[1]

Как мы видели, политические воззрения Мерзлякова в этот период во многом совпадали со взглядами Андрея Тургенева. Однако в воззрениях друзей имелись и отличия. Демократическое происхождение Мерзлякова, воспитание, поприще университетского преподавателя, на которое он уже вступал, придавали и мыслям его, и всему жизненному облику характерные черты разночинного интеллигента конца XVIII — начала XIX веков. Исключая Андрея Тургенева, друзьями Мерзлякова на всем протяжении его жизненного пути оказывались такие же, как он сам, разночинцы, выбившиеся к вершинам образования и искусства, — артисты, писатели, профессора. Через Мерзлякова и Андрей Тургенев знакомился с этой средой и, бесспорно, испытывал ее влияние. Характерно, что именно на квартире у Мерзлякова он встречался с Нарежным и спорил с ним о Шиллере. Через Мерзлякова, видимо, протянулась нить к И. Е. Срезневскому.[2] Не случайно поэтому то, что, если в постановке проблем политического свободомыслия Мерзляков шел за Андреем Тургеневым, то в интересе к другому существенному вопросу — народности — оказывался его руководителем.

5

Проблема народного, национально-самобытного искусства остро встала в литературных дискуссиях Дружеского литературного общества. Интерес к фольклору как средству создания национально-самобытной культуры был свойствен и Мерзлякову. «О, каких сокровищ мы себя лишаем! — писал Мерзляков в 1808 году. —

[1] Когда Тиртей другой, во струны жизнь вдыхая,
Бессмертие стяжал, бессмертных воспевая,
И славой гимн его вождям победных сил
Тарутинских полей твердыни огласил

(П. А. Вяземский. Избранные стихотворения. М.—Л., 1935, стр. 105).

[2] Связь И. Е. Срезневского с Дружеским литературным обществом отмечена его биографом (Русский биографический словарь, т. «Смеловский — Суворин», СПб., 1909, стр. 274), который ссылается на «Тетради». Установить нынешнее местонахождение этого документа нам не удалось.

В русских песнях мы бы увидели русские нравы и чувства, русскую правду, русскую доблесть, — в них бы полюбили себя снова и не постыдились так называемого первобытного своего варварства. — Но песни наши время от времени теряются, смешиваются, искажаются и наконец совсем уступают блестящим безделкам иноземных трубадуров. — Неужели не увидим ничего более подобного несравненной песне Игорю?»[1] Те же мысли Мерзляков развивал и в Дружеском литературном обществе. Они оказались близки и Андрею Тургеневу.

Осуждая Карамзина, Андрей Тургенев противопоставлял его творчеству поэзию не только героическую, «важную», но и народную: «Читай аглинских поэтов и ты увидишь дух агличан; то же и с французским и немецким, по произведениям их можно судить о характере их нации, но что можешь ты узнать о русском народе, читая Ломоносова, Сумарокова, Державина, Хераскова, Карамзина? В одном только Державине найдешь очень малые оттенки русского, в прекрасной повести Карамзина «Илья Муромец» также увидишь русское название, русские стопы. Театральные наши писатели вместо того, чтобы вникать в характер российского народа, в дух российской древности и потом в частные характеры наших древних героев, вместо того, чтобы показать нам, по крайней мере, на театре что-нибудь великое, важное и притом истинно русское, нашли, что гораздо легче, изобразив на декорациях вид Москвы и Кремля, заставить действовать каких-то нежных, красноречивых французов, назвав их Труворами и даже Миниными и Пожарскими». Современная литература, по мнению Андрея Тургенева, утратила «всю оригинальность, всю силу (énergie) русского духа», черты которых он видит только в фольклоре. «Теперь только в одних сказках и песнях находим мы остатки русской литературы». Песни, которые «выразительны, в веселом ли то или в печальном роде», противопоставляются «новейшим подражательным произведениям».[2]

Идея национально-самобытного искусства стала одним из ведущих принципов руководящей группы Дружеского общества. Много позже, будучи уже профессором Дерптского университета, свободолюбец и враг крепостного права А. С. Кайсаров писал: «Мы рассуждаем по-немецки, мы шутим по-французски, а по-русски только молимся богу или браним наших служителей».[3]

---

[1] А. Ф. Мерзляков. О духе, отличительных свойствах поэзии первобытной и о влиянии, которое имела она на нравы, на благоденствие народов. М., <1808>, стр. 14.

[2] А. Фомин. Андрей Иванович Тургенев и Андрей Сергеевич Кайсаров. СПб., 1912, стр. 26—27.

[3] «Чтения в императорском обществе истории и древностей российских», 1858, кн. 3, стр. 143.

Однако в практическом осуществлении призыва к народности у каждого из друзей был свой путь. У Андрея Тургенева к 1802 году увлечение Шиллером отходит в прошлое, а народность начинает ассоциироваться с Шекспиром. Характерно, что именно Шекспир приходит ему на мысль при чтении песен Мерзлякова.[1] Кайсарова интерес к народности привел к изучению славистики, русской истории и к требованию уничтожения крепостного права. Что касается Мерзлякова, то размышления над этим вопросом привели его к созданию песен.

Песни Мерзлякова не свободны от влияния традиции романса и дворянской псевдонародной лирики конца XVIII — начала XIX веков. Н. И. Надеждин отмечал в некоторых из них «резкие обмолвки против русского народного языка», но он же говорил, что «их существенная прелесть состоит в народности».[2] Белинский, хотя также указывал в песнях Мерзлякова на «чувствительные обмолвки» против народности,[3] в общем ценил их очень высоко. «Это был талант мощный, энергический, — писал он о Мерзлякове, — какое глубокое чувство, какая неизмеримая тоска в его песнях! Как живо сочувствовал он в них русскому народу и как верно выразил в их поэтических звуках лирическую сторону его жизни! Это не песенки Дельвига, это не подделки под народный такт — нет: это живое, естественное излияние чувства, где все безыскусственно и естественно».[4]

Главным признаком народности песен Мерзлякова Белинский считал то, что он «перенес в свои русские песни русскую грусть-тоску, русское гореванье, от которого щемит сердце и захватывает дух».[5] Положение это имело для Белинского принципиальный смысл. Он писал, что грусть есть то «общее, которое связывает нашу простонародную поэзию с нашей художественною, национальною поэзиею».[6] Белинский настаивал на этом положении, поскольку

---

[1] В письме Жуковскому из Вены: «Кланяйся, брат, Мерзлякову, скажи, чтобы он берегся от лихорадки и что я нашел непростительный анахронизм в его песне: «Воет север за горами»; а потом: «Не ходить было красной девке» (далее в тексте: «Вдоль по лугу-лугу. — *Ю. Л.*). Точный Шекспир!» (Архив бр. Тургеневых, № 4759, л. 56).

[2] «Телескоп», 1831, № 5, стр. 91.

[3] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 5. М., 1954, стр. 564.

[4] Там же, т. 1. М., 1953, стр. 63.

[5] Там же, т. 9. М., 1955, стр. 532.

[6] Там же, т. 5. М., 1954, стр. 26. Ср. Н. И. Мордовченко. В. Белинский и русская литература его времени. М.—Л., 1950, стр. 184.

грустный характер русской песни был для него свидетельством безотрадного положения народа. Н. И. Мордовченко, обративший внимание на это положение, указал на связь его с высказываниями о русской песне в «Путешествии» Радищева. Подобное понимание фольклора не было чуждо и Мерзлякову. Один из его университетских слушателей вспоминал: «Мерзляков советовал нам, т. е. всем студентам, прислушиваться к народным песням и записывать их: «В них вы услышите много народного горя», — говорил благородный профессор».[1]

«Песни Мерзлякова дышат чувством», — писал А. Бестужев. Песни Мерзлякова лиричны и не касаются социальных вопросов, но бесспорно, что разлитая в них и привлекшая Белинского «неизмеримая тоска» связана была с мыслью о печальной судьбе народа. Антикрепостнические настроения Мерзлякова в середине 1800-х годов были засвидетельствованы им печатно.

В 1807 году Мерзляков издал книгу «Эклоги П. Виргилия Марона» (в сборник были включены и некоторые другие переводы античных авторов). Тексту было предпослано предисловие «Нечто об эклоге», в котором неожиданно находим рассуждение о происхождении рабства. Говоря об изображении «пастухов» в литературе, Мерзляков допускает несколько возможных авторских решений: «Стихотворец воображает их или такими, какими они были во времена равенства и беспечности, украшенные простотою природы, простотою невинности и благородною свободою, или такими, какими они сделались тогда, когда *нужда и сила* произвели властителей и рабов, когда приобрели они себе работы тягостные и неприятные. . .»[2]

Мысль о том, что рабство имеет своей основой обман и насилие, была распространена в публицистике конца XVIII — начала XIX веков. Однако в данном случае мы можем, с большой долей вероятности, назвать источник рассуждения Мерзлякова, позволяющий говорить о том, что мысли автора статьи об эклоге были сосредоточены не столько на рабстве вообще, сколько на судьбе русского крестьянина. В 1806 году друг Мерзлякова А. С. Кайсаров защитил в Геттингене и опубликовал на латинском языке диссертацию «О необходимости освобождения рабов в России» («De manumittendis per Russiam

---

[1] М. Н. Чистяков. Народное предание о Брюсе. — «Русская старина», 1871, № 8, стр. 167.

[2] Эклоги Публия Виргилия Марона, переведенные А. Мерзляковым, профессором императорского Московского университета. М., 1807, стр. IX—X.

servis»), где находим не только мысль Мерзлякова, но и почти дословное ее выражение: «...чем дальше углубляется разум в вопрос происхождения рабства и стремится добраться до самых его истоков, тем вероятнее, по сравнению с другими, нам кажется мысль, считающая, что *сила* и обман произвели это проклятое бедствие. Ведь трудно сомневаться в том, что по праву войны свободные люди, побежденные и подчиненные власти врагов, сохранившие жизнь ценой потери свободы, *насильно* превращались в рабов; *обман же* действует тогда, когда богатые извлекают выгоду из *нужды* людей, угнетенных бедностью».[1]

Нет оснований сомневаться в том, что Кайсаров сразу же прислал Мерзлякову экземпляр своей диссертации. Отношения между ними были самые дружеские, шла оживленная переписка. Мерзляков посылал Кайсарову в Геттинген свои песни (см. примечание к песне «Я не думала ни о чем в свете тужить...»), а в 1810 году выпустил в свет второе издание русского перевода «Славянской мифологии» Кайсарова (первый вышел во время заграничного путешествия автора, возможно, без его ведома).

Работа Мерзлякова над песнями наиболее активно шла в 1803—1806 годы. В этот период были созданы: «Я не думала ни о чем в свете тужить...», «Ах, что ж ты, голубчик...», «Чернобровый, черноглазый...», «Сельская элегия» («Что мне делать в тяжкой участи моей...»), «Ах, дéвица, красавица...», а, возможно, и ряд других песен (датировка многих из них вызывает затруднения). Это время с основанием можно считать новым важным этапом в развитии литературного дарования Мерзлякова.

Новый период в творчестве поэта совпал с характерным изменением окружающей его дружеской среды. Дружеское литературное общество распалось. В числе наиболее близких Мерзлякову друзей мы встречаем теперь имена молодого литератора-разночинца З. А. Буринского, профессора и радикального драматурга Николая Сандунова и композитора из крепостных Д. Н. Кашина. В содружестве с последним и создавались песни Мерзлякова.

Д. Н. Кашин был не только хорошо образованным человеком (он знал, например, итальянский язык и восхищался стихами Тассо), одаренным музыкантом, но и собирателем и знатоком русского песен-

---

[1] A. Kaisarov. Dissertatio inauguralis de manumittendis per Russiam servis. 1806, p. 4. Любопытно, что в том же 1806 г. Александр Иванович Тургенев в письме Жуковскому доказывал, что «дворяне не насильством присвоили себе право сие (крепостное право. — *Ю. Л.*)» и что, следовательно, пока крестьяне нравственно не дорастут до свободы, «им рабство — драгоценный дар».

ного фольклора. В предисловии к изданному им трехтомнику русских песен (1833—1834) Кашин подчеркивал, что все песни, включенные в сборник, записаны им самим. В обработках Кашина русские народные песни входили в репертуар таких популярных актрис, как Е. Сандунова (с семьей Сандуновых Кашин был особенно тесно связан; Н. Сандунов был одним из организаторов его выкупа из крепостного состояния). Как и для Мерзлякова, народная песня была для Кашина не только объектом научного изучения или художественной стилизации, но и воспринималась как непосредственное лирическое выражение душевных переживаний. Замечательно, в этом смысле, описание «освобождения» Кашина в записках С. Глинки: «...он прибежал к нам, запыхавшись и в восторге душевном бросаясь обнимать нас, повторял: «Я свободен, я свободен!» И шампанское закипело в бокалах. *И с каким выражением играл Кашин на фортепианах русские песни.* То был первый день его свободы».[1]

Созданная на основе русских народных мотивов музыка Кашина сливалась с текстами Мерзлякова в единое художественное целое. Своеобразие песен Мерзлякова в том, что в качестве поэтических произведений они были рассчитаны не на декламацию, а на вокальное исполнение, причем мотив, как правило, брался из народной песни. Это придавало колорит народности даже тем произведениям, в которых, если исходить из одного текста, трудно уловить что-либо отличное от традиционной поэзии, от светского романса. Так, например, стихотворение «В час разлуки пастушок...» — ничем не выдающийся образец романсной лирики начала XIX века — был неотделим в сознании современников от народной украинской песни, на «голос» которой он был написан. Насколько подобная связь была крепкой и в сознании самого автора, свидетельствует тот факт, что, готовя для издания 1830 года список песен и романсов, Мерзляков обозначил в нем это стихотворение не его настоящим заглавием, а первой строкой песни, давшей мотив — «Ихав козак за Дунай». Характерно, что Белинский, заговорив о романсе Мерзлякова «Велизарий», сейчас же вспомнил: «Музыка его так прекрасна» (см. примечание к этому романсу).

Воссоздание литературными средствами духа народной песни требовало выработки новых художественных приемов. Размеры дарования ограничивали возможности Мерзлякова как новатора, прокладателя новых путей в поэзии. В песнях его, переплетаясь с подлинно фольклорными элементами стиля, встречаются и чисто литератур-

---

[1] С. Н. Глинка. Записки. СПб., 1895, стр. 178.

ные фразеологические обороты (например: «Твоему ли сердцу ведать, Лила, страх»; ср. у Батюшкова: «Нам ли ведать, Хлоя, страх!»).

Художественная система песен Мерзлякова еще значительно удалена от подлинно народной поэзии и несет на себе влияние дворянского романса. Белинский выделил песни «Чернобровый, черноглазый...» и «Не липочка кудрявая...» (эти же песни, как наиболее народные, отметил Надеждин). Назвав их «прекрасными и выдержанными», — все остальные он характеризовал как произведения «с проблесками национальности», но и с «чувствительными против нее обмолвками».[1] Отмеченные Белинским и Надеждиным песни наиболее примечательны своим отходом от традиционных форм, соединяемых в литературе XVIII — начала XIX веков с условным представлением о «русском стихе».

Своеобразие позиции Мерзлякова как автора песен особенно ярко проявляется при сопоставлении его произведений с послужившими для них отправной точкой записями Кашина. Песни «Ах, девица, красавица!..», «Я не думала ни о чем в свете тужить...» и «Чернобровый, черноглазый...» имеют в сборнике Кашина параллели, связь которых с названными песнями Мерзлякова бесспорна (см. примечания к этим песням). Сравнение текстов вводит нас в творческую лабораторию поэта. Прежде всего можно отметить, что Мерзляков использует зачины и концовки и значительно переделывает центральную сюжетную часть.[2] Последняя изменяется с тем, чтобы подчеркнуть драматизм ситуации. Благополучная любовь заменяется изменой, свидание — разлукой.

В центре песен Мерзлякова — образ человека, на пути которого к счастью стоят непреодолимые преграды. Нравственный мир этого человека часто характеризуется в соответствии с возникшей еще в предшествующий период творчества верой в «естественные влечения» человеческой натуры, противоборствующей внешним препятствиям и власти предрассудков. Так, строки:

---

[1] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 5. М., 1954, стр. 564.

[2] Эту особенность подметил Н. Полевой, писавший: «Песни А. Ф. Мерзлякова потому еще более вошли в народный быт, что они извлечены из простонародных песен. Начало, напоминающее простую известную песенку, заставляет всякого песельника заучить ее. Между тем Мерзляков превосходно переделывал каждую взятую им песню, точно так, как смычок Рачинского пленяет нас прелестною гармонией, которая напоминает что-то родимое» («Московский телеграф», 1825, № 16, стр. 340). Г. А. Рачинский — русский скрипач и композитор первой половины XIX века.

Я не слушала руганья ничьего,
Полюбила я дружочка моего —

у Мерзлякова перерабатываются следующим образом:

Как же слушать пересудов мне людских?
Сердце любит, не спросясь людей чужих,
Сердце любит, не спросясь меня самой! . .

Говоря о работе Мерзлякова над текстом записей Кашина, необходимо учитывать специфику последних. Те из них, которые были использованы Мерзляковым, сами в значительной степени отдалены от канонических образцов крестьянской лирики. Они несут на себе черты влияния городского романса и, возможно, подверглись литературной обработке. Мерзляков снимает то, что противоречило его представлению о народной песне (например, стих «Со письмом пошлю лакея») и сгущает элементы народно-поэтической лексики: «грусть-злодейка», «забавушки — алы цветики», «сыр-бор», «печальная, победная головушка молодецкая». Литературное «письмо» убрано, зато в «Сельской элегии» встречаем просторечный синоним: «Нет ни грамотки, ни вестки никакой. . .» (ср. у Сумарокова «Письмо, что грамоткой простой народ зовет. . .»).

В том же направлении идет и дальнейшая работа Мерзлякова над текстом песен. В письме к Кайсарову (1803) находим:

Всяк изведал грусть-злодейку по себе,
Но не всякий, ах, жалеет обо мне.

Во второй части «Собраний образцовых русских сочинений и переводов» (1815) Мерзляков заменил книжное «жалеет» фольклорным «погорюет», но сохранил еще междометие «ах», придающее стиху типично-романсное звучание: «Ах, не всякий погорюет об мне». И только в издании 1830 года стих приобрел окончательный вид: «А не всякий погорюет обо мне».

Работая над песней, Мерзляков подошел к проблеме рифмы и стихотворного размера — вопросу, который на рубеже XVIII и XIX веков волновал многих русских поэтов. Уже в предшествующий период обнаружилась характерная черта творческого дарования Мерзлякова: рифмы у него, как правило, бедны, часто встречаются рифмы неточные, а также морфологические (особенно глагольные). Бедность рифм была следствием не ограниченности мастерства, а особенностей творческой позиции. Еще А. Н. Радищев жаловался, что «Парнас окружен ямбами, и рифмы стоят везде на карауле». [1]

---

[1] А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений, т. 1. М.—Л., 1938. стр. 353.

Предпочтение неточных, «приглушенных» рифм приводило к ослаблению ритмической роли клаузул, что, в свою очередь, требовало поисков определенной ритмической компенсации. В период создания цикла политических стихотворений, связанных с Дружеским литературным обществом, излюбленным приемом Мерзлякова делаются смысловые и звуковые повторы. Поэтическая строка строится на логическом противопоставлении или сопоставлении понятий, выраженных сходно звучащими словами, омонимами. Это помогает раскрыть внутреннюю диалектику понятия. Стих оказывается связанным не формальным единством ритмических интонаций, а смысловой связью, подчеркнутой средствами звуковой организации. Так, логическое противопоставление: «братья делаются врагами» выражается посредством подбора тавтологической лексики: «Брат не видит в брате брата» («Слава»). По такому же принципу построены: «Тиран погиб тиранства жертвой», «Скончался в муках наш мучитель» («Ода на разрушение Вавилона»), «Да погибнут брани бранью» («Слава»).

Как пример случая, когда понятия не противопоставляются, а логически вытекают одно из другого, можно привести: «Благость, благом увенчайся» («Слава»). «Я вижу в мире мир» («Тень Кукова на острове Овги-ги»).

Другим, характерным для ранней лирики Мерзлякова, средством подчеркивания ритмического рисунка являлось бессоюзное соединение однотипных в синтаксическом и интонационном отношении предложений, причем пропуск сказуемого способствовал созданию особой динамической напряженности:

Огнь — во взорах, в сердце — камень,
Человечество, прости!

Эти ритмические опыты Мерзлякова позже были учтены Жуковским:

Мы села — в пепел; грады — в прах,
В мечи — серпы и плуги.

Народная песня, обладая иными интонациями, чем внутренне напряженная, динамичная, рассчитанная на ораторские приемы декламации политическая лирика, требовала иных стилистических приемов. Построения типа:

Птичка *пугана пугается* всего,
Горько мучиться для *горя* одного —

встречаются сравнительно редко. В песне «Ах, девица, красавица! . .» Мерзляков сделал опыт сочетания бедных рифм типа: «губить — то-

*

пить», «сушить — морить», «мной — слезой» с очень чёткой внутренней рифмой пословичного типа. В текст, близко воспроизводящий запись Кашина, Мерзляков вставил:

Не знала ль *ты*, что рвут *цветы*
Не круглый *год*, — мороз *придет*...
Не знала ль ты, что счастья цвет
Сегодня есть, а завтра нет!
Любовь — *роса* на *полчаса*.
Ах, век *живут*, а в миг *умрут!*
Любовь, как *пух*, взовьется *вдруг*,
Тоска — *свинец* внутри *сердец*.

Однако доминирующим в стилистической системе песен Мерзлякова сделалось не это, а приемы, свойственные народной песне, и, в первую очередь, параллелизмы (часто в форме отрицательных сравнений):

Нельзя солнцу быть холодным,
Светлому погаснуть,
Нельзя сердцу жить на свете
И не жить любовью!

Общая тенденция развития стиха в песнях Мерзлякова заключалась в упрощении ритмического рисунка, что сопровождалось одновременно отказом от четких рифм и широким использованием образов народной поэзии. На этом пути Мерзляков выработал тот простой, безыскусственный стиль, который характерен для самой популярной из его песен — «Среди долины ровныя...»

Поэзия конца XVIII века узаконила представление о четырехстопном безрифменном хорее с дактилическими окончаниями как о якобы специфически народном «русском размере». Мерзляков и в этой области искал новых путей. И в данном отношении существенную роль в метрической системе песен Мерзлякова играло то обстоятельство, что они создавались как произведения для пения: ритмика мотива в значительной степени определяла и метрический рисунок текста.

При всей относительности связей песен Мерзлякова с подлинным народным творчеством, на современников, не только в начале XIX века, когда они писались, но и в момент появления в 1830 году сборника «Песни и романсы», они производили впечатление именно своей фольклорностью. И Надеждин, и Белинский настойчиво противопоставляли песни Мерзлякова дворянской поэтической традиции. «Весьма понятно, — писал Надеждин, — почему песни Мерзлякова

перешли немедленно в уста народные: они возвратились к своему началу».[1]

Песни Мерзлякова, в самом деле, широко исполнялись в концертах русских песен (например, Сандуновой) и быстро усваивались народом. А. Н. Островский в драме «Гроза» не случайно вложил песню «Среди долины ровныя...» в уста Кулигина. Песни Мерзлякова, писал один из критиков в 1831 году, «поют от Москвы до Енисея».[2] О популярности песен Мерзлякова красноречиво свидетельствует такой, например, факт, сообщенный декабристом А. Е. Розеном в его воспоминаниях: «Фейерверкер Соколов и сторож Шибаев (караульные в Петропавловской крепости. — *Ю. Л.*) были хуже немых: немой хоть горлом гулит или руками и пальцами делает знаки, а эти молодцы были движущиеся истуканы... Однажды запел <я> «Среди долины ровныя на гладкой высоте...», при втором куплете слышу, что мне вторит другой голос в коридоре за бревенчатой перегородкой; я узнал в нем голос моего фейерверкера. Добрый знак, — подумал я, — запел со мною, так и заговорит. Еще раз повторил песню, и он на славу вторит ей с начала до конца. Когда он через час принес мой ужин, оловянную мисочку, то я поблагодарил его за пение, и он решился мне ответить вполголоса: «Слава богу, что вы не скучаете, что у вас сердце веселое». С тех пор мало-помалу начался разговор с ним, и он охотно отвечал на мои вопросы».[3]

Одновременно с песнями Мерзляков создает цикл стихотворений (таких, как «Пир», «Что есть жизнь?», «Надгробная песнь З..... А.....чу Буринскому»), в которых условные штампы элегической и романсной поэзии наполняются реальным, глубоко прочувствованным содержанием. Если лирика молодого Мерзлякова создает образ героя-борца, то теперь на смену ей приходит идеал труженика, обеспечивающего себе своими руками материальную независимость и ревниво оберегающего свое человеческое достоинство. Традиционный и уже банальный в эту эпоху образ «людей», от которых убегает автор, неожиданно приобретает черты вполне реального московского «света», в котором поэт-разночинец чувствует себя чужим.

Там, в кружке младых зевак,
В камнях, золоте дурак

---

[1] «Телескоп», 1831, № 5, стр. 89.

[2] «Гирлянда, журнал словесности, музыки, мод и театров», 1831, № 1, стр. 21. Заметка, за подписью: «С—въ», возможно, написана О. Сомовым.

[3] А. Е. Розен. Записки декабриста. СПб., 1907, стр. 86.

Анекдоты повествует,
Как он зайцев атакует...
...Тамо старый дуралей,
Сняв очки с своих очей,
Объявляет в важном тоне
Все грехи в Наполеоне...

(«Пир»)

Уже совсем конкретен «ученых шумный круг» — общество коллег Мерзлякова по Московскому университету:

Все мудрые вольности дети;
А в них-то и низость, и бой,
Друг другу коварство и сети! ..

(«Что есть жизнь?»)

Тема одиночества, горькой участи, столь сильно прозвучавшая в песне «Среди долины ровныя...», присутствует и в стихотворении «К несчастию» и в «Надгробной песне З..... А.....чу Буринскому».

Ты страдал — ты, жертва бедствия,
При друзьях, как без друзей, страдал!
Родом, ближними оставленный...

Лучшим комментарием к этим стихотворениям является отрывок из письма самого Буринского к Гнедичу: «Люди нашего состояния живут в рабстве обстоятельств и воли других... Сколько чувств и идей должны мы у себя отнять! Как должны переиначить и образ мыслей и волю желаний и требований своих самых невинных, даже благородных склонностей! — Мы должны исказить самих себя, если хотим хорошо жить в этой свободной тюрьме, которую называют светом. У турок есть обыкновение тех невольников, которым удается понравиться господину, заставлять в саду садить цветы! О! если бы судьба доставляла нам хотя такую неволю!» [1]

Близкий друг Мерзлякова, введенный им в литературу Ф. Ф. Иванов создал в статье «К несчастным» впечатляющий образ бедняка, страдающего от нищеты и попранного человеческого достоинства. «Несчастливец есть предмет весьма любопытный для людей. Его

---

[1] Рукописный отдел Государственной Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина. Собрание автографов. Буринский (К-3), л. 5.

рассматривают, любят дотрагиваться до струн его страдания, дабы иметь удовольствие изучать сердце в минуту судорожного терзания». От праздных богачей бедняку «не должно ожидать ничего, кроме оскорбительного сожаления, кроме подаяний и вежливостей, тысячекратно более отяготительных, нежели самая обида». Единственное оружие в руках гонимого бедняка — «гордость, непреклонная гордость». Она «есть добродетель злополучия; чем более фортуна нас унижает, тем более возноситься должно; надобно помнить, что везде уважают наряд, а не человека. Какая нужда, что ты бездельник, когда ты богат? Какая польза, что ты честен, когда беден? Легко забываются с несчастными, и он беспрерывно видит себя в горестной необходимости припоминать о самом себе, о личном достоинстве, как человека, ежели не хочет, чтоб другие о том забыли». [1] Как и в лирике Мерзлякова (а позже — Кольцова), речь идет не о традиционных элегических жалобах на «злых людей», а о горестях вполне реальных, об унизительной зависимости, нужде действительной, в первую очередь, материальной: «N говорил мне: истинное несчастье терпит тот, кто не имеет насущного хлеба. Когда человек имеет пропитание, одежду и под кровом скромным огонек, — тогда все прочие бедствия исчезают». [2]

Требование материальной обеспеченности человека, входя в общую систему прогрессивных идей, могло сделаться мощным орудием протеста. Однако оно же могло быть в иных условиях истолковано как оправдание бегства от общественных вопросов. Новый идеал Мерзлякова, хотя и сохранил антидворянский характер, но, утратив боевое звучание, окрасился в тона мещанской ограниченности. Мерзляков проповедует

...спокойство и скромность,
И маленький ум для себя.

В этом отношении показателен переход Мерзлякова от переводов из Тиртея к одам Горация с их проповедью «золотой середины». Такое истолкование Горация характерно было именно для недворянской литературы, не поднявшейся еще до революционного протеста.

В конце 1804 — начале 1805 годов в жизни Мерзлякова про-

---

[1] Ф. Ф. Иванов. Сочинения и переводы, ч. 1. М., 1824, стр. 26—28. Составителем и редактором этого посмертного издания был Мерзляков.

[2] Там же, стр. 29. По характеру высказывания можно предположить, что «N» это — Мерзляков.

изошло заметное событие. Он был вызван в Петербург. Жизнь в столице оставила глубокий след в памяти писателя: «Это драгоценнейшее время всегда вспоминает он», — писал Мерзляков в автобиографии.[1] Пребывание в Петербурге не способствовало служебному продвижению. В записной книжке В. Г. Анастасевича находим любопытную запись: «Мерзляков рекомен<дован> был в учители великих князей. Не показался».[2]

«Драгоценнейшим» время петербургской жизни, видимо, было по тем дружеским и литературным связям, которые завязались в этот период. В доме М. Н. Муравьева Мерзляков познакомился с передовым литератором В. В. Попугаевым и был представлен последним в Вольное общество любителей словесности, наук и художеств — объединение свободолюбиво настроенных писателей-демократов. В архиве общества сохранилась копия письма В. В. Попугаева, в котором автор его от имени М. Н. Муравьева рекомендовал Мерзлякова «президенту» общества.[3] 3 октября 1804 года Мерзляков был принят корреспондентом в Вольное общество. На собраниях общества он, как можно полагать, познакомился с Востоковым. Об укреплении литературных связей Мерзлякова свидетельствует опубликование одной из песен в связанном с Вольным обществом «Журнале российской словесности» Брусилова (см. в примечаниях к песням.) В Петербурге же в 1805 году отдельной брошюрой было опубликовано программное для Мерзлякова стихотворение «Тень Кукова на острове Овги-ги». В это же время, очевидно, укрепились его дружеские связи с Н. И. Гнедичем.

Знакомство Мерзлякова с Гнедичем, вероятно, завязалось еще в бытность последнего в университетском пансионе. Письмо Буринского Гнедичу 1803 года свидетельствует о близких дружественных отношениях и единстве воззрений политических и литературных

---

[1] Рукописный отдел Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, ф. Погодина (П, 8) 22, л. 2.

[2] Рукописный отдел Государственной Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина. Собрание автографов. № 378—2. Записная книжка Анастасевича, стр. 81. Запись сделана Анастасевичем в 1811 г., однако рассмотрение литературных заметок в записной книжке показывает, что владелец фиксировал в ней не события текущего времени, а любопытные литературные известия, порой большой давности. Изучение биографии Мерзлякова указывает на пребывание в Петербурге как наиболее вероятное время «рекомендации». Последняя, вероятно, исходила от М. Н. Муравьева.

[3] Рукописное собрание библиотеки Ленинградского государственного университета. Архив Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, № 151. Дело о принятии в корреспонденты г. Мерзлякова, л. 1.

кружка Мерзлякова и будущего переводчика «Илиады».[1] Позже, когда ходом литературного развития Мерзляков был отодвинут в ряды второстепенных литераторов, а за Гнедичем утвердилась слава отца русского гекзаметра, обиженный Мерзляков писал М. П. Погодину: «Гекзаметрами и амфибрахиями я начал писать тогда, когда еще Гнедич был у нас в университете учеником и не знал ни гекзаметров, ни пентаметров и даже не писал стихами, свидетель этому «Вестник Европы» и господин Востоков, который именно приписывает мне первую попытку в своем «Рассуждении о стихосложении», так как песни мои русские в этой же мере были петы в Москве и Петербурге прежде, нежели Дельвиг существовал на свете». Если отвлечься от общего обиженного тона письма, то интересно указание Мерзлякова на то, что Гнедич «себя называет моим первым почитателем и другом».[2] В одном из писем Жуковскому Мерзляков просил передать Гнедичу «поклон усердный».

Гнедича и Мерзлякова сближала общность интереса к античной литературе. Белинский, высоко оценивая переводы Мерзлякова с латинского и греческого,[3] ставит их имена рядом. В статье о стихотворениях Ивана Козлова он говорит о поэтах, которые «умерли, еще не сделав всего, что можно было ожидать от их дарований, как, например, Мерзляков и Гнедич».[4] Современники склонны были даже подчеркивать приоритет Мерзлякова в деле разработки русского гекзаметра. М. А. Дмитриев писал: «Гекзаметры начал у нас вводить Мерзляков, а не Гнедич ...Мерзляков и Гнедич — это Колумб и Америк-Веспуций русского гекзаметра».[5] То же подчеркивали На-

---

[1] Письмо интересно тем, что воссоздает атмосферу кружка Мерзлякова 1803 г.:

«Досадую на себя, что не читал еще Вашего Дон-Коррада; правда, я не виноват, ибо все усилия и старания, какие только можно, употребил для того, чтобы достать это творение, которое покажет немцам, что не у них одних писали порой Мейснеры, Лессинги и Шиллеры. Слава нам и языку русскому!» (Отчет Императорской Публичной библиотеки за 1895 год. СПб., 1898, приложение, стр. 46—47).

[2] «Старина и новизна», кн. 10. М., 1905, стр. 512.

[3] В статье «Разделение поэзии на роды и виды» он иронически отзывается о «торжественных и казенных лиропениях» Мерзлякова, имея в виду заказные оды, которые Мерзляков писал как университетский профессор, но тут же оговаривается: «Здесь разумеются только оды Мерзлякова, а не его переводы из древних и русские песни, большая часть которых превосходна» (В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 5. М., 1954, стр. 47).

[4] Там же, стр. 68.

[5] См. М. А. Дмитриев. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869, стр. 166—167; Н. Барсуков. Жизнь и труды М. П. Погодина, т. 3. СПб., 1890, стр. 170.

деждин и Погодин. Дело, в данном случае, конечно, не в том, у кого из двух поэтов прежде определился интерес к гекзаметру, а в том, что оба они продолжали традицию, которая шла от Тредиаковского и Радищева в обход господствующего направления дворянской поэзии.

Интерес к античной поэзии, отчетливо проявившийся в русской литературе конца XVIII — начала XIX веков, был связан с общим направлением литературного развития. Образцы древнегреческой и римской поэзии, привлекавшие внимание Мерзлякова в предшествующий период как источник героических образов, удобный материал для выражения гражданственных, свободолюбивых идей, теперь получают для него новый смысл. Неоднократно отмечалась связь между интересом к белому безрифменному стиху и стремлением к преодолению ломоносовской поэтической системы, как характерная черта в развитии русской поэзии конца XVIII — начала XIX веков. Однако необходимо иметь в виду, что само это «преодоление» могло приобретать различный смысл в зависимости от того, имело ли оно целью отказаться от придворной оды во имя медитативной элегии и дружеского послания, или же имелось в виду создание «высокой», гражданственной лирики, эпических произведений, воплощающих идеи народности. Понятно, что белый стих в элегиях Хераскова и посланиях карамзинистов выполнял не ту роль, что в стихотворениях Радищева или переводах из античных авторов Востокова и Гнедича. В данном случае существенно не только то, что отделяло оба эти направления от предшествующего периода — эпохи Ломоносова, но и то, что разделяло их между собой.

Требование белого стиха в системе Радищева и его последователей означало перенесение внимания на содержание, объект поэтического воспроизведения. Содержательность делалась критерием художественности. Характерно, что Радищев, для того чтобы узнать «стихотворен ли стих», предлагал пересказывать его прозой. Идеи белого стиха, ритмов, прямо подчиненных содержанию, и звукоподражания, как средства достижения «изразительной гармонии» (выражение Радищева), и призваны были создать художественную систему, обеспечивающую наибольшую содержательность произведения.[1] Вслед

---

[1] О позиции Радищева в этом вопросе и о борьбе вокруг его наследства см. П. Н. Берков. А. Н. Радищев как критик. — «Вестник Московского государственного университета», 1949, № 9; В. Н. Орлов. Из истории гражданской поэзии 1800-х годов в его кн.: Русские просветители 1790—1800-х годов, изд. 2-е., М., 1953; Ю. Лотман. О некоторых вопросах эстетики А. Н. Радищева, — «Научные труды, посвященные 150-летию Тартуского государственного университета», Таллин, 1952.

за Радищевым в конце 90-х годов XVIII века против рифмы выступил С. Бобров, писавший с характерной ссылкой на авторитет Мильтона, Клопштока и Тредиаковского: «Рифма часто служит будто некиим отводом прекраснейших чувств, убивает душу сочинения». Как и Радищев, Бобров считал, что «доброгласие» состоит «не в рифмах, но в искусном и правильном подборе гласных или согласных, употребленных кстати»,[1] т. е. связанных с содержанием. Для поэтов карамзинистского лагеря, в творчестве которых объект изображения заслоняется субъектом, личностью изображающего, главным критерием художественности делалась не «содержательность», а проблема слога. Отказ от рифмы связан был здесь с противопоставлением «надутой» оде — простоты и изящества слога, избавленного от архаизмов и тяжелых конструкций. С этим связано и двоякое восприятие античной поэтической традиции.

Для Радищева, Востокова, Гнедича, Мерзлякова переводы из древних поэтов, наряду с изучением народной песни, были одним из путей, по которому шли поиски решения проблемы реформы системы русского стиха. Гекзаметры Радищева и его «Сафические строфы» (они представляют собой, что не было отмечено комментаторами, вольный перевод 15-го эпода Горация: «Nox erat et caelo fulgabat luna sereno...») неразрывно связаны с его интересом к русскому народному стиху и с опытом ритмической реформы на основе своеобразно истолкованного «Слова о полку Игореве» в «Песнях, петых на состязании». Подобная связь, применительно к Востокову, уже отмечалась.[2]

Необходимо также иметь в виду, что возникавший таким образом интерес к античности был связан не с утверждением классицизма, а с его разрушением, поскольку в древней поэзии видели не воплощение вечных норм абстрактного разума, а реальную, исторически сложившуюся форму человеческой культуры, притом форму наиболее народную. С этим связано, в частности, стремление обратиться к античной поэзии прямо в оригиналах, а не через французские переводы. Борьба вокруг белого стиха являлась лишь составной частью общего столкновения двух течений в поэзии — так называемой «легкой поэзии», субъективистской лирики, с ее культом изящного слога, с одной стороны, и «поэзией содержания», с ее

---

[1] С. Бобров. Таврида, или Летний день в Таврическом Херсонесе, лиро-эпическое песнопение. Николаев, 1798, стр. не нумерованы.

[2] См. В. Н. Орлов. Вступительная статья и комментарий в кн.: А. Востоков. Стихотворения. Л., 1935.

ориентацией на эпические жанры и высокую гражданственную тематику — с другой.

Интерес к античности возникал в творчестве Мерзлякова как ответ на стремление создать высокое искусство, противостоящее в этом смысле «легкой поэзии» карамзинистов. Вместе с тем античный эпос воспринимался им как произведение простонародное, фольклорное. Мерзляков разделял требование обращаться к античной литературе прямо, а не через посредство французской поэзии, требование, которое под пером немецких писателей конца XVIII века и Радищева (фактически на том же пути стоял еще Тредиаковский, обратившийся не только к роману Фенелона, но и к гомеровскому эпосу) связано было с преодолением классицизма. «В рассуждении образцов, — писал Мерзляков, — должно признаться, что мы не там их ищем, где должно. Французы сами подражали... Почему нам для сохранения собственного своего характера и своей чести не почерпать сокровищ чистых, неизменных из той же первой сокровищницы, из которой они почерпали? — Почему нам так же беспосредственно не пользоваться наставлениями их учителей, греков и римлян?» [1]

Приблизительно около 1806 года в отношении Мерзлякова к античной культуре намечаются перемены. Если в период создания переводов из Тиртея Мерзлякова интересовала главным образом политическая заостренность, гражданская направленность произведения, античный мир воспринимался сквозь призму условных героических представлений в духе XVIII века (поэтому он и мог, зная греческий язык, переводить с немецкого), то теперь позиция его меняется. Интерес к подлинной жизни древнего мира заставляет изучать систему стиха античных поэтов и искать пути ее адекватной передачи средствами русской поэзии. Внося в интерес к античности требование этнографической и исторической точности, Мерзляков расходился с классицизмом. Античность не была для него в этот период условным миром общих понятий, противостоящим зримой действительности как абстрактное конкретному. Античный мир в системе классицизма не мог иметь конкретных примет действительности. Это был мир «вообще», мир общеобязательных, отвлеченных идей, реальных именно потому, что «наши идеи, или понятия, представляя собой нечто реальное, исходящее от бога, поскольку они ясны и от-

---

[1] А. Ф. Мерзляков. Рассуждение о российской словесности в нынешнем ее состоянии. — «Труды Общества любителей российской словесности». 1817, ч. 1, стр. 106.

четливы»,[1] противостоят «нереальному» и «неистинному» миру эмпирической действительности.

Глубоко отлично понимание Мерзляковым античности и от решения этого вопроса в творчестве Батюшкова. Для Батюшкова это был условный гармонический мир, созданный воображением поэта, — не царство вечных истин, но и не мир действительности. Поэтому, как ни различны были по своей природе картины древнего мира в произведениях классицистов и Батюшкова, они имели одну общую черту: они не выдерживали сопоставления с реальным миром; введение в текст конкретных жизненных деталей разрушило бы всю стилевую систему произведения. Язык произведения должен был быть выдержан в условной системе «поэтического» слога.

Позиция Мерзлякова была иной. Литература древнего мира воспринималась им как народная. В статье «Нечто об эклоге» он сочувственно отмечал, что «вероятное», по его терминологии, состояние первобытного счастья «показалось тесным для поэтов. Они смешивали с ним иногда грубость действительного».[2] Однако реалистическое представление о том, что каждодневная жизненная практика является достойным предметом поэтического воспроизведения, было Мерзлякову чуждо. Обращение к античным поэтам давало в этом смысле возможность героизировать «низкую», практическую жизнь. Это определило особенность стиля переводов Мерзлякова, соединяющего славянизмы со словами бытового, простонародного характера.

Два ры́баря, старцы, вкушали дар тихия ночи
На хладной соломе, под кровом, из лоз сплетенным,
. . . .
С изношенным платьем котомки и ветхие шляпы
Висели на гво́зде — вот всё их наследно именье,
Вот всё их богатство! — ни ложки, ни чаши домашней,
Нет даже собаки, надежного стража ночного.[3]

Сочетания: «хладная» — «солома», «собака» — «страж» по традиционным представлениям XVIII века стилистически противоречили друг другу. В дальнейшем мы встречаем в этом же стихотворении: «зыбкий брег», «зрел сновиденья», «времена все текут постоянной стопою» и пр. — с одной стороны, и выражения типа «поужинав плохо, зарылся в солому, пригрелся, уснул я» — с другой.

---

[1] Р. Декарт. Рассуждение о методе. Избранные произведения. М., 1950, стр. 287.

[2] Эклоги Публия Виргилия Марона. М., 1807, стр. X.

[3] См. стр. 130 настоящего издания.

Кроме того, Мерзляков вводит в переводы элементы русской фольклорной стилистики. Так, в идиллии Феокрита «Циклоп» встречается стих: «От горести вянет лице, и кудри не вьются!» Он вызвал характерное замечание Гнедича: «Стих сей, незнакомый Феокриту, знаком каждому русскому, он из песни». [1] Интересно, что Гнедич, пародировавший перевод Мерзлякова, сам в дальнейшем избрал именно этот путь, создавая идиллию «Рыбаки», [2] написанную тем же размером, что и переводы Мерзлякова, и, может быть, с учетом опыта последнего.

Обратившись к гекзаметру, Мерзляков, вслед за Тредиаковским и Радищевым, истолковал этот размер как дактило-хорей. Он широко разнообразит звучание стиха, заменяя одну или несколько дактилических стоп — хореическими. Приведем примеры:

Чистый дактиль



Руки о весла претерты, и мышцы в трудах ослабели.

Первая стопа хореическая

–́ ∪ –́ ∪ ∪ –́ ∪ ∪ –́ ∪ ∪ –́ ∪ ∪ –́ ∪

Сколь великие пали герои мечами аргивян.

Вторая стопа хореическая:

–́ ∪ ∪ –́ ∪ –́ ∪ ∪ –́ ∪ ∪ –́ ∪ ∪ –́ ∪

Мыслью какой подвигнута дщерь всемогущего бога.

Третья стопа хореическая:

–́ ∪ ∪ –́ ∪ ∪ –́ ∪ ∪ –́ ∪ ∪ –́ ∪ ∪ –́ ∪

Тако вещая, из врат блистательный Гектор исходит.

Четвертая стопа хореическая:

–́ ∪ ∪ –́ ∪ ∪ –́ ∪ ∪ –́ ∪ –́ ∪ ∪ –́ ∪

Пусть он бесстрашен и пусть ненасытим в сече кровавой.

Иногда заменяются две стопы. Мерзляков наряду с гекзаметром

---

[1] Н. И. Гнедич. Стихотворения. Л., 1956, стр. 99.

[2] См. в статье А. М. Кукулевича «Русская идиллия Н. И. Гнедича „Рыбаки"». — «Ученые записки Ленинградского государственного университета», филологическая серия, № 46, вып. 3, Л., 1939.

обращается к белому пятистопному и шестистопному амфибрахию, также с заменой отдельных стоп хореем.

Особенно интересны опыты Мерзлякова в так называемом «сафическом» размере. В своих «народных песнях» Мерзляков еще очень робко пробует разнообразить традиционный силлабо-тонический стих тоникой, и стихи типа: «Я не думала ни о чем в свете тужить», были исключением. Именно в работе над переводами из Сафо Мерзляков приходит к отказу от силлабо-тоники, к тому тоническому размеру, который был охарактеризован Востоковым как присущий русской песне. Понятие «стопы» было заменено Востоковым «прозодическим периодом». В основе размера — ударения, «коих число не изменяется».[1] Перевод из Сафо был впервые опубликован в 1826 году, и Мерзляков, видимо, учитывал рассуждения Востокова, сознательно сближая античную поэзию с системой, осознаваемой им как русская, народно-поэтическая:

Низлетала ты — многодарная
И, склоня ко мне свой бессмертный взор,
Вопрошала так, с нежной ласкою:
«Что с тобою, друг? что сгрустилася?

◡ ◡ _́ ◡ ◡ ‖ ◡ ◡ _́ ◡ ◡
◡ ◡ _́ ◡ ◡ ‖ ◡ ◡ _́ ◡ ◡
◡ ◡ _́ ◡ ◡ ‖ ◡ ◡ _́ ◡ ◡
◡ ◡ _́ ◡ ◡ ‖ ◡ ◡ _́ ◡ ◡

Интонационное приближение к русской народной песне поддерживалось и подбором лексики и фразеологии: «красовитые воробушки», «не круши мой дух», «ударяючи крылами», «что сгрустилася». Такой стих, как: «Отыми, отвей тягость страшную», — звучит почти по-кольцовски.

Переводы из античных поэтов — самое ценное в творческом наследии Мерзлякова этого периода. Они были связаны с поисками решения одной из основных проблем литературы 1820-х годов — создания народного и монументального искусства. Однако в позиции Мерзлякова этих лет была и слабая сторона. Стремление воспроизвести подлинную, а не условно-героическую античность представляло собой значительный шаг вперед, знаменовало интерес художника к реальной истории и в какой-то мере подготавливало вызревание принци-

---

[1] А. Востоков. Опыт о русском стихосложении. СПб., 1817, стр. 95.

нов реализма. Но это же самое приводило к ослаблению непосредственного политического пафоса стихотворений, ослабляло связь их с романтической поэзией русского освободительного движения этих лет. Если стихотворения молодого Мерзлякова (равно как и Гнедича) входили в общий поток русской гражданской лирики, то его переводы и подражания, хотя и могли быть, так же как и перевод «Илиады», истолкованы в свободолюбивом духе, нуждались, однако, для этого в специальной интерпретации, бесспорно, лишь частично соответствовавшей авторскому замыслу. Мерзляков не принял поэзию романтического индивидуализма, как ранее — поэзию последователей Карамзина. В борьбе с ними он обращался к традиции литературы XVIII века.

Эта традиция тяготела над Мерзляковым и, по выражению Белинского, «часто сбивала его с толку».[1] Особенно это проявилось в переводе «Освобожденного Иерусалима» Тассо. Мерзляков дорожил этим трудом, который был начат задолго до Отечественной войны 1812 года, но увидел свет лишь в 1828 году. Замысел перевода возник в обстановке борьбы с легкой поэзией карамзинистов и нараставшего к середине десятых годов интереса к эпическим жанрам. Однако художественное решение проблемы перевода, избранное Мерзляковым, было архаично не только к моменту выхода поэмы, но и значительно ранее.

Интерес Мерзлякова к эпическим жанрам, конечно, не дает основания для причисления его к шишковистам. Лингвистические теории и литературная позиция главы «Беседы» не встречали с его стороны сочувствия. Характерно, что Мерзляков полемически подчеркивал в воззрениях Шишкова именно дилетантизм, т. е. черту, общую всем дворянским писателям, и в качестве противоположного примера выдвигал Ломоносова, поэта-разночинца и ученого. В 1812 году Мерзляков писал: «...Часто погрешают и некоторые страстные любители языка славянского. Что встречаем в их сочинениях? Слова обветшалые славянские вместе с простыми и общенародными и притом в образах чужестранных или сряду старый язык славянский, от которого мы уже отвыкли. Возьмите оды и похвальные слова Ломоносова и сравните их с некоторыми нынешними стихотворными славяно-российскими сочинениями. — Читая первого, я не могу остановиться ни на одном слове: все мои, все родные, все кстати, все прекрасны; читая других, останавливаюсь на каждом слове, как на чужом... Поздно уже заставлять нас писать языком славянским, осталось

---

[1] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 5. М., 1954, стр. 47.

искусно им пользоваться. Вот особливое достоинство Ломоносова».[1]

Не примыкая к шишковистам, Мерзляков в еще большей степени был и всегда оставался чуждым карамзинско-арзамасскому лагерю. В этом отношении особенно показательна история его взаимоотношений с Жуковским.

Мерзляков и Жуковский познакомились во время формирования дружеского кружка Андрея Тургенева и долгое время находились в близких товарищеских отношениях. В 1800-е годы для московской читающей публики имена их стояли рядом. Попав в 1807 году в окружение шишковистов, Жихарев изумлялся тому, что «почти все эти господа здешние литераторы ничего не читали из сочинений Мерзлякова и Жуковского».[2] Однако личная дружба не препятствовала длительной полемике, которая, в конечном итоге, привела к взаимному охлаждению. Характерные для Жуковского приверженность к карамзинским литературным принципам, философский и эстетический субъективизм, мистицизм были для Мерзлякова решительно неприемлемы. Начало полемики относится к 1800 году, т. е. ко времени политического и художественного самоопределения ведущей группы тургеневского кружка.

В 1800 году в первой книжке «Утренней зари» Жуковский опубликовал отрывок «К надежде». Сам по себе он мало значителен и не давал основания для дискуссии. Положения, против которых выступает Мерзляков, в печатном тексте отсутствуют и, видимо, почерпнуты из устных споров. Из письма Мерзлякова Жуковскому от 8 сентября 1800 года явствует, что надежда противопоставлялась Жуковским разуму, а философов, ищущих истину, он презрительно именовал «педантами» и «головоломами». Мерзляков встал на защиту прав разума и просветительской философии. Он писал: «Я хочу из всего вывести то, чтоб ты не ругал головоломов-философов... чтобы ты знал, что мы непременно должны иметь верный компас — разум, просвещенный (еще-таки скажу) этими головоломами, ищущими истины, а не педантами...»[3] А в двадцатых числах декабря 1800 года Мерзляков и Тургенев в споре с Жуковским доказывали гибельность влияния Карамзина на русскую литературу.

Полемика ярко разгоралась на заседаниях Дружеского литератур-

---

[1] А. Ф. Мерзляков. Рассуждения о российской словесности в нынешнем ее состоянии. — «Труды Общества любителей российской словесности». М., 1812, ч. 1, стр. 72.

[2] С. П. Жихарев. Записки современника. М.—Л., 1955, стр. 438.

[3] «Русская старина», 1904, № 5, стр. 448—449.

ного общества. Так, например, когда 24 февраля 1801 года Жуковский произнес на заседании общества речь о дружбе, построенную на цитатах из Карамзина и опровергавшую принцип собственной пользы как основу морали, Мерзляков выступил 1 марта того же года со специальной защитой этого, характерного для материалистической философии XVIII века тезиса: «Польза — тот магнит, который собрал с концов мира рассеянное человечество».[1] Перед нами характерное противоречие: там, где Мерзляков стремится теоретически оформить свое бунтарское неприятие действительности, он обращается к Шиллеру — радищевская последовательность, соединявшая материализм и революционность, ему не по плечу. В борьбе же с карамзинизмом, отрицанием общественного служения, художественным субъективизмом он обращается к аргументам из арсенала материалистической философии XVIII века. Позиции Мерзлякова и Андрея Тургенева в решении философских вопросов расходились — первый испытывал более сильное влияние просветительской философии XVIII века. Однако разделяемая Жуковским карамзинская проповедь общественной пассивности была одинаково неприемлема ни для того, ни для другого.

В дальнейшем Мерзляков, разночинец-профессор, автор опытов в народном духе и ученых переводов, противник салонной поэзии и унылых элегий, все более расходился с Жуковским. Позже разыгрался известный эпизод с «Письмом из Сибири» — резким осуждением баллад, с которым выступил Мерзляков в присутствии Жуковского на заседании Общества любителей российской словесности.

Вместе с тем, выступая против карамзинской традиции, Мерзляков не был последователен и сам в своем творчестве испытывал ее воздействие. Особенно это влияние проявилось в романсах. Некоторые из них, как, например, «Велизарий», пользовались широкой популярностью, однако в целом они мало оригинальны в своей художественной системе и укладываются в рамки периферийной поэзии карамзинского направления. Так, например, достаточно сравнить романс Мерзлякова «Меня любила ты, я жизнью веселился...» и «Песню» Жуковского («Когда я был любим, в восторгах, в наслажденье...»), чтобы разительная близость обоих стихотворений — стилистическая и текстуальная — навела на мысль не только об общем оригинале (стихотворения, видимо, являются переводами с французского), но и о творческом соревновании между двумя поэтами.

---

[1] Архив бр. Тургеневых, № 618, л. 53 об.

Период после 1812 года — время заката поэтической известности Мерзлякова. Свободолюбие его слабело. Уступая давлению университетского начальства, он стал писать торжественные оды, над которыми сам прежде смеялся. По поводу оды Мерзлякова на Пултусское сражение Жихарев писал: «Чему посмеешься, тому и поработаешь: вот наш Алексей Федорович наконец облепился». И добавлял: «Готов держать заклад, что эта ода написана им по заказу, потому что от первого стиха: «Исполнилась, о весть златая!» и до последнего один только набор слов».[1]

Ослабление свободолюбия причудливо сочеталось в творчестве Мерзлякова с глубокой ненавистью к паразитическому барству. Вместо гражданственной героики в его поэзии теперь выдвигается тема труда, «святая работа», как говорит он в идиллии «Рыбаки». Если прежде связью вселенной был свободолюбивый энтузиазм славы и братства, то теперь Мерзляков пишет космическую апологию труда. В стихотворении «Труд» созидающий труд скрепляет вселенную, его голос движет стихиями:

От ветров четырех четыре трубны гласа
Беседуют с тобой, о смертный царь земли!
Се! лето, и весна, и осень златовласа,
И грозная зима тебе рекут: внемли!

Стихотворение содержит характерное противоречие политически незрелой антидворянской мысли тех лет. В нем наряду с вполне благонамеренным прославлением царя находим гневное обличение праздности и тунеядства, сопровождаемое многозначительным намеком на то, что дом «дряхлой знати» построен на вулкане:

Чертоги праздности возносятся блестящи
На пепле пламенем чреватыя горы:
Являются сады и рощи говорящи,
Веселий и забав приветные шатры;
И звуки сладких лир, и песни обольщенья...
Обман! — То всё скорбей, недугов облаченья,
Без тела тени лишь одне,
Мрак в свете, бури в тишине!

---

[1] С. П. Жихарев. Записки современника. М.—Л., 1955, стр. 312—313.

Там образ видится обилья недвижимый;
Там, мертвый предков блеск разбрасывая, знать
На персях лести пьет сон дряхлости томимый;
Самонадеянье там крáдет дни, как тать...

Этой картине противопоставлен «труд честный» «ратая семьи». Стихотворение это вызвало сочувственный отзыв заключенного в крепости Кюхельбекера. Отметив, что в нем много тяжелых стихов, он увидел «также и такие, каковые служат сильным доказательством, что ему, точно, было знакомо вдохновенье». [1]

Таким образом, развитие поэтического дарования Мерзлякова с известными оговорками может быть разделено на следующие периоды: ранняя поэзия (до 1799 года), далее — цикл гражданственных стихотворений (1799—1802), затем — период создания основных песен (1803—1807) и, наконец, — время работы над переводами из греческих и латинских поэтов (начиная с 1807 года). Потом наступил упадок. Мерзляков отставал от запросов времени. Это становилось особенно заметным по мере формирования нового передового литературного лагеря — декабристского. В 1824 году Вяземский писал, сообщая А. Тургеневу о письме Мерзлякова, «в коем обнажается его добрая душа»: «Жаль, что он одурел в университетской духоте». [2] Почти одновременно Кюхельбекер писал: «Мерзляков, некогда довольно счастливый лирик, изрядный переводчик древних, знаток языков русского и славянского..., но отставший по крайней мере на 20 лет от общего хода ума человеческого...» [3]

Двадцатые годы были тяжелым для Мерзлякова временем. В дворянском обществе он был чужим. В этом отношении любопытен не лишенный черт автобиографизма образ Тассо, созданный Мерзляковым в предисловии к переводу «Освобожденного Иерусалима». Тассо Мерзлякова — это не гениальный безумец Батюшкова, а поэт-труженик, бьющийся в материальной нужде: «Робкое, стеснительное ремесло придворного противно было врожденной гордости его характера».

Последние годы жизни Мерзляков провел в бедности. Он с горечью писал Жуковскому, прося заступничества и денежной помощи: «Право, брат, старею и слабею в здоровье, уже не работается так,

---

[1] В. К. Кюхельбекер. Дневник. Л., 1929, стр. 97.

[2] Остафьевский архив, т. 3, стр. 13. Ср. письмо А. Бестужеву. — «Русская старина», 1888, № 11, стр. 330—331.

[3] В. К. Кюхельбекер. Обозрение российской словесности 1824 года. — «Литературные портфели. Время Пушкина». Пг., 1923, стр. 73.

как прежде, и, кроме того, отягчен многими должностями по университету: время у меня все отнято или должностью, или частными лекциями, без которых нашему брату — бедняку обойтись неможно; а дети растут и требуют воспитания. — Кто после меня издать может мои работы и будут ли они полезны для них, ничего не имеющих». Мерзлякова тяготило сознание невозможности собрать и напечатать свои сочинения. Рукописный том его стихотворений, подготовленный автором к печати, затерялся бесследно, а литературно-критические статьи до сих пор не собраны, хотя подобное издание было бы весьма полезным.

Казалось, время литературной славы Мерзлякова прошло безвозвратно, когда появление в 1830 году — в год смерти поэта — тонкой книжки «Песен и романсов» снова привлекло к нему внимание критики. Автор «Обозрения русской словесности в 1830 году» в альманахе «Денница» писал: «Как поэт он замечателен своими лирическими стихотворениями, особенно русскими песнями, в коих он первый умел быть народным, как Крылов в своих баснях».[1] В таком же духе писал и Надеждин. Похвальный характер этих оценок станет понятен, если вспомнить, что именно в 1830 году в критике шли ожесточенные бои вокруг проблемы народности, — бои, подготовившие появление «Литературных мечтаний» Белинского. Многочисленные высказывания Белинского о Мерзлякове-поэте могут быть правильно осмыслены только в связи с его пониманием проблемы народности. Сказав в статье «О жизни и сочинениях Кольцова» (1846), что новый демократический этап развития литературы требует нового писателя — сына народа «в таком смысле, в каком и сам Пушкин не был и не мог быть русским человеком», Белинский подчеркнул ограниченность народности Мерзлякова, который, по его словам, «только удачно *подражает* народным мелодиям». Но и здесь критик тотчас оговаривался, что его мнение «о песнях Мерзлякова клонится не к унижению его таланта, весьма замечательного».[2]

Русская критика неоднократно обращалась к песням Мерзлякова. Такого внимания не привлекала его гражданская поэзия. Между тем для своего времени она была примечательным литературным явлением.

Творчество Мерзлякова в своих истоках было связано с первыми попытками критики карамзинизма как ненародного направления в

---

[1] «Денница», альманах на 1831 год, изд. М. Максимовича. М., стр. XI—XII.

[2] В. Г. Белинский. Полное собрание сочинений, т. 9. М., 1955, стр. 531—532.

искусстве и откликнулось на заключительные этапы этой полемики. Это не случайно: Мерзляков был поэтом, чей творческий путь, как и у Востокова, Гнедича, Крылова и ряда менее значительных поэтов, шел в ином направлении, чем господствующие течения современной им дворянской поэзии. Испытывая ее влияние и, в свою очередь, влияя на нее, творчество Мерзлякова в лучшей его части предсказывало демократический период литературы, в частности — поэзию Кольцова.

Ю. Лотман

ПЕСНИ И РОМАНСЫ

ПЕСНИ

* * *

Среди долины ровныя
На гладкой высоте,
Цветет, растет высокий дуб
В могучей красоте.

Высокий дуб, развесистый,
Один у всех в глазах;
Один, один, бедняжечка,
Как рекрут на часах!

Взойдет ли красно солнышко —
Кого под тень принять?
Ударит ли погодушка —
Кто будет защищать?

Ни сосенки кудрявыя,
Ни ивки близ него,
Ни кустики зеленые
Не вьются вкруг него.

Ах, скучно одинокому
И дереву расти!
Ах, горько, горько молодцу
Без милой жизнь вести!

Есть много сребра, золота —
Кого им подарить?
Есть много славы, почестей —
Но с кем их разделить?

Встречаюсь ли с знакомыми —
Поклон, да был таков;
Встречаюсь ли с пригожими —
Поклон — да пара слов.

Одних я сам пугаюся,
Другой бежит меня.
Все други, все приятели
До черного лишь дня!

Где ж сердцем отдохнуть могу,
Когда гроза взойдет?
Друг нежный спит в сырой земле,
На помощь не придет!

Ни роду нет, ни племени
В чужой мне стороне;
Не ластится любезная
Подруженька ко мне!

Не плачется от радости
Старик, глядя на нас;
Не вьются вкруг малюточки,
Тихохонько резвясь!

Возьмите же всё золото,
Все почести назад;
Мне родину, мне милую,
Мне милой дайте взгляд!

<1810>

* * *

Я не думала ни о чем в свете тужить,
Пришло время — начало сердце крушить;
С воздыханья белой груди тяжело!
То ли в свете здесь любовью прослыло:
Полюбя дружка, от горести изныть,
Кто по сердцу мне, не сметь того любить?
Злые люди все украдкою глядят,
Меня, девушку, заочно все бранят,

Людямъ нужды нѣтъ до сердца моего —
Вы забавушка при радости моей,
Цвѣты алые поблекните скорѣй!
Вамъ сердечныи страдании особенно.
Вамъ одинымъ скажу про судьбу свою:
Какъ безъ солнушка невозможно вамъ про-жить
Мнѣ безъ милой не возможно больше — жить!

Ты же приняла холодно; но я на честь; —
или — на что смѣнновъ унижалъ и себя?
— самая большая часть этой чести принадле—

Как же слушать пересудов мне людских?
Сердце любит, не спросясь людей чужих,
Сердце любит, не спросясь меня самой!
Вы уймитесь, злые люди, говорить!
Не уйметесь — научите не любить!
Потужите лучше в горести со мной:
Было время — и на вас была беда.
Чье сердечко не болело никогда?
Всяк изведал грусть-злодейку по себе,
А не всякий погорюет обо мне!
Что же делать с горемычной головой?
Куда спрятать сердце бедное с тоской?
Друг не знает, что я плачусь на него;
Людям нужды нет до сердца моего!
Вы, забавушки при радости моей,
Цветы алые, поблекните скорей!
Вас горючими слезами оболью,
Вам одним скажу про горесть я свою.
Как без солнышка не можно вам пробыть,
Мне без милого не можно больше жить.

<1806>

* * *

Не липочка кудрявая
Колышется ветром,
Не реченька глубокая
Кипит в непогоде,
Не белая ковыль-трава
Волнуется в поле —
Волнуется ретивое,
Кипит, кипит сердце;
У красной у девицы
Колышутся груди;
Перекатным бисером
Текут горьки слезы;
Текут с лица на белу грудь
И грудь не покоят!
Ах, прежде красавица
Всех нас веселила,

А ныне красавица
Вдруг стала уныла.
Развейтесь, развейтесь вы,
Девически кудри!
Поблекни, поблекни ты,
Девическа прелесть!
К чему вы мне надобны,
Коль вы не для друга?
К чему мне наряды все,
Коль он не со мною?
С кем сладко порадуюсь,
С кем сладко поплачу?
Ты, милый друг, радостью,
Ты был мне красою!
Тебя только слышала,
Тобою дышала,
В тебе свет я видела,
В тебе веселилась!..
С собою ты сердце взял —
Чем жить, веселиться?
Родные вкруг сердятся,
Что я изменилась;
Другие притворствуют,
А я не умею!..
Ах, с дальней сторонушки
Пришли ко мне весточку,
Что здрав ты и радостен
И что меня помнишь!
Тогда улыбнуся я
На белый свет снова;
Тогда и в разлуке злой
Сольемся сердцами!
Тогда оживу опять
Для вас, добры люди!

* * *

Вылетала бедна пташка на долину,
Выроняла сизы перья на долине.
Быстрый ветер их разносит по дуброве;
Слабый голос раздается по пустыне!..

Не скликай, уныла птичка, бедных пташек,
Не скликай ты родных деток понапрасну —
Злой стрелок убил малюток для забавы,
И гнездо твое развеяно под дубом.
В бурю ноченьки осенния, дождливой
Бродит по полю несчастна горемыка,
Одинёхонька с печалью, со кручиной;
Черны волосы бедняжка вырывает,
Белу грудь свою лебедушка терзает.
Пропадай ты, красота, моя злодейка!
Онемей ты, сердце нежное, как камень!
Растворися, мать сыра земля, могилой!
Не расти в пустыне хмелю без подпоры,
Не цвести цветам под солнышком осенним;
Мне не можно жить без милого тирана.
Не браните, не судите меня, люди:
Я пропала не виной, а простотою;
Я не думала, что есть в любви измена;
Я не знала, что притворно можно плакать.
Я в слезах его читала клятву сердца;
Для него с отцом я, с матерью рассталась.
За бедой своей летела на чужбину,
За позором пробежала долы, степи,
Будто дома женихов бы не сыскалось,
Будто в городе любовь совсем другая,
Будто радости живут лишь за горами...
Иль чужа земля теплее для могилы?
Ты скажи, злодей, к кому я покажуся?
Кто со мною слово ласково промолвит?
О безродной, о презренной кто потужит?
Кто из милости бедняжку похоронит?

* * *

«Ах, что ж ты, голубчик,
Невесел сидишь
И нерадостен?» —
«Ах! как мне, голубчику,
Веселому быть
И радостному!

Вчера вечерком я
С голубкой сидел,
На голубку глядел,
Играл, целовался,
Пшеничку клевал.
Поутру голубка
Убита лежит,
Застреленная,
Потерянная!
Голубка убита
Боярским слугой!
Ах! кстати бы было
Меня с ней убить:
Кому из вас мило
Без милыя жить?» —
«Голубчик печальный,
Не плачь, не тужи!
Ты можешь в отраду
Хотя умереть, —
Мне должно для горя
И жить и терпеть!
Голубка до смерти
Твоею была;
Мою же голубку
Живую берут,
Замуж отдают,
Просватывают».

<1806>

* * *

Чернобровый, черноглазый,
Молодец удалый,
Вложил мысли в мое сердце,
Зажег ретивое!
Нельзя солнцу быть холодным,
Светлому погаснуть;
Нельзя сердцу жить на свете
И не жить любовью!
Для того ли солнце греет,
Чтобы травке вянуть?

Для того ли сердце любит,
Чтобы горе мыкать?
Нет, не дам злодейке-скуке
Ретивого сердца,
Полечу к любезну другу
Осеннею пташкой.
Покажу ему платочек,
Его же подарок, —
Сосчитай горючи слезы
На алом платочке,
Иссуши горючи слезы
На белой ты груди,
Или сладкими их сделай,
Смешав со своими...
Воет сыр-бор за горою,
Метелица в поле;
Встала вьюга, непогода,
Запала дорога.
Оставайся, бедна птичка,
Запертая в клетке!
Не отворишь ты слезами
Отеческий терем;
Не увидишь дорогого,
Ни прежнего счастья!
Не ходить бы красной девке
Вдоль по лугу-лугу;
Не искать было глазами
Пригожих, удалых!
Не любить бы красной девке
Молодого парня;
Поберечь бы красной девке
Свое нежно сердце!

<1806>

ЧУВСТВА В РАЗЛУКЕ

Что не девица во тереме своем
Заплетает русы кудри серебром?
Месяц на небе, без ровни, сам-большой,
Убирается своею красотой.

Светлый месяц! весели, дружок, себя!
Знать, кручинушке высоко до тебя.
Ты один, мой друг, гуляешь в небесах,
Ты на небе так, как я в чужих краях;
А не знаешь муки тяжкой — быть одним,
И не сетуешь с приятелем своим!..
Ах! всмотрись в мои заплаканны глаза,
Отгадай, что говорит моя слеза:
Травка на поле лишь дожжичком цветет,
А в разлуке сердце весточкой живет!
Всё ли милая с тобой еще дружна,
Пригорюнившись, сидит ли у окна,
Обо мне ли разговор с тобой ведет
И мои ли она песенки поет?
Птичка пугана пугается всего!
Горько мучиться для горя одного!
Горько плакать и конца бедам не знать!
Не с кем слез моих к любезной переслать!
У тоски моей нет крыльев полететь,
У души моей нет силы потерпеть,
У любви моей нет воли умереть.
Изнывай же на сторонушке чужой,
Как в могиле завален один живой!
Будь, любезная, здорова, весела;
Знать, ко мне моя судьбинушка пришла!

<1805>

СЕЛЬСКАЯ ЭЛЕГИЯ

Что мне делать в тяжкой участи своей?
Где размыкать горе горькое свое?
Сердце, сердце, ты вещун, губитель мой!
Для чего нельзя не слушать нам тебя?
Как охотник приучает соколов,
Приучаешь ты тоску свою к себе;
Манишь горесть, без того твою родню;
Приласкала грусть слезами ты к себе!
Вейте, буйны, легкокрылы ветерки,
Развевайте кудри черные лесов,
Вейте, весточки, с далекой стороны,
Развевайте мою смертную печаль!

Вы скажите: жить ли, бедной, мне в тоске?
Вы скажите: жив ли милый мой дружок?
Долго, долго ждет любовь моя его!
Вот уж три года тоске моей минет;
Ровно три года, как слуху нет об нем;
Нет ни грамотки, ни вестки никакой!
Ах! ужли-то солнце стало холодней?
Неужли-то кровь ретива не кипит?
Неужли твое сердечко, милый друг,
Ничего тебе о мне не говорит?
Много время, чтоб состариться любви!
Много время, позабыть и изменить!
Ветер дунул с чужой, дальней стороны,
Показалася зарница над горой,
Улыбнулася красотка молодцу,
И прости мое всё счастье и покой!
Нет! не верю я причудам всем своим:
Милый друг мой! твоя девушка в тоске,
Тебе верит больше, нежели себе.
Знать, злосчастным нам такой уже талант —
Не деляся душой, делиться ввек житьем;
Знать, затем-то в зеленóм у нас саду
Два цветочка одиночкою росли,
Одним солнышком и грелись, и цвели,
Одной радостью питались на земли,
Чтобы ветры их далеко разнесли,
Чтобы в разных рассадить их сторонах,
Чтоб на разных вдруг засохнуть им грядах!
У них отняли последню радость их,
Чтобы вместе горевать и умереть.
Поздно, миленький, на родину придешь,
Поздно, солнышко, на гроб ты мой блеснешь!
Я найду уже другого жениха,
Обвенчаюся со смертью без тебя,
Сам ты нехотя меня сосватал с ней!
Приди, милый друг, к могиле ты моей!
Ты сорви цветок лазоревый на ней;
Он напомнит, как цвела я при тебе,
Ты оттудова поди в темны леса,
Там услышишь ты кукушку вдалеке:
Куковала так злосчастная в тоске;
Горесть съела всю девичью красоту;

Сердце бедное слезами истекло.
Как подкошенна травинушка в лугу,
Вся иссохла я без милого дружка!
Место всякое — не место для меня,
Все веселья — не веселья без тебя.
Рада б я бежать за тридевять земель,
Но возможно ли от сердца нам уйти?
Но возможно ли от горя убежать?
Оно точит стены каменны насквозь,
Оно гонится за нами в самый гроб!
Девки просят, чтоб не выла я при них:
«Ты лишь портишь наши игры, — говорят, —
На тебя глядя, нам тошно и самим!» —
Ах! подруженьки! вы не жили совсем!
Вы не знаете, и дай, боже, не знать
Горя сладкого, опасного — любить!
Ваше сердце не делилося ни с кем;
В моем сердце половины целой нет!
В моем милом я любила этот свет!
В нем одном и род, и племя всё мое,
В нем одном я весела и хороша,
Без него, млада, ни людям, ни себе.
Ах! когда вы что узнаете об нем,
Не таитесь, добры люди, от меня;
Уж не бойтесь испугать меня ничем!
Вы скажите правду-истину скорей;
Легче, знав беду, однажды умереть,
Чем, не знав ее, всечасно умирать.

<1805>

* * *

Ах, де̂вица-красавица!
Тебя любил — я счастлив был!
Забыт тобой — умру с тоской!
Печальная, победная
Головушка молодецкая!
Не знала ль ты, что рвут цветы
Не круглый год, — мороз придет...
Не знала ль ты, что счастья цвет
Сегодня есть, а завтра нет!

Любовь — роса на полчаса.
Ах, век живут, а в миг умрут!
Любовь, как пух, взовьется вдруг:
Тоска — свинец внутри сердец.
Ахти, печаль великая!
Тоска моя несносная!
Куда бежать, тоску девать?
Пойду к лесам тоску губить,
Пойду к рекам печаль топить,
Пойду в поля тоску терять,
В долинушке печаль скончать.
В густых лесах — она со мной!
В струях реки — течет слезой!
В чистóм поле — траву сушит!
В долинушках — цветы морит!
От батюшки, от матушки
Скрываюся, шатаюся.
Ахти, печаль великая!
Тоска моя несносная!
Куда бежать, тоску девать?

<1806>

ОЖИДАНИЕ

Тошно девице ждать милá друга,
Сердце, кажется, хочет вырваться;
К нему тайный вздох, к нему страстный взор,
К нему встрéчу вся лечу мыслями.
Ах! катись скорей, ясно солнышко,
Катись радостью по поднéбесью.

В шатре утреннем народился день,
Красно солнышко полпути прошло:
В высоте своей величается,
Милый друг ко мне не является...
Ах! катись скорей, ясно солнышко,
Катись радостью по поднéбесью.

Вот и красный день ближе к вечеру,
И стада бегут с зелены́х лугов,
И заботы все от людских сердец:

ПѢСНИ
И
РОМАНСЫ

А. МЕРЗЛЯКОВА.



МОСКВА.
Въ Типографіи С. Селивановскаго.
1830.

Не бежит тоска от души моей.
Ах! катись скорей, ясно солнышко,
Катись радостью по поднебесью.

Солнце к западу тихо клонится,
Там прохлада ждет его в облаке,
Там погасит оно жар полуденный;
А кто может любовь угасить в груди?
Ах! катись скорей, ясно солнышко,
Катись радостью по поднебесью.

Тени вечера потянулись с гор,
Вкруг чернеет лес...
Голос дал соловей в роще липовой.
Ах! нет, нет! это голос милого.
Ах! катись скорей, ясно солнышко,
Катись радостью по поднебесью.

Тени мирные рощи липовой,
Разделитеся и сомкнитеся!
Примечайте вы друга милого;
Вечер этот мне веселее дня,
Закатися ты, ясно солнышко,
Почивай себе в ложе облачном.

СОЛОВУШКО

Для чего летишь, соловушко, к садам?
Для соловушки алеет роза там.
Чем понравился лужок мне шелковóй?
Там встречаюсь я с твоею красотой.
Как лебедушка во стае голубей,
Среди девушек одна ты всех видней!
Что лань быстра, златорогая в лесах,
С робкой поступью гуляешь ты в лугах.
Гордо страстный взор, разбегчивый, блеснул;
Молодецкий круг невольно воздохнул,
Буйны головы упали на плеча,
Люди шепчут: для кого цветет она?

Наши души знают боле всех людей,
Наши взоры говорят всего ясней.
Но когда, скажи, терпеть престану я?
Дни ко мне бегут, а счастье — от меня.
Пусть еще я не могу владеть тобой,
Для чего же запретил тиран мне злой
Плакать, видеться с красавицей моей?
И слезам моим завидует, злодей!

* * *

Под березой, где прозрачный ключ шумит,
Добрый молодец задумавшись сидит,
Не один сидит, с товарищем, с тоской,
Преклонясь на белу ручку головой.
Всё встречало, привечало всё весну,
Не встречал, не привечал один весны;
Возрыдавши, слово молвил про себя:
«Лила! Лила! чем уверить мне тебя?
Долго ль будешь ты коситься предо мной?
То неверен, то коварен, то я злой.
Твоему ли сердцу ведать, Лила, страх?
Посмотри: там блещет речка в берегах;
Волны тихо ловят друг дру́га, катясь,
От любви или от злости эта связь?
Там воробушки кружатся и шумят,
Злой ли умысел заставил их играть?
Там, виясь, два ручейка среди лугов
Друг от друга хоронились меж цветов;
То сближались, то скрывалися тотчас,
Дружка дружку обходили много раз.
Луг просторен, всем раздолье — веселись,
Но наскучило кружиться им — слились!
Слившись, милые, расстались ли когда?
Вместе скачут, вместе резвятся всегда!
Я заметил, что однажды вечерком
Ты, смотря в ручей, закрылася платком!
Грустно стало, любовалась ты на них:
Чем завидовать, счастливей будем их!»

* * *

Мой безмолвный друг, опять к тебе иду,
Мой зеленый сад, к тебе тоску несу!
Ровно три весны встречал ее с тобой,
Не пленяй меня и нынешней весной.
Без любезной, без жестокой мне не жить!
Я иду к тебе с могилой говорить!
Неужели и она мне жестока́?
Здесь дрожащая отшельника рука
Близ беседки пусть посадит на гряде
Лишь подсолнечник, пример моей беде!
Пусть в глазах моих подсолнечник растет:
Для любви своей, для солнца он цветет.
Целый день кружится, бедненький, за ним;
Он и зреет, он и сохнет только им.
Ах! какого же дождешься ты конца?
Без отрады гаснет ясный цвет лица,
Птицы выклюют все зернышки долой,
Ты приклонишься один к земле сырой,
Ветер бурный сломит нежный стебелек,
И не спросят: что твой друг к тебе жесток?
Солнце красное высоко, далеко,
А подсолнечник в долине глубоко!

ОБ НЕЙ

Чего желал, что пел, что в свете мог любить —
Всё в ней, всё только в ней!
Чем может бог одних счастливцев наградить —
Всё в ней, всё только в ней!
Как легкий, томный сон, беды мои прошли,
Всё чрез нее и с ней!
Я счастия искал напрасно на земли:
Ах! счастье только с ней!
Кому всю жизнь свою охотно я отдам,
Всё ей, всё только ей!
Когда добрее был к несчастным, к сиротам?
При ней, всегда при ней!
Когда я выше всех: и смертных, и богов?
Когда сижу при ней!
Я целый мир забыл: богатство, блеск чинов;
Что нужды в них при ней?
Что к счастью я рожден, что сердце я имел,
Я то узнал от ней.
В безвестности, в глуши я новый мир обрел
С одною только с ней!
О боже праведный! последний час пошли
Сперва ко мне, не к ней!
В ком ты достойнее сияешь на земли?
В душе Элизы — в ней!
Чем лучше возмогу тебе я угождать,
Как не любовью к ней?
И там, на небесах, в обители отрад,
Моя отрада в ней!

<1815>

К ЭЛИЗЕ

Когда б я был любим, о милая, тобою...
Мечта прелестная, завидный дар небес!
С подругой нежною делиться ввек судьбою,
Делиться сладостью и радости, и слез!

Когда б я был любим... певец стезею правой,
Завистников презрев, к бессмертью б воспарил!
Элизою любим, стремился бы за славой;
Элизу бы воспел и славу заслужил!

Когда б я был любим... гонимый с сиротою
Спасителя во мне и брата бы сыскал!..
И мне ль недобрым быть, любимому тобою?
Мне ль благости не знать, когда тебя узнал?

Когда б я был любим... сокройтесь, сны златые:
Богатства, суеты, фортуна, мир забыт!
Свобода и любовь — цари мои земные!
В них счастье, а без них и счастье — ложный вид!

Но что, безумец, я — какой пленен мечтою?
Надежда, удались! Мне ль радостей искать?
Другому быть твоим, другому жить тобою!
А мне... о призраке погибшем унывать!..

<1808>

* * *

В чем я винен пред тобою,
Чем тебя я прогневил?
Разве тем, что всей душою
Я жестокую любил?

Сила страсти — бога сила!
Можно ль ей противустать?
Так судьба уже судила
Мне, узнав тебя, страдать!

Но, в тоске бесплодной ноя,
Чем тебя я оскорбил?
Отказавшись от покоя,
Твой покой не нарушил,

И наружности смущенья,
Слова, взгляду при тебе
Из душевного почтенья
Не позволил я себе.

Роща дальняя внимала
Злополучной страсти глас,
Ночь печальна примечала
Слезы горькие из глаз.

Не надеясь наслаждаться
Чувством нежности твоей,
Мне осталось лишь питаться
Скрытой горестью своей.

В томном страсти упоенье
Я вселенную забыл;
Наяву и в сновиденье
Лишь тебя в ней находил.

Образ милый твой скрывался
В тайне сердца моего:
Всякий дар небес казался
Даром сердца твоего.

Ты в луне мне сострадала,
Краше солнышко тобой,
Ты мне прелесть показала
Добродетели самой.

Без тебя я был с тобою,
Чувство, мысль твою делил;
Я мечтал, что надо мною
Кроткий гений твой парил.

Вот страдальца наслажденья!
Хочешь — всех меня лишай.
Вот мои все преступленья;
Будь безжалостна — отмщай! ..

Позабудь меня, жестока,
Запрети себя видать;
Но какая сила рока
Запретит мне обожать?

Чувство сладостно, отрадно,
Существо души моей!
Под землею разве хладной
Ты исчезнешь вместе с ней.

<1810>

* * *

Тихий, нежный ветерочек,
Не от Лизы ль ты летишь?
Флоры миленький дружочек,
Не со мной ли говоришь?

Сердце слышит, сердце знает:
Не обманешь сердца, друг!
Отчего ж оно страдает,
Отчего уныл я вдруг?

Отчего твое дыханье,
Как дыхание любви,
Возбуждает тискованье
И волнение в крови?

Ты для всех несешь прохладу,
Для меня ужасный зной;
Всем приносишь ты отраду,
От меня бежит покой.

Как волшебник злой, мечтами
Окружаешь ты меня,
Шепчешь тихо за кустами,
Слышу голос тихий я!

Там листы затрепетали,
Не она ль ко мне идет?
Пал цветочек — не она ли
Мне, подкравшись, подает?

Всё согласно здесь с тобою
На полях среди лугов;
Само небо теплотою
Всё твердит мою любовь!

Про нее деревья нежно
Разговор с собой ведут,
Про нее ручей любезный,
Птички про нее поют.

Я вздыхаю, я томлюся,
И люблю вздыхать, тужить;
Я веселым быть кажуся,
А хотел бы слезы лить.

Не хочу, чтобы со мною
Стал об нас кто вспоминать;
А вспомянут — рвусь душою,
Если мало говорят!

Расскажи мне, друг любезный,
Отчего не волен я
Удержать стремленье слезно,
Отчего тоска моя?

Тихий, нежный ветерочек!
Так, от Лизы ты летишь!
Флоры миленький дружочек!
Так, со мной ты говоришь!

* * *

Жестокою судьбою
От милой удален,
Я строю томну лиру,
К разлуке осужден.

Услышишь ли, Надина,
Унылый голос мой?
Душа моя трепещет,
Беседуя с тобой.

Тебя ли призываю
Или уж тень твою?
Желаю и страшуся
Узнать судьбу свою.

Пловец в пучине бурной
Хоть смерть свою и зрит,
Последнею минутой
Еще он дорожит.

Надежду созерцает
Он в гибели самой,
К ней руки простирает...
Вот бедный жребий мой!

О благость провиденья!
Ему ли нас забыть!
Оно не даст мгновенья
Тебя мне пережить!

Когда от счастья прежде
Не мог я умереть,
Так ныне жить мне должно,
Чтобы с тобой терпеть!

Страдать с моей Надиной,
О сладостная часть!
Не может сей отрады
Похитить злобных власть!

Смотрите, как вы слабы!
Разлуке ль запретить
Сердцам соединенным
Друг с другом говорить?

Она везде со мною:
В безмолвный нощи час
Я пью ее дыханье,
Я слышу милый глас!

Ее целую слезы;
На сердце каплют мне
Любви нежнейшей слезы!
Сколь пламенны оне!..

Надина! ободримся!
Что отнято у нас?
Ужель не в нашей воле
Последний жизни час!

Надина! там блаженство,
Там счастливы душой!
Там нужно только сердце,
Чтобы владеть тобой!

Не слава там, не знатность,
Не пышны имена,
Не гордых предков титлы,
Нужна любовь одна!

Не хладный предрассудок
Там будет нам судья:
Прижавши руку к сердцу,
Ты скажешь: я твоя!

<1815>

* * *

Меня любила ты — я жизнью веселился,
День каждый пробуждал меня к восторгам вновь;
Я потерял тебя — и с счастием простился:
Ах, счастием моим была твоя любовь!

Меня любила ты — средь милых вдохновений
Я пел прекрасную с зарею каждой вновь;
Я потерял тебя — и мой затмился гений:
Ах, гением моим была твоя любовь!

Меня любила ты — я добрым быть стремился,
Искал несчастного, чтоб дать ему покров;
Я потерял тебя — мой дух ожесточился:
Добротою моей была твоя любовь!..

<1806>

* * *

Кому страдать, крушиться
Назначено судьбой,
Тот должен в свет родиться
С чувствительной душой.

Дар пагубный и милый,
О сердце, жертва бед,
До самыя могилы
Тебе покоя нет!

Весь мир за рай считая,
Ты льстишь себя мечтой;
Но миг... и светлость рая
Исчезла пред тобой.

Дыша любезным чувством,
Друзьями всех зовешь;
Но все друзья с искусством,
А ты простяк слывешь!

Любовь зовут отрадой
Всех горестей земных;
Но что ж любви наградой?
Собор мучений злых!

Я с сердцем — там притворство;
Я плачу — тамо смех,
Измены, вероломства!
Игрушкой будь у всех.

Любимый даже страстно,
Как дерзостный пловец,
Ждет бури повсечасно:
Любовь есть вихрь сердец!

Единый взгляд смущает;
Но взгляд — и счастья луч!
Ах, солнышко сияет
Над ним всегда из туч!

Невольник поздно ль, рано ль
Плен тяжкий сокрушит;
Я сам себе тираном,
Свобода мне не льстит!

Холодность, дар ничтожный!
До смерти мертвым быть!
Страдать, хоть горько, можно —
Не можно не любить!

Друзья! как скоро боги,
На жалость преклонясь,
За слезы, бедства многи
Пошлют мне смертный час, —

Здесь друга положите,
Здесь я тоскою жил;
На гробе надпишите:
«Несчастный! он любил!»

К МОЕЙ Л. В—НЕ

Простите, обольщенья
Честей, земных сует,
Златые заблужденья
Незрелых, пылких лет!

Навек, навек простите!
Узнал обман и — рад!
Ах, чем вы замените
Один любови взгляд?

Довольно я скитался;
Я видел хитрых, злых,
Кумирам поклонялся,
Игрушкой был слепых.

Любовь! клянусь отныне
Ты всё мне — весь я твой!
Благодарю судьбине,
Хранитель ангел мой.

Пускай честями, славой
Пленяется гордец;
Пускай ему с отравой
Приносит жертвы льстец.

Одно твое мне слово
Дороже хвал царей;
Оно стремленье ново
Дает душе моей!

Не роскошь и не пышность
Со счастием живет:
Блестящая излишность —
Покров коварный бед.

С природой, с простотою,
С любовью будем жить;
Над жизнью городскою
Тихохонько шутить.

Чертог богатством блещет;
Но в светлой клетке сей
Богатый сам трепещет
Об участи своей.

Ты всё мне: честь, награда,
Богатство ты одна;
В несчастиях отрада,
А счастья ты вина.

Так! сладко жить мы станем,
Последний встретим час!
С любовию увянем,
Любовь пробудит нас.

<1815>

К АРФЕ, ОТПРАВЛЯЕМОЙ В ДЕРЕВНЮ

Арфа, милый друг Всемилы,
Ты повсюду вместе с ней.
Повтори мой глас унылый
И простись с тоской моей!

Мне тебя не слышать боле,
Мне Всемилы не видать;
Кто с печальным в тяжкой доле
Грусть захочет разделять?

Прежде, счастливый тобою,
Я отраду находил;
Чрез тебя с моей душою
И Всемилой говорил.

Здесь я весь одним был слухом,
Здесь не смел, не мог дышать;
Здесь восторга полным духом
Мог я счастье понимать!

Здесь при звуках страсти нежной
Страсть в самом себе читал;
Против воли взор сей слезный
Тайне чувства изменял.

Как живые струны, билось
Сердце нежное во мне:
То играло, то крушилось,
В быстром таяло огне.

О минуты наслажденья!
Навсегда ль вы протекли?
Сладость, сладость заблужденья,
Цвет неверный на земли!

Оживись моей тоскою,
Арфа, стон мой повторяй!
Скорбный гений мой с тобою
Полетит в далекий край.

В час печальный прикоснется
Он к немой твоей струне;
Как от ветра, звук проснется
И напомнит обо мне.

Может быть, сама Всемила
То услышит и вздохнет,
Неизвестных чувствий сила,
К арфе дружба приведет.

Заиграет... звуки! томно
Лейтесь горестью моей;
Объясните тихо, скромно,
Как страдаю я без ней!

Птички, рощицы игривы,
Замолчите... песнь скучна,
Вы любимы, вы счастливы —
Здесь грустит любовь одна!

Но, когда в часы отрадны
Пе́рсты мчатся на струнах,
Тоны резвы, перекатны,
Лейтесь в вихре и громах!

Пусть тогда она не знает,
Что я жил, что вижу свет;
Пусть ничто ей не мешает,
Пусть всё радостью цветет!

Арфа, милый друг Всемилы!
Будь веселием для ней;
Не втори мой глас унылый
И простись с тоской моей!

* * *

Коль сердце сердцем может жить,
Коль благо жизни их слиянье,
Ах! что ж должна разлука быть?
Разлука — тяжкое страданье!
  Любя, любезной не видать —
  Стократ день каждый умирать!

Бывало... сладкий, милый час —
Дар неба всякое мгновенье!
Чудесна прелесть страстных глаз,
Безмолвно взоров изъясненье!
  Любя, любезной *и пр.*

Сидеть одним, играть, шутить,
Душа душою веселиться,
Сердцами слушать, говорить
И не уметь наговориться.
  Любя, любезной *и пр.*

Одна рука в руке другой,
Прокравшись, с трепетом касались;
Вздымалась бела грудь волной,
И взоры тихо опускались!
  Любя, любезной *и пр.*

Пылал огонь в лице, в крови,
В глазах томленье омоченных!

О нежный поцелуй любви!
О слезы, рай обвороженных!
Любя, любезной *и пр.*

Веселье, горесть, слезы, смех,
Минуты спора и согласья —
Всё было мне виной утех,
Всё было мне виною счастья!
Любя, любезной *и пр.*

Где вы, о спутники любви,
Размолвка, гнев и подозренье,
И ревность нежныя души,
И ты, друг-радость, примиренье?
Любя, любезной *и пр.*

Теперь тоской сретаю день,
Тоскою день я провождаю.
Воспоминанье, блага тень,
Тобой любовь мою питаю!
Любя, любезной *и пр.*

Как ночь взойдет на небеса,
Я часто, обольщен мечтою,
Тебя зрю, милая краса!
Проснусь — нет призрака со мною!
Любя, любезной *и пр.*

Вот локон здесь твоих волос,
Вот что осталось от прекрасной!
Немой свидетель горьких слез,
И ты мне мукой стал ужасной!
Любя, любезной не видать —
Стократ день каждый умирать!

<1815>

РАЗЛУКА

Минута грозная настала!
О Лила, о мой друг, прости!
Почто не смерть судьба сказала?
Скорее смерть могу снести!

Скорее миг уничтоженья,
Чем жизнь, исполненну мученья.
Мой друг!.. Но в дальней стороне
Ты и не вспомнишь обо мне!

Душа, томимая тоскою,
Не найдет места для себя!
Как ей, живущей лишь тобою,
Как можно не искать тебя?
Она твой спутник невидимый,
Везде с тобой неразделимый.
А ты в далекой стороне
Уже не вспомнишь обо мне!

Скитаясь по полям, унылый,
Я передам всему тоску:
И рощи говорят о милой,
И камни сетуют со мной,
И утро грусть мою застанет,
И вечер в грусти же увянет!
А ты в далекой стороне
Уже не вспомнишь обо мне!

Как месяц встанет из-за рощи,
Пойду на холм, знакомый нам;
Одеянный мечтами нощи,
С слезами обращуся к вам,
Минувши дни очарований!
О, сколько сладких вспоминаний!
А ты в далекой стороне
Уже не вспомнишь обо мне!

Теперь, я думать стану в скуке:
Она окончить путь должна;
Теперь сгрустилось ей в разлуке,
Летит ко мне... близка она!..
Простите, сладкие мечтанья!
Не лейтесь, слезы ожиданья!
Напрасно: в дальней стороне
Она не вспомнит обо мне!..

Дай бог, чтоб ты не знала вечно
Страданий, кои я терплю!
О друг мой, друг бесчеловечный!
Люби, как я тебя люблю...
Тогда познаешь сердца муки,
Тогда не вынесешь разлуки,
Тогда... но в дальней стороне
Ты и не вспомнишь обо мне!

<1815>

* * *

Прости, любовь! Конец моим мученьям!
Что пользы мне для слез, для горя жить?
Я жертвой был измене, обольщеньям;
Прости, любовь: пора свободным быть!

Так я мечтал, надеждой веселился,
Спокоен, тверд, в сердечной тишине:
Чего робеть? я с Лизой разлучился;
Амур-дитя — оно не страшно мне!

Но грозный бог не терпит оскорбленья,
Уже летит, к отмщенью воспален;
Берет стрелу, я смело жду сраженья,
И злой удар на время отражен.

«Не торжествуй! — сказал мне раздраженный. —
Мой гнев везде, всегда готов карать!
Достойну казнь получит дерзновенный,
Кто смел, кто мог Амура презирать!» —

«Пустое, друг! теперь тебя я знаю:
Какого ждать от мальчика вреда?
Амур, Амур! тебя я презираю,
Твоим рабом не буду никогда!» —

Как тихий ключ, здесь жизнь моя катилась!
Но долго ль? Ах! что верно на земли?..

Сегодня ты, Элиза, мне явилась,
И все мечты, как легкий сон, прошли!

Взвился Амур, победою гордится,
С улыбкой зрит на тайный пламень мой.
«О слабый бог! стыдись чужим хвалиться!
Какая честь тебе при помощи такой?»

РАЗГОВОР

ЛЮБОВЬ И Я

Я

Жестокая любовь, вина моих мучений!
Тебе дерзаю принести
Печальные плоды твоих же вдохновений.
Прими и освяти.

Любовь

Благих даров своих себе не возвращаю.
Несчастный, верный друг! мне дорог твой покой, —
Кто заставлял тебя знакомиться со мной?

Я

Кто? нужно ль вопрошать!.. Я сердцем это знаю!

Любовь

Почто же ты не к ней дары свои принес?

Я

В них очень много слез!
О матерь сладких чувств, не ты ль мне указала
Ее прелестных дней печалью не смущать?
Беседуя с тобой, при ней могу молчать!

Любовь

Но разве гордая тебя не понимала?
Но разве сердца в ней для нежной страсти нет?
Кто смеет презирать мои уставы?

Я

Свет!

Обычай, моды, лесть...

Любовь

Ах! что я стала ныне?
Но прочь отчаянье! Неси твой дар скорей
Той, коя правит всем, той, коя всех сильней —
Таинственной судьбине!

К ......

Лизета, что в искусстве
По моде жить, пленять?
Ах! чувство может в чувстве
Себя лишь награждать!

Все знают, ты прекрасна,
С тобой собор утех;
Но можно ли всечасно
Любезной быть для всех?

Ах, сердца поневоле
Не станет для всего!
Поверь, не можно боле
Любить, как одного!

Тебя хвалы пленяют,
Прелестники кругом
Твой взгляд предупреждают,
Но что же пользы в том?

Ах, Лиза! может статься,
Успеешь ты открыть,
Что милой всем казаться
Не есть еще любить.

Так! ныне все влюбились,
А нет совсем любви!

Все мучатся, вскружились,
А вечный лед в крови!

Играющий с тобою
Вертлявый селадон
Гордится — чем? — Собою,
Что занял Лизу он.

Тебе самой нет ну́жды,
Ты рада с ним шутить;
Тебе все люди чужды,
Лишь только б говорить.

Несчастлив тот, кто любит
По сердцу своему;
Он свой покой лишь губит,
Смеются все ему.

Страсть сердца ныне стала
Искусством для людей;
Она не умирала
В одной душе моей!

Тебя я, Лиза, знаю!
Я ангела любви
В Лизете обожаю,
Ты бог мой на земли!

Но что ж сказать? — Лизета
Умеет только жить
Для лести и для света.
Как мне тебя любить?

РОБОСТЬ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ

Ясный месяц! не сияй,
Как пойдет ко мне любезный;
Любопытство усыпляй
В мраке ночи безмятежной!

Ясный месяц! не сияй;
Ах! я глаз своих боюся!
Как взглянуть? О чувствий рай!
Неравно проговорюся!

Ясный месяц! не сияй,
Если будем целоваться!
Он сказал: я честен, знай!
Верю... но боюсь свыкаться!

Ясный месяц! не сияй,
В час печальный разлученья.
Сердце бедно, не страдай!
Друг, не чувствуй ты мученья!

Ясный месяц! не сияй!
Как он станет возвращаться,
Пусть... но вот он! поспешай!..
Нет, укроюсь... где деваться?

ОЖИДАНИЕ ЛЮБЕЗНОГО

Где ты, в какой земле, в каких странах безвестных,
Неразделяемый навек с моей душой?
Где ты, мечтаний бог, и томных, и прелестных,
Всегда присутственный, но, ах! незримый мной?

Напрасно страстна мысль вослед тебе стремится,
Желанье на крылах летит из града в град;
Ах, сердце трепетно напрасно суетится
Отгадывать в мечтах твой радостный возврат.

Нетерпеливая, стараюсь я напрасно
Услышать, где мой друг, куда послать мой вздох.
Так странник в тьме лесов, в час вечера ненастный,
Дорогу потеряв, на влажный падши мох,

Внимательный свой слух на каждый шум склоняет,
В малейшем шорохе мнит друга он узнать,
И всякий свет вдали вождя ему являет;
Но миг — и свет угас, и шума не слыхать!

Всё глухо, вести нет, и всё покрыто тьмою!
Отчаянной душе всё чуждый, мертвый вид!
И пламенник любви не светит предо мною,
И луч надежды мне стези не озарит!

Отдайте мне его, о боги моря, неба!
О рощи и поля! отдайте мне его!
Весна прелестная, дщерь пламенного Феба,
Приди и возврати полсердца моего!

Зефиры кроткие! хоть раз об нем шепните!
Носитесь перед ним и ускоряйте путь!
Умершим вы полям вновь жизнь и цвет дарите:
Ах, влейте жизнь в мою отчаянную грудь!

Амур, всесильный бог! к тебе, к тебе взываю!
Найди жестокого и власть свою яви,
Влей в дух его тоску, которой я страдаю,
Дай чувствовать ему мучения любви!

Расторгни все его держащие препоны,
Плени его, влеки, дай крылья ты свои,
Дай нежность нежности забывшему законы
И возврати опять мне радости мои.

<1815>

ДУЭТ

На голос известной малороссийской песни
«Ихав козак за Дунай...»

Первый голос

В час разлуки пастушок,
Слезный взор склоня в поток,
Говорил своей любезной:
«Нет, тому не быть!

Нет, не будешь ты моя:
Ты богата — беден я.
Будь счастлива, будь спокойна;
Пусть один терплю!»

Второй голос

На любезного взглянув,
Страстно, сладостно вздохнув,
Так пастушка отвечала:
«Нет, тому не быть!

Нет! ты мой, и навсегда!
Бедность, друг мой, не беда.
Кто богат, как мы, любовью,
Тот и всем богат!»

Первый голос

Ах! безроден я и сир,
Дом и двор мой — целый мир.
Что же добры люди скажут
О любви твоей?

Второй голос

Люди знают лишь бранить,
А не знают, как любить.
Мне не нужны род и племя —
Нужен ты один!

Первый голос

В счастье ты теперь живешь,
Горе ты со мной найдешь;
Тяжко плакать, но тяжеле
Быть виною слез!

Второй голос

С другом горесть мне сладка,
Радость без него горька;
Мы смешаем наши слезы,
И беда пройдет!

Первый голос

Я не знал, чтó василек,
Чтó нарцисс, чтó ноготок,
А любил уже для милой
Собирать цветы!

Второй голос

Я не знала наших стад,
Сколько мой отец богат;
А тогда уже любила
Плесть тебе венки!

Оба

Для тебя мне жизнь мила,
Красен день, цветет земля;
Для тебя дано мне сердце,
Верное навек.

Для чего ж так рано нам
Приучать себя к слезам?
Сладко, друг мой, жить с тобою,
Сладко умереть!

<1806>

ЧТО ЕСТЬ ЖИЗНЬ?

Жизнь смертных — тяжелое бремя,
Страдание — участь людей.
Надейся на будуще время,
И слезы украдкою лей.

Печали везде за тобою,
Готовься, хоть рад, хоть не рад!
Не волен ты сам над собою:
Споткнешься в дороге стократ!

Пусть так, но и дружества чувство —
Утеха сердцам молодым.
Ах! дружба — придворных искусство:
Мы часто обмануты им.

Коль выгоды видят — ласкают,
Нет выгоды — знать не хотят.
Царей и вельмож презирают,
Как скоро пропал их парад!

«Любовь — утешенье несчастным!» —
Так думали люди всегда.
Ах, можно ли верить прекрасным?
Им верить, не верить — беда!

Кто любит нeложно, сердечно,
Насмешки, мученье найдет.
Живущий без страсти, беспечно,
Не дышит, но камнем живет.

В вельможи хотите добиться?
Но что же вам прибыли в том?
Вельможе почасту не спится:
Став знатным, он стал всем врагом.

Сегодня, как башня, возвышен,
А завтра — на улице прах;
Сегодня величествен, пышен,
А завтра — лежит на Филях!

Ученый ученьем гордится,
Но где же? — В передней глупцов!
За дальние сферы стремится,
А дома — не видит углов!

Все мудрые вольности дети;
А в них-то и низость, и бой,
Друг другу коварство и сети!
С слепыми сам будешь слепой.

Герой на войне погибает
За странное слово — за честь!
Минута — он всех поражает;
Минута — к жене его весть:

«Супруг твой погиб на сраженьи!»
Скажите ж, чего он искал?
О, ложных честей обольщенье!
Все ровны: кто бил и кто пал!

Богатый для светлого злата
Полвека и полз, и не спал.
Какая же низости плата?
Златым истуканом он стал.

На карты, на вина, на пиво,
Всемощный, он таксу дает;
А сердца заботам — о диво! —
Он таксы прямой не найдет.

Друзья! от чего мир негоден,
По той же причине хорош.
Здесь всякий на выбор свободен:
Что сеешь, то ты и пожнешь.

Ни знати, ни злата, ни власти
Нам бог не хотел даровать,
Но вместе нам не дал и страсти
Излишнего в жизни желать.

Он дал нам спокойство и скромность,
И маленький ум для себя,
Веселья и горести томность, —
Немного дала нам судьба!

Он дал нам бесценную радость —
Немногое вместе делить,
И сильным безвестную сладость —
В посредственном всё находить.

О братья, сплетемся руками!
Пойдем в предназначенный путь!
Когда ж утомимся играми,
Он даст нам могилу заснуть.

Для будущей жизни прекрасной
Там те же нам чувства питать;
Там станем, как здесь, мы согласно
Однюю любовью дышать.

<1808>

ПИР

В шумном обществе гостей
Много басен и речей,
Комплименты, каламбуры,
Милы шуты, милы дуры.
Друг-хозяин! я — русак,
И не знаю жить кой-как.

Извини — где прислонюсь,
Никому не полюблюсь;
Не хочу я делать скуки;
Дай мне угол, трубку в руки.
Пуншу светлого мне дай
И в углу меня не знай!

Там кричат: «бостон, мизер!»
Там кричат: «я кавалер,
Видел много битв и крови!»
Там вздыхают от любови.
Пуншу светлого мне дай
И в углу меня не знай!

Там, в кружке младых зевак,
В камнях, золоте дурак
Анекдоты повествует,
Как он зайцев атакует.
Пуншу светлого мне дай
И в углу меня не знай!

Тамо старый дуралей,
Сняв очки с своих очей,
Объявляет в важном тоне
Все грехи в Наполеоне.
Пуншу светлого мне дай
И в углу меня не знай!

Там кокетка, удалясь,
Испытует нову связь;
В тот же миг двоих лаская,
Кажет им мечтанья рая.
Пуншу светлого мне дай
И в углу меня не знай!

Там ученых шумный круг
Оглушает ум и слух
Энтимемой и соритом,
Сеет мудрость редким ситом.
Пуншу светлого мне дай
И в углу меня не знай!

Красны девушки, сюда!
После плясок и труда
Отдохнуть ко мне склонитесь
И Орфею улыбнитесь.
Пуншу светлого мне дай
И в углу меня не знай!

Я не чуждый вам певец,
Знаю тайну всех сердец,
По глазам читать умею
И сказать вам не сробею.
Пуншу светлого мне дай
И в углу меня не знай!

Где любовь и где вино,
Там согласие одно.
Добродушие и радость,
Тамо искренности сладость.
Пуншу светлого мне дай
И в углу меня не знай!

Вижу Феба. Он ко мне
Сходит в важной тишине.
«Пусть Элиза, — он вещает, —
Вместо всех тебя венчает».
Пуншу светлого мне дай
И в углу меня не знай!

<1807>

СТАРИК

Я старик — и наслаждаюсь,
Вкруг меня мои друзья,
Поздним веком утешаюсь,
Средь друзей любезен я.

Все по сердцу мне родные,
По душе — мои друзья,
Хоть и волосы седые,
Но средь них любезен я.

Там, где молодость и старость,
Там и радость и любовь,
Хоть уже не греет радость,
Не играет уже кровь,
Хоть со всем уже простился
И любовь прошла моя,
С дружбой я не разлучился,
И средь милых мил и я.

Что ж меня к ним привлекает?
Я и стар, и небогат,
И ливрея не блистает,
И не выйду я в парад.
Чрез меня ни места, чина
Невозможно уж достать,
И на помощь господина
Не могу другим сыскать.

Скажут: он всегда лишь дома,
За бостоном всё сидит.
Что ж худого, кто без грома
Весь свой век умел прожить?
Никому не досаждаю,
Ни об ком не говорю;
Хлопота́ми не скучаю
И злословьем не морю.

Ну́жды нет мне до наборов
Доброму царю солдат;
Без разборов и без споров
Представлять солдата рад.
Дети о́тчества! служите
Вы отечеству душой!
Вот завет его, примите
И храните наш покой!

А крестьяне, слава богу!
Ни к кому они нейдут;

К одному ко мне дорогу,
Как к отцу, всегда найдут.
Счастлив я: среди семейства
Благодатного живу,
Имя самого злодейства
Знаю только чрез молву.

Что осталось, тем гонимым,
Сколько можно, помогу;
Нищетой, бедой томимым
Для Христа я не солгу,
И невинным в защищенье,
Если нужно то когда,
Всем готов на поклоненье,
Всех молить готов всегда!

Друг расстроился со другом
По каким-нибудь бедам,
Иль супруг с своей супругой
Поразмолвились — я там,
Как могу, так помогаю,
Мне уже недолго жить;
Верно я лета считаю;
Ближним рад всегда служить.

Скажут: в должность не вступаю.
Мне под семьдесят уж лет!
Хоть я правду понимаю,
Но ума уж силы нет.
Тот грешит, кто принимает
Долг превыше сил своих:
Он невольно погрешает,
Он невольно жертва злых.

Боже сильный и всеведый!
Ты мне, слабому, судил
Жить, как жили наши деды,
Ты меня благословил!
Дай посредственность святую,
Дай мне сердца простоту
И любовь твою благую,
Горней жизни красоту.

К ДОБРОДЕТЕЛИ

Застольная песня. Подражание Аристотелю

О радость, о прелесть бессмертная смертных,
Добыча бесценная лет,
Предмет и награда трудов неисчетных,
От света небесного свет!
О доблесть, о дева красот неизменных,
Ты слава Эллады сынов возвышенных!

Препоны ли рока восстанут ужасны —
Ничто для плененных тобой!
Восстанут ли злобы гоненья напрасны —
Спокойно грядем за тобой!
Ты в ужасах ночи вдвое светлее,
Ты в горе, в ненастье вдвое милее!

Пред кем трепетала и где уступила
От неба влиянная кровь,
Бессмертное семя, божественна сила,
К тебе всемогуща любовь?
Родители, други, спокойство — бесценны:
Ты взглянешь, ты скажешь — и все вдруг забвенны!

Кем пламенны были вы, отроки Леды,
И с кем Геркулес перетек
Дванадесять быстро ступеней победы?
В них видит, в них любит тебя человек!
Аякс с Ахиллесом в могилу сокрылись:
О доблесть! их гробы в алтарь превратились.

Наш добрый хозяин и ласков, и дружен;
Твой образ ему предстоит.
Он солнца не видит:[1] свет солнца не нужен
Тому, кто прелестную зрит.
Вся жизнь его блещет благими дарами,
И вечность богата для добрых венцами.

О памяти дщери, хвалами обильны!
Вы славите в храмах небес

[1] Надобно думать, что хозяин дома был слепой.

Гостеприимства законы всесильны,
В которых почиет Зевес.
Да славится ж вечно песнью нелестной
Хозяина доброго пиршество честно!

Вы любите в старце сердце младое,
Веселость и резвость подчас,
Вам хлебосольство любезно златое
И дедовска верность, гость редкий у нас!
Да славится ж вечно песнью нелестной
Хозяина доброго пиршество честно!

<1815>

ВЕЛИЗАРИЙ

Малютка, шлем нося, просил,
Для бога, пищи лишь дневныя
Слепцу, которого водил,
Кем славны Рим и Византия.
«Тронитесь жертвою судеб! —
(Он так прохожих умоляет), —
Подайте мальчику на хлеб:
Он Велизария питает.

Вот шлем того, который был
Для готфов, вандалов грозою;
Врагов отечества сразил,
Но сам сражен был клеветою.
Тиран лишил его очей,
И мир хранителя лишился.
Увы! свет солнечных лучей
Для Велизария закрылся!

Несчастный, за кого в слезах
Один вознес я глас смиренный,
Водил царей земных в цепях,
Законы подавал вселенной;
Но в счастии своем равно
Он не был гордым, лютым, диким;

И ныне мне твердит одно:
«Не называй меня великим!»

Не видя света и людей,
Парит он мыслью в царстве славы
И видит в памяти своей
Народы, веки и державы.
Вот постоянство здешних благ!
Сколь чуден промысл твой, содетель!
И я — сиротка, в юных днях
Стал Велизарью благодетель!»

<1814>

* * *

Зима свой взор скрывает,
Приходит светлый май,
Долина оживает,
Процвел унылый край.

Для всех весна явилась,
Весны нет для меня:
С кем горесть подружилась,
С тем вечная зима.

Зефир утех собраньем
Других, резвясь, дарит;
Во мне воспоминаньем
Всечасно дух мертвит.

С кем, с кем весну младую
Мне встретить, похвалить?
Куда я скуку злую
И как могу сокрыть?

Я слышу, птички сами,
Мне кажется, гласят:
«Беги от нас — слезами
Ты будешь нам мешать!»

В отливах милых поле
К забавам всех манит.
Приду — и нет их боле:
Всё примет мрачный вид.

Везде брожу унылый,
Тоской душа полна,
Дышу одной Всемилой;
Мне жизнь без ней скучна.

Здесь всё, и самый камень,
Любовь мою твердит.
Увы! несчастный пламень
Жестокой не смягчит.

Веселья света пышны
Для ней милей всего;
Стенанья ей не слышны
И слезы — ничего.

Как будто бы не знает
Вины моих скорбей,
Холо́дно сострадает
Об участи моей.

Когда перед любезной
Те песенки певал,
Где чувства голос нежный,
Страсть сердца выражал,

Всемила их хвалила.
Но слава ль мой предмет?
Любовь их сочинила,
Любовь на них ответ!

Не раз весна являлась
Среди полей, лугов;
Не раз она скрывалась —
Мой жребий всё таков!

Быть может, есть искусство
Особенно пленять.
Не знаю: мне лишь чувство
Судьба хотела дать.

По сердцу верен, страстен,
Ни с кем им не сменюсь;
Хоть счастлив, хоть несчастен,
Но сердцем я горжусь.

Есть многие умнее,
Любезнее меня;
Но кто верней, нежнее,
Кто любит так, как я?

Ах, если бы я прежде
Любви мученья знал,
Не верил бы надежде,
Свободой не скучал!

К ЭЛИЗЕ,
КОТОРАЯ СЕРДИЛАСЬ НА АМУРА

Элиза! Я в смущеньи!
Откуда гнев такой?
Против Амура мщенье?
Амур — невольник твой.

Как то виною ставить,
Что он за честь твою
Киприду рад оставить
И Душеньку свою?

Как тем лишь оскорбиться,
Что бедненький божок
В твоей уборной льстится
Иметь свой уголок?

Что славой почитает
Всегда служить тебе,
Элизу украшает,
Хотя на зло себе?

«Мне, право, всё постыло,
Покою ни часа!»
Вольно ж Элизе было
Слепцу открыть глаза!

Плутишка сей игривый,
Когда тебя узнал,
Стал тихий, молчаливый
И резвость потерял.

Всесильный бог простился
С колчаном золотым;
Зато вооружился
Он взором лишь твоим.

Элиза! Если будешь
Ты злым его считать,
То как же нам присудишь,
Как нам его назвать;

Нам, коими всечасно,
По милости твоей,
Он правит самовластно,
Как мальчик — для затей?

По вышнему уставу
Нам должно век страдать,
Элизе лишь в забаву
Лить слезы и молчать.

Я сам вчера сердился,
С Амуром в спор вступил;
Малютка прослезился
И так мне говорил:

«Ах, я и сам невинен!
Всмотрись в нее со мной!
Я бог... но я бессилен
Владеть самим собой!»

<1808>

ПОДРАЖАНИЯ И ПЕРЕВОДЫ
ИЗ ГРЕЧЕСКИХ
И ЛАТИНСКИХ СТИХОТВОРЦЕВ

ЕДИНОБОРСТВО АЯКСА И ГЕКТОРА

Минерва и Аполлон, согласно желая прекратить кровопролитие между троянами и греками, учреждают единоборство. Гелен, внушенный богами, возбуждает Гектора вызвать на бой храбрейшего из греков. Девять вождей готовы явиться на поприще чести. Нестор советует предоставить избрание жребию. Таким образом, на решительный подвиг судьбою предназначен Аякс, сын Теламона. Ночь прерывает их сражение. Знаменитые единоборцы, по убеждению глашатаев, вестников Зевса, оканчивают битву и расстаются миролюбно, дав друг другу почетные дары взаимного своего уважения.

Тако вещая, из врат блистательный Гектор исходит;
Брат Александр с ним течет, и сердце обоих пылает
Жаждой решительной брани, жаждою ратного поля.
Как для пловцов, томимых желаньем, мил ветер попутный,
Гость внезапный с небес, когда их роющи море
Руки о весла претерты и мышцы в трудах ослабели, —
Тако приятны герои надежды лишенным троянам!
Начали битву: Парис убил сына Ареитóа,
Арны властителя; юноше имя было Менéстий;
Филомедýза его родила прелестная мужу,
Страшному палицей тяжкой; Гектор убил Эйонея;
Медный шлем не закрыл его выи от óстрия злого;
Главк, Гипполоха отрáсль, ликийских дружин предводитель,
Ефинóса копьем поразил в убийственной битве,
Дерия сына во рамо, вскочившего на колесницу:

Ах! с колесницы низверг его долу Главк-победитель!
Видит богиня голубоока Паллада-Минерва,
Сколь великие пали герои мечами аргивян;
Быстро летит она с высоты неприступной Олимпа
Илии к славным стена́м; в сретенье Феб лучезарный.
Зрел ее от холма недреманный Пергама защитник.
Бог и богиня стеклись под сению древнего бука.
Первый слово вещал Аполлон, сын великий Зевеса:
«Что виною полета, столь быстрого, с гор светодарных?
Мыслью какой подвигнута дщерь всемогущего бога?
Дать ли победу в сомнительной битве ужасным данаям?
Ах! богиня, для Трои в тебе боле нет сожаленья!..
Но преклонись на совет, изберем, что ратям во благо:
Гибельну брань погаси́м, расторгнем свирепую сечу;
После, заутра и долго, могут безумные биться,
Меты своей достигая, — доколе кровавая жатва
Сладостна будет богиням — вам, разрушающим Трою!..»
Благоприветно ему отвещает богиня Минерва:
«Тако да будет, далекоразящий! И с чувством сим долу
Я низошла от Олимпа — на поле троян и ахейцев.
Но возвести мне, как хощешь прервать неистовых сечи?» —
Ей отвещает сын Зевса, света податель Апо́ллон:
«Гектора мы вспламеним, смирителя коней ретивых.
Пусть воззовет сей герой из данаев храбрых героя,
Да предстанут друг с другом одни к решительной битве!
Ведаю: сами преоруженные медию греки
Честью уважат единоборствовать с Гектором славным». —
Тако изрек Аполлон; приемлет богиня Минерва
Слово сердцем согласным; и думы богов совещавших
Дивно, таинственным духом, постиг Гелен, сын Приама.
Шествует к Гектору он и тако герою вещает:
«Гектор, сила народов, Зевесу премудростью близкий,
Хощешь ли брата совет восприять, любовью рожденный? —
Дай повеленье брань прекратить меж троян и ахейцев.
Сам же ты, выступя, клич сотвори, вещай, да храбрейший
Выйдет из греков с тобой в решительно единоборство!
Не пришел еще рок твой, и гибель тебя не коснется;
Ибо та есть воля богов; я внял их голос бессмертный».
Вспыхнуло рьяною радостью сердце брата при слове;
Быстро течет он пред ратью, держа копье посредине;
Нудит он сонмы троян — безмолвные вспять отступают.
Царь Агамемнон подобно ряды отодвинул ахейцев.

ПОДРАЖАНІЯ

И

ПЕРЕВОДЫ

ИЗЪ ГРЕЧЕСКИХЪ И ЛАТИНСКИХЪ СТИХОТВОРЦЕВЪ

А. Мерзлякова.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.



МОСКВА.
Въ Университетской Типографіи.
1825.

Дева ж богиня и сребряным тулом Феб воруженный,
В образе ястребов двух возлетев, воссели на ветвях
Бука высокого, Зевсу-родителю благоугодна,
Ратьми любуясь: блещут недвижны их сонмы густые
Лесом копий, щитами, перистыми шлемами страшны!
Как перед бурей встающей, тихое, зыбляся, море,
Стонет, чернеет оно; глухо дальний слышится ропот —
Тако в притрепетной думе, томясь, трояне и греки,
В поле сидели! — но Гектор, став среди воинств, вещает:
«Чада Трои, внемлите вы, и вы, лепоалатны данаи!
Слово реку вам, слово покорного истине сердца.
Мирный наш договор не святит восседящий в высоких
Бог, воздымающий новые кары ратям злосчастным,
Чтобы иль взяли вы Трою, бойницами крепкую грозно,
Иль, пораженны, бежали вспять на суда мореходны.
Есть между вами, конечно, мужи, храбрейшие в воях;
Есть между ними такой, кто со мной сразиться не дрогнет:
Выступит пусть богатырь в бой с Гектором, славе известным!
Так вещаю, — Зевесу свидетелю нам соприсущну:
Если он поразит меня копьем булатограненым,
Пусть, совлачив доспех, понесет к кораблям своим дивным;
Тело же Гектора пусть отдаст в дом родительский, в Трою,
Да освятят его мужи и жены пламени честью!
Если же я убию, и Феб озарит меня славой,
То, восхитя доспех, понесу его в Трою священну,
Дабы повесить во храме стрелометателя Феба!
Падшего ж тело героя предам на корабль велелепный,
Чтоб хвалой почтили его власокудрявые греки;
Холм бы воздвигли ему на крутых брегах Геллеспонта!
Некогда, в дальные веки, муж поколений позднейших,
Мимо по зыбкой светлой равнине плывущий, укажет
Место: «Здесь погребен, — он речет, — храбрейший из греков;
Крепкого единоборца, сразил его Гектор великий!»
С перстом подъятым речет он, и слава моя не увянет! . .» —
Рек веледушный герой; безмолвие всех оковало;
Вызов страшатся принять и боле стыдятся отринуть.
Встал наконец Менелай, и, в сердце стеная глубоко,

Пламенный, с силой вещает речь укоризны и срама:
«Горе, о горе! Здесь не ахеяне, — жены ахеян!..
Стыд последний на нас, стыд обрушится тяжкий из тяжких,
Если никто из данаев не выступит с Гектором к бою!..
Будьте все вы, сидящие, — прахом и блата водами,
Чуждые духа и сердца, вечно бесславны, недвижны;
Сам иду на него; и сейчас облекаюсь в доспехи!
В длани бессмертных богов предаю и бой, и победу!» —
Тако рек... и стремится воздеть златокованны латы.
Ах! ожидал тебя рок, Менелай: готовилась гибель
Гектора в мощной руке! Безмерно тебя он сильнейший!..
Но, поднявшись, обстали его все вожди знамениты;
Сам же Атрид Агамемнон, быстро вспрянув, повелитель,
Брата десницу схватил и вещал воспретительным гласом:
«Где твой ум, Менелай возлюбленный, — нет! нет тебе пользы
В дерзости рьяной сей. Удержись, потуши пламень сердца!
Ах, не верь самолюбью, не верь, чтобы мог ты бороться
С Гектором, мужем могучим, пред коим все вои трепещут!
Сам Ахиллес — и в силе тебя, и во храбрости высший, —
Встретясь с героем, притрепетен в битве, венчающей честью!
Но удалися на место, воссяди в сонме дружины;
Противоборца ему да взыщут ахивцы другого!
Пусть он бесстрашен и пусть ненасытим в сече кровавой,
Но преклонит колена, надеюсь, если токмо избегнет
Смерти во пламенной брани, в грозно-решительном споре».
Тако вещая, смирил взволнованно сердце героя
Силою правды; сей покорился, и радостны други
Спешно толпятся с рамен совлещи тяжелы доспехи.
Нестор со трона восстал и тако аргивцам вещает:
«Горе, страшное горе постигло ахейскую землю!
Много восплачешь ты, старец Пелей, коней усмиритель,
Правящий мирмидонян, великий в совете и слове!..
Некогда, сладко со мной беседуя он в своем доме,
Тщился уведать о предках и чадах славных ахеян;
Что ж, когда б внял о сих, пред Гектором страхом убитых? —
Верно, воздеял бы он со слезами дрожащие руки
К небу, молящий, да снидет духом в чертоги Аида!..
Если б Зевес, Аполлон и Минерва благоволили

Юность отдать мне, ту юность, как бились на бреге Келада
С сонмами пилов, с аркадцами, метко метавшими копья,
Реи при твердых стенах, Ярдáна при быстрых потоках! ..
Первый там был из вождей Эрейтáлион богоподобный.
Крепкие латы носил он владыки Аиретóа,
Славного Аиретóа, коего мужи и жены
Лепоукрашенны воином палицы именовали;
Ибо не лук напрягал он в бою, не копье устремлял он —
Строи враждебны громил булавы размахом железной!
Сила его не взяла, но Ликурга хитрость сразила
В тесном пути, где была для него булава не спасенье!
Мещет Ликург копие — пал тылом воитель на землю;
С гордого сняты доспехи, дар медию блещуща Марса.
После же сам Ликург булавой подвизался во брани;
Но устаревший герой блаженного в недрах семейства
Передал оную милому другу Эрейталиóну.
Сей, возгордясь, вызывал на битву воителей храбрых;
Все трепетали, страшились, никто не смел показаться;
Сердце вскипело во мне, уверенность вспыхнула рьяна
Биться с ужасным, — и я был из витязей воинства
младший;
Выступил, бился, и славу дала мне Паллада Афина!
Тако сразил я надменность мужа, храбрейшего в воях;
Он, простерт предо мной, лежал громадный сюду
и сюду! ..
Если б я так же был молод, владетель зрелыя силы,
Гектор тогда б не ждал сопротивника, жаждущий бою! ..
Вы же, герои! .. о вы, славнейшие вои из греков!
Стали! — Вы мрачны, недвижны — Гектору в славную
встречу! ..»
Так укоряет их старец... вдруг все воспрянули девять!
Первый подвигся владыка народов царь Агамéмнон;
Отрасль Тидéя за ним, бесстрашный на битвах Диóмед;
Оба Аякса здесь, облеченные храбростью рьяной;
Купно Идоменéй; потóм сотрудник Идоменéя,
Мéрион ярый, Марсу подобный мужеубийца;
В сонме героев стал Еврипил, честь отца Евемона,
Тоас, Андремóнида сын, и ты, Улисс благородный!
Все восхотели они в бой с Гектором выйти почтенным.
Но утоляет их жар умом промыслительным Нестор:
«Жребий решит всех судьбу, и тот, кого боги желают,
Жребий свой восприяв, да возрадует души ахейцев!

О себе же сам ввек да ликует герой, избежавший
В пламенной битве, в битве решительной черныя
смерти! ..»
Старец совета изрек: «Се! каждый свой знак знаменует;
Знаки же все полагают во шлем владыки Атрида».
Рати меж тем, предстоя с подъятыми к небу руками,
Тихо из сердца молитву сию возносили к Зевесу:
«Отче, благоволи, чтоб Аякс, чтобы отрасль Тидея
Или сам бы властитель Микены был наш ратоборец!» —
Тако молили они. В то время божественный Нестор
Жребий исторгнул из шлема, тот самый, который желали, —
Жребий Аякса. Глашатай несет его сюду и сюду,
Кажет его, с десныя начав, всем героям ахеян;
Знака никто не приял, и все, помавая, отверглись;
Как же скоро, обшедый собранье, к тому он склонился,
Свыше который избран богами Аякс знаменитый;
Руку простер он спокойно; глашатай ему предлагает;
Смотрит — знак познает; встрепенулося радостью сердце.
Бросив в восторге его ко стопам, он громко воскликнул:
«Милые други! .. открылся мой жребий! радуюсь сердцем,
Воспламененный! надеюсь: Гектор падет предо мною! ..
Вы же потщитесь теперь, когда я в доспех облекаюсь,
Души горящи вознесть к властителю смертных и вечных
В теплых безмолвных молитвах, чтоб их враги
не слыхали...
Или явно гласите, зане никого не страшуся! —
Не обинуясь, реку: меня сила не сломит враждебна;
Козням не раб я, как неискусный: ибо не тако
Грубым меня воспитали в родных полях Саламины!» —
Витязь изрек; все вожди, вся рать умоляла Зевеса.
Каждый, радушный, длани воздеяв, вещал в своем сердце:
«Отче всесильный, всеправящий с высей Иды, великий,
Дай победу Аяксу, венчай его славою светлой;
Если ж и Гектор любезен тебе и дни его милы —
Равную силу и честь ниспосли любимцам бессмертных!» —
Тако всех говор. Аякс облекся блистательной медью;
Скоро, весь обложен всеоружием тягостно крепким,
Вышел в сонме друзей. Каков предводитель ужасов
бранных,
Марс, на землю сходящий по тайному гласу Зевеса,
Да покарает он злобно-надменных, бога забывших, —
Тако явился Аякс велемощный, твердыня ахивян!

Мрачными взглядами вкруг осклабляясь, большими шагами
Шествует важно, грозящий, копье потрясая огромно!
Души греков играли, взирая на доблесть героя! —
Трепет тяжелый протек по костям троян изумленных! —
Гектор сам, ужасаясь, сретал его с сердцем нетвердым;
Но, подавляя боязнь во груди, не смел отступить он
Вспять иль скрыться в рядах, ибо сам вызывал на
сраженье. —
Се! приближался Аякс, неся пред собой, как бойницу,
Щит свой огромный, блестящий, который хитро составил
Тихий, художник из всех знаменитый, в Гиле живущий.
Он, отличный усмарь, седьмь толстых кож искусно
связавший
От многокровных волов, поверхность одеял железом! —
Крепкой стеной сей закрыв свои перси, сын Теламона
Близко и твердо стал, и рек он Гектору грозное слово:
«Гектор! теперь ты познай на опыте единоборства
Явно, что есть во сонмах данаев вожди знамениты,
Кроме Ахилла, всеразрушителя, льва своим духом! —
Пусть он, упрямый, на корабле, рассекающем море,
Дремлет, злобяся долго противу владыки народов!
Есть между нами, кои готовы на битву с тобою,
Многие! .. К делу приступим, к кровавому делу скорее! ..» —
Кротко ответствует в битвах испытанный доблестный
Гектор:
«Сын Теламонов, Аякс благородный, народов правитель,
Не искушай ты меня, как слабого отрока в поле,
Иль как робкую деву, которая браней не зрела! —
Ведаю брани: и много я видел битв и героев;
Знаю свой щит обращать ошу́юю и одесну́ю —
Тяжесть ужасную, с неутомленной силой сражаясь;
Знаю пеший кружиться под песнью жестокой Арея;
Знаю свирепыми править конями в буре сраженья;
Бой начнем! .. Не пошлю я копья к тебе, храбрый воитель,
Хитро, внезапно! — нет! явно сражу я, если успею! ..» —
Рек, — пустил копье, далеко несущее пагубу злую,
С шумом стремяся, оно унзилось во щит седьмикожный,
Даже до стали, которая кров осьмый составляет;
Толстых шесть сло́ев насквозь острие прошло ненасытно,
Но на седьмом утомилось, стало. Соперник взаимно
Кинул могучий Аякс копие́ дале́колетяще
В щит округленный, блистательный, крепкий Приама! —

Страшно! .. Свирепый булат сквозь пронзил и щит сей
огромный,
И благолепно украшенны твердые латы героя;
Всё разорвав, коснулся одежды, ближайшия к телу.
Уклонился герой и тем избегнул гибели черной.
Тако, вспять брошенным копьям, оба соперника купно
Сходятся, грозны, пламенны, львам кровожадным подобны,
Вепрям пустыни подобны, равныя крепости, силы!
Вождь Илиона ударил щита враждебного в сердце;
Меди ж не мог разорвать: острие копья изогнулось;
Скоро напрянув, Аякс поразил щит Гектора крепкий —
Сквозь железо прошло; троянин в напоре вспять
пошатнулся;
Шеи коснулся булат; кровь черная брызнула быстро.
Но не окончил сим боя неутомляемый Гектор;
Вдруг, отступя, он схватил жиловатой, сильной рукою
Камень огромный, кремнистый, близ его в поле лежащий,
Грозным размахом, напрягшись, бросил во щит
седьмикожный,
В самое сердце щита был удар, — и медь восстонала!
Сын Теламона, не медля, тягчайший камень подъемлет;
Силы же все собрав и натужившись в мышцах дебелых,
Вдруг разразил, раздробил весь щит, словно камнем
жерновым,
Ранил колена героя: тылом он пал, распростершись
Под поврежденным щитом; но Феб его в миг тот восставил.
Снова бой — за мечи! — Разразили бы друг друга смертно,
Если б глашатаи, вестники воли Зевса и смертных,
Не притекли, един от троян, а другой от ахеян,
Мужи благоразумны; то были Тилтибий и Идевс.
Се! средь героев восстав, простерли они свои скиптры.
Идевс тако им рек, убеждения мудрого орган:
«Чада любезные! полно! днесь да скончается битва!
Чувствуем сердцем: обоих вас любит Зевс-громовержец! —
Оба искусны, могучи: то знали, теперь сознаемся!
Но наступает нощь, и благо покорствовать нощи!»
Быстро ему отвещая, воскликнул Аякс, Теламонид:
«Идевс почтенный! реки сие прежде Гектору слово:
Он вызывал всех храбрейших из греков в единоборство;
Он пусть решится; я повинуюсь, коль Гектор восхощет!»
Кротко и важно в ответ ему рек благомыслящий Гектор:
«Сын Теламона! тебе дал Арей и силу, и крепость;

Мудрость тебе даровал, о, копий метатель, первый
из греков!
Тако престанем от боя и успокоимся ныне!
После мы ратовать можем паки, доколе бог некий
Нас решит, дав тому иль другому народу победу.
Ночь наступила, и благовременно ей покориться!
Поспеши ты обрадовать рать в кораблях веленых;
Паче возрадуй друзей томящихся, верных клевретов!
Возвращуся и я во град Приама, сердцу бесценный,
Дабы возрадовать дух и мужей, и жен благочестных:
В теплых молитвах они меня ждут святилищ в притворах!
Но расстанемся ль так? — Нет, мы почтим друг друга
дарами,
Чтобы сказали об нас потомки троян и ахейцев:
Грозно сражались они в решительном единоборстве —
Мирно расстались, исполненны дружбы и уваженья». —
Рек — и поднес ему меч; рукоять и ножны его светло
Блещут сребром на ремнях, узорочно и хитро тисненных;
Сын Теламонов вручил ему пурпуром блещущий пояс.

<1824>

УЛИСС У АЛКИНОЯ

(Отрывок из Гомеровой Одиссеи)

КНИГА VIII

По разрушении Трои Улисс, странствующий по морям и тщетно ищущий отечественной своей Итаки, пристает к острову царя Алкиноя, который, не зная, кто он, приемлет его дружественно и учреждает пиршество по законам гостеприимства. В сонме пирующих певец Демодок воспевает взятие Трои. Такое воспоминание извлекает невольные слезы из очей героя. Алкиной сердечно участвует в его горести.

...И песнопевец,[1] исполненный бога, вещает:
«Уже корабли, благолепно устроенны, в море готовы,
И хитрые чада Аргóса; таясь на брегу искривленном,
Пред станом, при соснах горящих, сидят в ожидании
томном.

---

[1] Демодок.

Тогда знаменитый Уллис с избра́нной дружиной отважных,
Сокрытые в ма́хине дивной,[1] у врат Илиона отверстых,
Решительны, хладны, как смерть, внимают врагов совещанья.
Еще колебался народ: одни предлагали поспешно
Чудовищны ребра пронзить испытующей медью;
Иные воздвигнуть коня на утес — и в бездну низвергнуть;
Иные желали бессмертным принесть в благочестную жертву.
Приятно и праведно всем показалось последнее слово.
И се! растворился в стенах Илион — восприять свою гибель!
Громада, шатаясь, со скрыпом несет разрушенье по стогнам!»
Потом воспевает певец, как греки в желанное время,
Исторгшись из оной, коварством созда́нной темницы,
Ударили с шумом на стражу, объятую жалкой дремотой;
Трояне, смятенны, постигнуты часом ужасно внезапным,
Как тени, не видят, не внемлют, не сыщут оружий!..
Но рьяный и быстрый Улисс к чертогам Дейфоба стремится,
Арею подобный, свирепый, с подобным себе Менелаем;
Там ярая сеча кипела; мечи об мечи ударялись;
Но скоро, водимый Минервой, Улисс увенчался победой!
Сие воспевал Демодок, вдохновенный певец Алкиноя.
И в сердце Улисса минувшее всё оживилось печально!
Смущенный герой воздыхал, и ланиты покрылись слезами.
Так нежна супруга скорбит о любви своей — милом супруге,
Который погиб пред очами отеческа града и братий,
Погиб, подвизаясь отвесть злоключенья годину свирепу
От родины, прежде блаженной, от чад, украшения дома!
Несчастная видит супруга, как страждет в борении смерти,
К нему приникает, и бьется, и ноет... Но изверги люты,
Как гладные звери, стеклись; от милых останков отторгли...
И се! повлеклася невольница к ну́жде и к вечному горю!
Влечется во чуждую землю, к печалям и тяжкой работе!
И прелесть младая навеки угасла на томных ланитах!
Так, скорбью снедаем, Улисс проливал неотрадные слезы;

---

[1] Деревянный конь.

Но, мудрый и скромный, таил от беседы он радостной
слезы!
Един Алкиной, приседящий герою, с болезнью их видит;
Чувствительный, нежный владыка стенания странника
внемлет,
И, кротости важной исполнь, гласит собеседникам пира:
«Внемлите, феакцов почетные князи и власти!
А ты, Демодок, повели престать брящающей арфе:
Не к радости арфа твоя, не к радости общей брящает!
В часы пированья, при сладком пении струн оживленных,
Уныние мрачно на миг не оставило милого гостя.
Снедающа горесть лежит глубоко в его сердце!..
Умолкните, песни! — да чистую радость разделят согласно
И гость, и хозяин: обычай таков на соборище братий!..
Когда ж уготовано всё сановитому мужу, несите,
Представьте дары драгоценны, которыми чтит его дружба!..
Как брат, как родимый, любезен нам всякий странник
несчастный,
Любезен он сердцу, не чуждому бога и добрыя веры!..
А ты не скрывайся от нас чрез вымыслы хитросплетенны,
Возлюбленный странник! — Ах! искренность — жизнь
и веселье беседы.
Поведай, как звали тебя твой отец, и матерь, и братья?
Поведай, где область, где град, воспріявший в тебе
гражданина?
Не всякий ли смертный имеет надежную собственность —
имя!..
Убогий и знатный наследуют имя с рожденьем,
И матерь с улыбкою первой его величает!..
Поведай мне землю, и племя, и счастливый дом
воспитанья! —
Тогда совещаем в соборе устроить твое возвращенье.
Феакцы всегда изобильны в пловцах искушенных;
Известны им нравы различны, обычай, законы народов,
И близость, и дальность градов, и поля благодатны;
И быстро преплавают воды, одеянны бурей и нощью!
Им страх неизвестен в морях, неведома гибель в пучине;
Но некогда, — так прорицал мой отец Навзитóос, —
В ужасное время землями тресущий Посе́йдон
Востребует жертв от пловцов, безбедно, без страха,
Так долго сретавших брега отчизны любезной;
Востребует грозно — и море в свирепом волненьи

Пожрет феакийский корабль, ухищренно созданный,
И град сей запрет неприступной скалою гранита! —
Так старец пророк знаменитый! — Да будет воля святая
Исполнить сей суд нам или не исполнить во благо! ..
Но, странник! немедля открой мне желанную правду;
Где был ты, что видел и что претерпел неповинный?
Цветут ли еще на земли народы и грады блаженны?
Ах, тяжко услышать, что есть под сияющим Фебом
Доселе вертепы людей, незнакомых ни с верой, ни
с правдой!
Обрадуй, еще ль благоденствуют странноприимцы,
Носящие в сердце любовь и к богам почитанье?
Почто ты плачешь, когда вещают о славных аргивцах?
Почто ты рыдаешь, как песни гремят о судьбе Илиона?..
Погибнуть — таков был совет неминуемый неба!
Под сильною дланью бессмертных мы ходим и дышим,
И дивны дела их — уроки позднейшим потомкам! ..
Иль — может быть — сродник твой пал под стенами
Приама,
Почтенный и добрый, иль зять, или брат твой,
По крови ближайший, единого племени отрасль?
Иль друг, незабвенный, герой благородного сердца? ..
Ах, менее ль брата, бесценного брата, любезен
Прямой, несомненный друг, благотворного неба даянье? ..»

<1805>

ГИМН ЗЕМЛЕ

Всеобщую матерь, Землю, преутвержденную свыше,
Древнейшую, жизней горних кормилицу, в песнях
прославим.
Всем тварям, ходящим на суше, всем вод обитателям
хладных,
Всем, кои по воздуху реют, — ты, благоутробная, пищу
Даруешь: все чада, все здравы, богаты, благословенны
Тобою, о матерь; тебе дана сила — истления в чадах
Рождать и гасить в нас дыханье! Стократно блажен,
на кого ты
Склоняешь приветливы взоры: повсюду ему преизбыток!
Волнуются нивы его златовидными класами жита;

Стада его пастбища — гордость, а домы обилием блещут;
Страж мудрых законов, он держит суд верный во градах, цветущих
Красою жен милых; вослед его ходит богатство и счастье.
Окрест же толпятся сыны, величаяся доблестью кровной;
Прелестные дщери, резвясь в хороводах игривых,
Волнуют стопами крылатыми светлую зелень долины,
Утешь, весели их всегда, божество благодатное в мире!
О, радуйся, матерь богов, ты, звездного неба супруга!
Чего мне просить у тебя? — безмятежныя, тихия жизни,
Чтоб дней по кончину я пел и твои, и бессмертных хваленья!

<1826>

ГИМН СОЛНЦУ

О муза, дщерь Зевса! вещай славословие светлому Солнцу!
Каллиопа, Солнце восхвалим, которое Эйрифаесса
Родила земле и блаженного неба державному сыну!
Прелестная в горних сестра и супружница Гипериона,
На радость ему даровала детей красоты несказанной:
Зарю — нежнорозовы персты, Луну — сребровьняные кудри,
И Солнце, ввек неутомимое, видимый образ бессмертных,
Лиющее свет животворный на воды, на твердь и на небо!
Несется на пламенных конях, и ярко горящие очи
Сверкают под шлемом златым — так, как стрелы, лучи, рассыпаясь,
Сливаются в море кипящее; огнерумяны ланиты
Смеются; из уст истекает всемощная сила творенья;
Божественно тело его облекла непостижная риза,
Прозрачная, кою соткало дыхание нежное ветров;
Во сбрую же коней свиваются бурнопалящие вихри! —
Он, став на златой колеснице, багряными правит браздами
И мчится по своду согнутому неба в чертог Океана.

Приветствую, царь благодатный! — из праха тебе я молюся:
Да жизнь мне пошлешь и устроишь приятную, ясную в мире!
Тебя прославляя, прославить потщуся великих тех смертных,
Тех, в подвигах коих нам боги себя показать восхотели!

<1826>

ГИМН ПАНУ

О сыне Меркурия милом поведай мне, Муза,
О том козлоногом, двурогом любителе песней,
Который с лесистого Пинда, дев пляшущих хору
Послушный, нисходит, когда от утесов кремнистых
Его призывают, мохнатого пастбищей бога,
Веселого, коему милы и холмы дубравны,
И горные дебри, и хладные ка́мней вертепы.
Беспечный, он бродит туда и сюда в крутоярах;
То нежится сладко в прохладе реки сребrоструйной,
То, с ска́лы на скалу шагая над пропастьми, странник
Блуждает, любуясь рассеянным стадом в долине;
Нередко преследует ланей по мшистым вершинам,
Нередко он рыщет по хо́лмам, убийца животных,
Ловец дальновидный. Тогда, усладившись охотой,
При праге пещеры сидя́, на свирели играет
Он томные песни... Ах, птица весны многоцветной,
Горюя с любовию, так не поет заунывно!
Ему припевая, любезноречистые нимфы,
И мило резвяся на бреге муравчатом, пляшут,
И горное эхо на глас их ответствует звучно!
А сам он, кружась и кривляясь средь хора, забавный,
Топочет ногами и плещет руками в лад песней.
Поляна играет под ним, испещренная пышно
Цветами прелестными, злаками трав благовонных.
Хвалы же поют всем бессмертным Олимпа, но паче —
Меркурия славят: подлунному миру полезный,
Он воли всевышних быстрейший для нас благовестник.
Аркадия, водообильная матерь стад овчих,
Прияла его на роскошных долинах; там роща
Ему процветает Циленская; тамо, небесный,

Забыв божество, был он стражем козлиного стада,
Служителем смертного мужа... — К чему и бессмертных
Любовь не приводит? — Он страстию таял к Дриопе,
Прекраснейшей деве: родила, прелестная, сына, —
О, чудо! — двурогого, с козьими в шерсти ногами,
Любителя песней, веселого, резвого сына!
Кормилица-матерь от страха бежала, увидев
Мохнатое чадо — уродство игривой природы! —
Но принял Меркурий приветно на отчие длани
Рожденье любезной и в сердце своем веселился! —
Мгновенно несется к Олимпу, лелея на персях
Младенца, покрытого мягкою кожею зайца;
Вступив же в обители светлы великого Зевса,
Богам и богиням его показал, восхитились
Бессмертные; более ж всех любовался им Бахус.
Тут *Паном* его нарекли; ибо *всем* был приятен.[1]
Красуйся, царь-пастырь, и к песням склонись
безыскусным.

1826

ГИМН МАРСУ

Могущих вождь, Арей,
В гремящей колеснице,
Златоблестящим шлемом
Венчанный, сечей бог!
Великий щитоносец,
В доспехах меди рдяной,
Хранитель крепкий стен,
Носящий в сильных дланях
Решительную гибель,
Питающий в душе
Горн гнева негасимый, —
Ты вечного Олимпа
Твердыня и оплот,
Метатель копий смертных,
Отец победы светлой,
Защитник правоты,
Враг лести и коварства,

---

[1] Пан от греческого слова παν, что значит *всё*.

Вождь правых, ужас злобных,
Всех подвигов глава!
Путь огненный свершая
В седмице звезд горящих,[1]
Где бурные кони
На третьем своде неба,
Нам в трепетную радость,
Твой шар кровавый мчат.

Услыши моление смертных, помощник, внушающий смелы
Юности благорожденной порывы!
Ты, славою дел расширяющий тесные жизни пределы!
Счастия в быстры приливы, отливы
Дарующий мужество сердцу крушимому, чтобы возмог я
Бедствий наветы с главы незазорной
Прогнать сам собою; чтоб более, ратник юдольный, возмог я
С собственной слабостью, страстью упорной
Бороться; всегда бы сражался с коварными мыслей мечтами,
Гнева слепого с неистовством вредным,
Которое делит меня и с собой, и с умом, и с друзьями,
Самонадеянья с помыслом бедным!
Могущий! подай ты мне смелость, неложныя доблести крепость,
Твердо держаться законов отчизны,
Да презрю я, сильный, тиранов угрозы, Фортуны свирепость,
Гордых холодность и злых укоризны! ..

<1826>

---

[1] То есть, как планета в числе седми планет, которые известны были древним.

ГИМН ВЕНЕРЕ

ОТ САФЫ

Цветоносная, вечно юная,
Афродита, дщерь Зевса вышнего,
Милых хитростей матерь грозная!
Не круши мой дух ни печалями,
Ни презрением! —

Но приди ко мне, умоляющей, —
Как и прежде ты страсти робкия
Голос слышала, часто слышала,
И неслась ко мне из блестящего
Дома отчего.

В колеснице (что легче воздуха,
Кою быстрые, красовитые
Мчат воробушки, часто крылами
Ударяючи по златым зыбям
Неба дальнего)

Низлетала ты — многодарная
И, склоня ко мне свой бессмертный взор,
Вопрошала так, с нежной ласкою:
«Что с тобою, друг? что сгрустилася? —
Что звала меня?

Что желалось бы сильно, пламенно
Сердцу страстному? — На кого бы я
Излила свой огнь, изловила бы
В сети вечные? — Сафо, кто тебя
Оскорбить дерзнул?

Кто бежал тебя — скоро вслед пойдет;
Кто даров не брал — принесет свои;
Кто любовных мук не испытывал,
Тот узнает их, хоть бы этого
Не искала ты!»

Ах! — И ныне так прииди ко мне,
Отыми, отвей тягость страшную;
В чем надежды цвет, сладость радостей,
Чем могу я жить, — то исполни ты,
Будь помощница! ..

<1826>

К СЧАСТЛИВОЙ ЛЮБОВНИЦЕ

Равный бессмертным кажется оный
Муж, — пред твоими, дева, очами
Млеющий, близкий, черплющий слухом
Сладкие речи, —

Взором ловящий страсти улыбки! ..
Видела это — оцепенела;
Сжалося сердце; в устах неподвижных
Голос прервался! —

Замер язык мой... Быстрый по телу
Нежному пламень льется рекою;
Света не вижу; взоры померкли;
В слухе стон шумный! —

В поте холодном трепет; ланиты
Былий, иссохших зноем, бледнее;
Кажется, смертью, таю, объята;
Я бездыханна! ..

<1826>

РЫБАКИ

◡ — ◡ ◡ — ◡ || ◡ — ◡ ◡ — ◡ ◡ — ◡

Поверь, Диафан, мне, лишь скудость рождает искусства;
Вина трудолюбья, лишь скудость — прямой наш учитель!
Как скоро заботы вокруг изголовья теснятся,
Тогда мы не верим приятным ласканиям неги! —
Едва на востоке заря молодая забрезжит,
Вдруг строгая нужда даст голос, и сон улетает!

Два ры́баря, старцы, вкушали дар тихия ночи
На хладной соломе, под кровом, из лоз соплетенным,
Склонившись главою на пук из ве́твей зеленых;
Вокруг них лежали орудья их жизни печальной:
Ловитва для рыбы — кошницы из гибкия вербы,
Садки для храненья — обманчива пленника вольность;
И верши коварны, горою к стене взгроможденны,
Раскинуты сети и невод, еще не готовый,
И длинные лесы, и удочки с пищею смертной,
И верви, и весла, и лодка, увязшая в тине.
С изношенным платьем котомки и ветхие шляпы
Висели на гво́зде — вот всё их наследно именье,
Вот всё их богатство! — ни ложки, ни чаши домашней,
Нет даже собаки, надежного стража ночного.
Не знали соседей: сосед их — единое море,
Которого волны, бушуя, почти досягают
До хижины бедной. Еще, облистание мрака,

Луна не свершила пути своего половины —
Святая работа уже возбуждает, тревожит
Покой рыболовов, — встают, отрясают от веждей
Последние дремы; минута — их глас раздается
По зыбкому берегу. Ах! сладостно утро в работе!

Один из рыбаков

Так! нас обманули, товарищ; сказали, что ночи
Начнут сокращаться, как скоро Зевес соизволит
Нам лето благое послать от горнего свода.
Авроры не видно!.. А сколько я зрел сновидений! —
О, тяжкое время! — Скажи, что́ ночь запоздала?
Где утро гуляет?..

Другой

Напрасно тоскуем, приятель!
Поверь, времена все текут постоянной стопою!
Вчера неудача на ловле столь скудной и буря
Вскружили твой разум! — спокойся!

Первый

Однако, товарищ!
Ты, знаю, издавна разгадывать сны преискусник. —
Я видел прелестный; от друга его не сокрою:
Мы рыбы делили, разделим с тобой сновиденья!
Ты разум имеешь, а сны толковать — не пустое! —
Теперь же есть время: и море белеет волнами,
И сон удалился. — Почто лежать нам без дела
На хладной соломе?

Другой

Изволь, расскажи мне, что снилось.

Первый

Когда, окончавши работы вечерние, сладко
Усталый, озябший, измокший (да это не горе! —
К чему не привыкнешь?), поужинав плохо, зарылся
В солому, пригрелся, уснул я; и вот, мне казалось,
Что, сидя на бреге, смотрел я; а рыба! — О, чудо! —
Стадами металась, сребрилась она над водою!
За удой кидаюсь (на дереве тамо висела).
Готова и пища, соблазн бессловесныя твари.

Послал... ожидаю... Как пес во сне ловит зайцев,
Так рыбу ловил я... дрожит поплавок мой и тонет.
Влеку... встрепенулась... Погнулся от тяжести прутик...
Я прут опускаю... Кипела вода предо мною...
Стремлюся руками схватить; но если укусит? —
Что делать? — отважусь... Укусишь — тебя поймаю. —
Так бился я с рыбой! — Весь ужас пропал в ту минуту.
Извлек! — Что ж увидел? — Ах, злато, ах, чистое злато
В траве шевелилось; восторженный, в трепете сердца
Вещаю: «Не ты ли, драгой любимец Нептуна?
Не ты ль, украшенье прелестной дщери Нерея?»
Так точно! — и тихо ее отделяю от уды,
Чтоб не было злато так долго в подданстве железа!
Что был я, не помню; но вот и она засыпает!
Любуясь добычей, клянусь я всеми богами
Оставить работу и в граде навек поселиться,
Блистая богатством и славой, как мира владыки!
Здесь я проснулся! товарищ! — клянись сказать правду!

Другой

Спокойся, что в клятве? без нужды нечестие — клятва!
Товарищ! все рыбы златые — обманчивый призрак!
Теперь ты не сонный: смотри, где играла добыча,
Что есть там?.. О друг мой! не слушай коварных
мечтаний!
Куска не дают нам, а кажут нам сны золотые!..

<1807>

ЦИКЛОП

◡ — ◡ ◡ — ◡ ◡ — ‖ ◡ — ◡ ◡ — ◡

Противу страданий любви, мой друг, не помогут
Ни травы целебны врачей, ни дивные чары;
Противу страданий любви защита нам — музы:
Их помощь приятна, верна, их мета святая! —
Но должно искать их даров! — Ты ими владеешь,
Ты, Ницияс, врач и друг богинь Геликона!
Сказанья гласят: Полифем, Циклоп, прибегал к ним,
Когда он любовью сгорал к младой Галатее!
Едва на щеках у него пух нежный пробился,
Цвет юности алой угас, и кудри не вьются!

(От горести вянет лице и кудри не вьются!)
Всё скучно, постыло ему. — Печальные овцы
Одни приходили в загон с лугов многоцветных;
Несчастный, склонившись на брег, обросший кустами,
Лил горькие слезы любви к своей Галатее!
И мрачен, и бледен, и сух! — Ах, тяжко в лета младые
Эротовы стрелы носить в трепещущем сердце!
Ах, тяжко любовь укрывать в груди воспаленной!
Однако обрел Полифем спасительный способ.
На мшистом утесе он пел, взирая на волны:
«Ах! долго ль тебе презирать любовь, Галатея!
Посмотришь — ты кровь с молоком, ягненка нежнее;
Узнай же несчастный тебя — ты горше полыни. —
Ты всходишь на брег, как сон меня посещает;
Уходишь опять, как сон меня оставляет;
Бежишь от меня, как овца от лютого волка!
С тех пор полюбил я тебя, прекрасная дева,
Когда восходила ты к нам на злачные хо̀лмы
(И матерь моя за тобой) — сбирать гиацинты...
С тех пор полюбил я тебя, и сердца не стало!
И сон мой навек убежал!.. Смеешься? — Что, дива?
Тебе моя грусть не беда!.. О милая нимфа,
Я знаю, откуда сие презренье и робость,
Я знаю, противна всем бровь в волосах огустевших,
Одна, вся буграми кругом по лбу распростерта...
Под нею чуть виден мой глаз, единый и впалый;
Широкий и плоский мой нос навис над губами;
Пусть правда... для милых мой вид немного ужасен!
Но где ж, Галатея, стада такие пасутся?
Здесь тысяча крав! — Молока? — пью сколько угодно!
И сыром богат для зимы, на осень, на лето!
Пещера моя — посмотреть — как полная чаша.
Никто не сравнится со мной в игре на свирели!
Утеха холмов и долин, веселие моря,
Тебя величал я на ней, тебя, мою радость!
Тебе состенал по̀ зарям, о бедное сердце!
И поздная нощь усыпить тоски не умела!..
Приди, Галатея, приди: готово, чем встретить!
Одиннадцать ланей пасу тебе златорогих;
Четыре медведя младых вкруг грота толкутся!
Спеши, забавляйся, — всё есть — во всем изобилье!
Пусть дикие волны, дробясь, играют с брегами;

Приятна прохладная нощь в пещере со мною!
В ней мирты вокруг по стенам; пред ней кипарисы,
И темно-зеленый плющ, и Вакховы лозы,
Нагнувшись при входе, покров соткали узорный!
Там с Этны лесистой шумят — услада в час зноя —
Сребристые воды, утес крутой опеняя!
Что значит пред жизнью такой и море, и бури!
Но, если кажусь я тебе угрюмым и страшным, —
Что медлить!.. решился! Вот дуб, еще не погасший,
И светлый, дымяся, огонь под пеплом таится:
Скорей... Галатея, скорей!.. Ты сердце уж выжгла —
Ах, выжги и глаз мой, сей глаз — мое всё богатство!..
Почто не рожден я, увы! чешуйчатой рыбой?
Почто не могу рассекать я влажные волны?
Немедля б, с утеса стремглав, и вслед за тобою,
Чтоб руки твои лобызать, и боле — не смел бы!..
Лилеи носил бы тебе и мак разноцветный!..
Но... летом лилеи растут, а маки зимою!
Знать, правда, что злая любовь и ум отнимает! —
Забыл, что цветов сих нельзя срывать в одно время!
Но пусть погибаю! — решусь учиться я плавать!
Пусть волны извергнут ко мне на брег мореходца:
Узнаем, что радости жить тебе под водою!
Но прежде обрадуй, явись! — и, если возможно,
Забудь! о, забудь свой дом, как я забываю!
Красавица! станем пасти, доить мы овечек,
Начнем очищать свой сыр от вредныя влаги.
Ах, как непреклонна ко мне грудь матери строгой!
Жестокая хощет, чтоб сын терзался и плакал.
Хоть раз бы замолвить о мне, о страждущем сыне!
А каждый день видит, что я бледнею и сохну!
Пришлось и от матери... ах! таить свое горе!
«Ты болен, мой сын!» — «У меня и руки, и ноги
Болят», — отвечаю, слезясь!.. О, если б узнала
Она, как болит любви покорное сердце!
Несчастный Циклоп! ах, куда девался твой разум?
Когда ты бродил по горам, сплетая корзинки,
Когда ты сбирал для ягнят зеленые ветви —
В то время умнее ты был! Опомнись, несчастный!
Сбери хоть овец!.. Что мечтой пленяться далекой?
Пускай Галатея бежит: есть лучше, другие!
Вокруг тебя ре́звятся здесь станицы красавиц!

Готовы с тобою играть до поздния ночи,
И сладко смеются, когда поешь твои песни! —
Спокойся! — есть люди! и нас еще не забудут!» —
Так в песнях Циклоп услаждал мученья любови! —
«Мир, песни, свобода — мои: я всё презираю!»

<1807>

ДРУЗЬЯ

Притек наконец! — вот уж три дня, три ночи в разлуке со мною!
Ах, много и дня одного, чтобы состарéться в разлуке!
Весна по зиме нам приятна, и яблоко слаще орехов;
Богатей волною овца перед áгницей новорождéнной;
И дева милее вдовы, троекратно супруга терявшей;
Быстрее, живее тельца своенравная серна в долине;
Любезней звучит соловей предо всеми в тенистых дубравах! . .
Стократно счастливей я всех, по разлуке тебя лобызая!
Как путник, палящему солнцу, спешит под развесисто древо,
Спешил, окрыленный, к тебе я во сретенье, друг мой сердечный!
Да дышат над нами и в нас благодатные гении дружбы!
Да скажут об нас и потомки святое и доброе слово:
«Здесь были и жили друзья — на урок и веселье соседей!
Сего нарицали: Любим; а другому привет был: Вернейший
(То значили подлинно их имена в языке фессалийском);
Друг друга любили равно и всегда. Без сомненья, то были
Не нашего времени плод; то был плод от веков первобытных,
Где сладостно, нежно до смерти любовь лишь любовью питалась!»
Да будет и ныне сие, милосердый нам отче Кронúдес! [1]
Да так, не стареясь в любви, перейдем мы в жилища бессмертных,
И некогда — многим векам, преисполнившим светлые круги, —
Пришлец от земли сей унылой на мрачные бреги Аида

---

[1] Юпитер.

Увидит нас там и воскликнет обнявшимся сладко: «Мир с вами!..
И ныне о двух неразлучных — любезная смертных беседа!..»
Но в воле блаженных сил горних исполнить душ наших желанье
И в воле отвергнуть его! — Не печалься, о друг мой бесценный!
Тебя воспрославлю, тебя возвещу я позднейшим грядущим потомкам,
Поведаю чистую правду, пред правдой небес не краснея!
Так! если когда, ненарочно, мой друг, хотя тень оскорбленья
Я зрел от тебя (да и зрел ли?) — стократной сладчайшею жертвой
Тогда же ты всё заменял — и в тени прояснялось веселье!..
О вы, ухищренные веслами править, о чада Мегары,
Вам слава и почесть! И вас я приветствую днесь, благодарный!
Вы чтили, умели почтить Диоклéса любовь неизменну.
Едва низойдет от небес к нам весна на луга златоцветны,
Едва облекутся леса в испещренные, светлые ризы, —
Почтенье сзывает всех граждан на гроб Диоклéса священный.
Там юношей хоры кудрявых, там сонмы девиц черновласых;
Над гробом склонившись, растет там пальма златых поцелуев!
И кто всех страстнее, любезнее милых красавиц целует,
Чьи пламенны вечно уста — все того украшают венцами,
Того с похвалою и песнями к дому лик дев провождает,
Ко матери, коя сретает драгого улыбкой, слезами!
Но много блаженнее всех судия поцелуев сладчайших,
Которому право дано лобызать всех, всех чередою!..
Счастливец завидный целует, и судит, и рядит единый!
Он молит любимца, служащего богу громов, Ганимеда,
Да будут уста у него и приятны, и крепки, и нежны,
Так верны, как камень испытный, которым купец чужеземный,
Достоинство праведно злата узнавший, дает ему цену.

<1815>

М О С Х

АМУР-БЕГЛЕЦ

◡ — ◡ ◡ — ◡ ◡ — ‖ ◡ — ◡ ◡ — ◡

Амур мой сокрылся, бежал! — Ищите Амура,
Ах! матерней нежной любви отдайте Амура!
(Так с плачем Венера ко всем прохожим взывала.)
Кто видел Амура? — и где, в лесах или в граде?
Он сын мой, единственный сын! — кто скажет о милом,
В награду тому поцелуй сладчайший Венеры!
А кто приведет беглеца — и больше получит!
Приметы хотите узнать, — о, много их, много!
Амура от всех отличишь по первому взгляду:
Младенец и бел, и румян, и строен, и ловок;
Горящие очи блестят, сверкают, играют,
Ум — ветер, мед — голос, речь — яд чарующей лести.
А в гневе — о, бойтесь — свиреп, неистов, упорен,
И правды не ждите: хитрец, он в шутках ужасен!
Смиренье, беспечность в играх; в душе — самовластье.
Так малы ручонки его — но как он стреляет!
От звездного неба к брегам Коцита стреляет!
Коварный, он весь обнажен, но мысли сокрыты!
Как птичка, туда и сюда летает и скачет,
Красавцев, красавиц, шутя, как розы, меняет;
Посмотришь на лук — ничего; на стрелку — игрушка;
Но лук со стрелою Олимп смущает великий.
На раме Амура висит колчан златояркий,
Исполненный стрел! — Ах! сама я лютость их знаю!
Всё страшно в Амуре, всё! — Но много страшнее
Светильник, от коего Феб, сам Феб воспалялся.

Поймаешь Амура — свяжи, не слушай молений!
Заплачет малютка — не верь: стократно обманет!
Смеется, коварный, — держи... целует... — о, бойся! —
Беги... поцелуи — беда, уста ядовиты!
«Пусти меня, — скажет, — возьми за выкуп все стрелки!»
О странник несчастный, брегись даров сих касаться!
Амур есть огонь: все дары огнем напоенны!..

<1807>

ЕВРОПА[1]

В третий раз петел воспел — восходящей Авроре на небо;
Сон ниспослала Венера царевой дщери Европе;
Милый, чарующий сон, восклоняясь на скрытых ресницах
Девы, лелеял усладою томной прелестное тело;
Вкруг же возглавья теснились пророческих сонмы видений.
В вышних чертогах, в девическом тереме так почивала
Дщерь Агенора младая, невинная в сердце Европа.
Снилось царевне: две части вселенной об ней состязались —
Африка с Азией; в образе важном двух жен велемощных
Та и другая являлась; всё: поступь, одежда — одну отличали
Чуждую; матерь — другая; красавицу нежно милуя,
«Я возродила, я воспитала, — мне ею гордиться!» —
Так говорила. Соперница крепко могучей рукою
Деву к себе увлекала. «Судьба так, судьба положила, —
Африка во́пит, — гремящему Зевсу Европа — награда!»
С словом царевна проснулась, воспрянула с мирного ложа
В трепете сердца; видение было так живо, так ясно!..
Долго сидела безмолвная в думе, и обе пред нею
Грозные жены стояли, казалось, при взорах открытых;
Но, укротившейся смуте, с собою сама провещала:
«Кто мне из вышних послал столь ужасные призраки? Сладко
Встретила сон я, спокойная в чувствах; ничто не смущало! —

---

[1] Читатель, конечно, увидит из первых стихов, что вся сия идиллия есть аллегория. Бык Юпитер знаменует силу обилия, которое разделило европейскую торговлю между Азиею и Африкою.

Вдруг незнакомые гостьи. — Отколе? — Что значат? —
К чему мне?
Как за меня заступилась родная! — О, всё я люблю в ней!
Матерью зрелась нежнейшей!.. и та... как царица
почтенна!..
Пламень во взорах!.. О боги!.. да будет сей сон мне
не в гибель!..»
Тако мечтая, восстала и, чтобы сомненья рассеять
Сумрак, сзывает подружек любезных и сверстниц по летам,
Знатных, с которыми прежде водила она хороводы,
Вместе купалась в потоке Анавра, игры́ затевала,
Вместе гуляючи, лилии, розы сбирала по холмам.
Тотчас слетелись, как птички, к царевне; у каждой
корзинка
Для собиранья цветов на руке; снарядились и йдут
В злачные долы помория, где по обычью стекались,
Чтоб услаждаться и роз благовоньем, и рокотом моря;
Вождь и душа всех, Европа имела златую кошницу,
Тонкую, легкую, дивную — труд знаменитый Вулкана,
Кою принес он в дар Ливии, вшедшей на ложе Нептуна;
Ливия редкость сию предоставила Телефаессе,
Дщери прелестной от бога; она же безбрачной Европе,
Как родовое наследье, вручила на вечную память!..[1]

. . . .

Девы веселые, резвые, пышного луга достигнув,
Сами цветы красоты, по цветам разбрелися прелестным;
Та любовалась нарциссом, а та с гиацинтом томилась;
С лилией эта мечтала, та тмин собирала без мысли.
Сколько цветов от избытка кидали на землю и мяли!..
Вот все толпой на шафран благовонный — и кто кого
прежде —
Кинулись, спорят, толпятся; но важно и тихо Европа,
Резвостей в сонме, склоняясь, щипала рукой белоснежной
Розы единые токмо — средь граций царица Венера!
Ах! ненадолго цветами ей, деве младой, утешаться!
Нет! — не всегда рай невинности счастливой зреет для
смертных!

---

[1] Здесь пропущено несколько стихов, относящихся к корзинке, кои почитаются излишними.

Рано иль поздно, прости, рай наш милый! .. Се! —
Громометатель
Деву-царевну увидел, и сам возмутился, сраженный
Внука стрелами! .. Амур и Венера державным владеют.
Сила любви всемогущей! что есть для тебя недоступно! ..
Зевс, восхотев уловить непорочное сердце прелестной,
Зная же нужду скрываться от гнева ревнивой Юноны,
Вымыслил странность — сокрыл божество в новый образ;
и кто же? —
Бык! .. Так в быка превратился Юпитер, — нет! нет! —
не такого,
Как мы их видим при стойлах, — отнюдь не такого, какие
Глыбы земли рассекают, влача искривленное рало;
Не был подобен он тем, что во стаде обычном пасутся,
Кои в домашнем быту, отягченные, возят телеги;
Тело его всё одеяно млечною, нежною шерстью;
Светоблистающий круг на челе отражался звездою;
Очи сверкали огнёвые в томности неги любовной;
Ровно друг с другом рога небольшие над лбом
возвышались,
Дугообразные, сходные с сребряным месяца рогом, —
Так он явился в долине и не испугался красавиц,
Окрест ходящих; отнюдь не дичился, свободный и
смирный.
Все подходили к нему, все ласкали и гладили нежно
Гостя, для них дорогого: чудесный телец! — и дышал он
Благоуханьем, сладчайшим, чем злачного луга дыханье!
Вот становится тихо пред взором прелестной Европы,
Лижет и белые руки, и рамо ласкающей девы;
Гладит его неповинная; нежно от уст отирая
Влагу ширинкою тонкой, лобзает быка молодого.
Вот он и голос свой издал — мычание томное! — Мнится,
Слышишь ты звуки свирели, сквозь лес разносимые
ветром;
Вот на колени он падает, очи возводит к Европе,
Шею сгибает назад, показуя хребет свой покорный.
Резвая радостно дева взывает к игривым подругам:
«Сверстницы, милы подружки! — сюда! поскорей,
на веселье!
Видите: можно нам всем уместиться — как лодка пред нами!
Вежливый! как он улегся! — голубчик! как ласков! —
такого

Отроду я не видала! — В нем ум человечий, смотрите,
Как он обходится с нами! — жаль, языка нет! —
но взоры —
Слову замена!» — Сказав, на хребет, улыбаясь, вскочила;
Все прибежали, все метят за нею... и вдруг он —
о чудо! ..
Вспрыгнул бык-вихорь, с добычей несется, и к морю
несется,
Непостижимый! .. власам распущенным, трепещуща, бледна,
Кличет подружек, главу обративши и длани простерши,
Кличет напрасно! .. никто ей вослед не возмог и
не смел течь!
Он же, чудесный, со брега низринувшись в воды,
стремится,
Жителю моря, дельфину, подобный, клубит, роя волны!
Новое диво! — Нерейды из бездны восстали и чином,
Разнообразно согласным, на рыбах сидя благовейно,
Вслед провожали быка! — И се! тяжко трясущий
трезубцем,
Сам Посейдон возникает главой убеленной; властитель
Скиптром простертым путь моря ровняет для мощного
брата,
Шествует важно — веселый; вокруг спутники бога, Тритоны,
Раковин трубы надувши, гремят Гименеевы песни! —
Дщерь же царева, сидя на мохнатом хребте громовержца,
В страхе одною рукою схватилась за рог, а другою
Складки багряной одежды держала, чтобы ей воскраий
Не омочить убегающей сланого моря волною. —
Легкий покров, со груди и рамен совлеченный
стремленьем,
Как в корабле, образуется парусом, ветер ловящим.
Скоро исчезли и бреги, и горы: вкруг небо и море!
Бездна безбрежная! .. Смотрит — не видит! .. И вырвалось
слово:
«Кто ты, творенье чудесное? — Кто ты? — Куда
увлекаюсь?
Кто ты, в стихии, тебе воспрещенной, столь вольный
и сильный?
Где я? Куда преношуся? Божественный! путь мой поведай!
С трепетом вижу, предчувствую: воздух, и море, и суша —
Путь тебе ровный, как путь в легковерное смертного
сердце! ..

Дева злосчастная! ах! для чего покидала я ныне
Терем родительский? — Берег коварный, почто восприял ты
Столько опасного зверя? — О, жребий внезапный, ужасный!
Ты, управляющий влажными бездны глубокой стезями,
Будь покровитель, Нептун, мне, несчастной! ..
Так! кто бы он ни был,
Да сотворится вождем для меня он спасительным! — Верю:
Бог здесь присутствует мощный; без бога давно б я погибла!»
Тако взывала, и рек утешительно ей лепорогий:
«Юная дева, спокойся: и море, и небо, и суша —
Всё мне подвластно; и всё красоту охраняет и любит!
Скоро приближимся к твердому брегу: Крит, остров священный,
В недро тебя восприимет он благоговейно, — и там ты
Жребий познаешь свой; тамо предстану тебе я... Юпитер!»

<1826>

БИОН

УЧЕНЬЕ

Зрел Венеру я во сне:
Белоснежною рукою
Матерь привела с собою
Юное дитя ко мне;
Бог упрямился, дичился,
Был неловок, груб, несмел,
Будто бы людей страшился,
И смотреть он не умел.
«Пастушок! — Богиня-Сладость
Молвит с ласковым лицом, —
Вот мой сын! вот наша радость,
Сделай ты его певцом!» —
Так сказала, — и не стало...
Как мне в голову не вспало,
Что Амура нам учить —
Пламень пламенем гасить!..
Что же делать? — За ученье!
Ничего я не таю!
Пастухов увеселенье,
Панову свирель пою;
Флейту мудрыя Паллады,
Аполлоновы отрады:
Светлый хор его жрецов,
Лиру вестника богов...
Всё пустое!.. Он не слышит,
И ничто на ум нейдет;
Страстно, сладостно он дышит,
Про любовь одну поет.

Что же сделалось с тобою,
Что с холодною душою?..
Ах, несчастный, всё забыл,
Чем с Амуром занимался,
Только с тем одним остался,
Что Амур мне натвердил.

<1807>

ПЛАЧ ОБ АДОНИСЕ

∪ — ∪ ∪ — ∪ ∪ — || ∪ — ∪ ∪ — ∪ ∪ — ∪

Восплачем! Адóниса нет! погиб несравненный Адонис!
Прекрасный Адонис погиб: рыдайте, стенайте, эроты!
С багряного ложа восстань, остави свой сон, о Венера!
В печаль и тоску облекись, власов не свивай благовонных;
Терзающа перси, вещай: погиб мой прекрасный Адонис!

Восплачем! Адониса нет! — рыдайте, рыдайте, амуры!
Се, отрок прелестный лежит, простертый на холме высоком;
Богини прелестныя скорбь! — в бедро пораженный свирепо,
Чуть дух переводит, и кровь, багряная кровь истекает
По белому телу из ран, и светлые очи потухли,
И замерли розы ланит; и розы в устах побледнели.
Угасла та прелесть, краса, которой дышала Венера,
Которой питалась любовь! — О, прелесть и в мертвом живая!
Так! — милый Адонис угас; не слышит ее лобызаний!

Восплачем! Адониса нет; ах, плачьте, младые эроты!
Ужасна, ужасна его от вепря приятая рана;
Но рана страшнее стократ, кипящая в сердце Венеры!
О зрелище скорби и слез! Здесь псы его томные воют!
Там нимфы рыдают; вкруг стон! Там — образ печали, богиня,
Власы распустивши, одна, блуждает в мгле ропщущей рощи,

Блуждает унылая тень босыми стопами, и терны
Грядущей, стужая, пиют священную кровь дерзновенно.
Далеко, тоскуя, стеня, зефиры разносят моленья
Просящей от гор, от долин любезного сердцу супруга.
А он!.. приступите, друзья, текущую жизнь удержите,
Уймите багряную жизнь!.. Всё тщетно, и перси упали!
И весь охладел, недвижим!.. Ловите последние вздохи!..
Богиня страдает, и с ней младые страдают эроты!
Прекрасного друга лишась, казалось, красот всех
лишилась;
Так! — прелесть Венера жила, доколе жил милый Адонис!
Адонис угаснул для ней — угасла и прелесть Венеры!
И горы, и скалы, и бор шумят и взывают: *Адонис!*
И с рокотом реки, влачась, стенания вторят Венеры!..
И громные токи, с высот свергаяся, воют: *Адонис!*
Поблекли, склонились цветы, закутав главы в свои листья.
По холмам, по градам, окрест — Венеры разносятся вопли:
«Ах, что мне Олимп и земля! — погиб мой прекрасный
Адонис!»
И эхо в вертепах гласит: «Погиб наш прекрасный Адонис!»
И кто не состраждет из вас? И кто не восплачет
с несчастной?
Узрела, узнала она смертельную милого рану.
Объятья простерши к нему, вопила: «Пожди, о Адонис!
Пожди, мой бесценный, мой друг, дабы я в последний
прижалась,
Тебя обняла бы хоть раз, уста бы к устам приложила!
На миг пробудися один! — Дай миг одному поцелую!
Дай жизни мне столько своей, сколь жизнь лишь долга
поцелуя,
Доколе, лобзаемый мной ты в сердце и в тело — ты
весь мой, —
В меня преселишься, доколь всю страсть твою сладкую
выпью,
Все чувства твои приму! — Так! — Сей поцелуй —
он бессмертен,
Как я, как любовь, как ты сам, несчастный, бегущий
Адонис!..
Далеко бежишь от меня, бежишь ты, о друг, к Ахеронту;
К царице безгласныя тьмы!.. и я не могу за тобою!..
Заветные мраки грозят, и делит нас вечность немая!..

Вот он, Прозерпина, сретай! гордися прелестной корыстью!
На брань вызывай весь Олимп, любезное нам похищая!
Свирепствуй, но знай: сей тоской тебя я блаженней
стократно!
Любви ты не ведала ввек; завидуй любови страданьям!..
Где, несравненный, где ты? — Где радость? — Как сон,
отлетела!
Венера-богиня — вдова; сиротствуют с нею амуры!
Чарующий пояс погиб!.. Почто предавался ты ловле?
Красавец небесный, почто со зверем стал в ярую
битву?» —
Так стонет богиня любви; так ей состенают амуры.

Крушись, злополучна любовь! — погиб твой прекрасный
Адонис!
Колико он крови излил, толико ты слез пролияла,
Венера! — и слезы, и кровь земля во цветах оживила:
Из крови — багряный возник, из слез — анемон
белоснежный.

Восплачем! Адониса нет! погиб наш прекрасный Адонис!
Остави тоскующий лес, тоскующи горы, Венера!
Уже уготован и одр — ах! смертный сей одр Адониса.
На ложе почиет твоем бесчувственный, хладный Адонис!
Умерший... прекрасный мертвец! — как спящий сном
сладким любезен!
И те же одежды на нем, в которых к тебе приближался,
В которых он нощи с тобой один проводил безвозвратны.
Утехи свои оживи, помысли, что жив твой Адонис;
Цветами осыпь, увенчай роз вязями благоуханных!
На что и цветы? — Как им жить, когда не живет наш
Адонис!
Осыпь его миртой, облей струями чистейшего мира!
Где миро? — Ах, миро твое погибло! — оно — твой
Адонис!
Се! радость, краса пастухов — лежит под златой пеленою!
Окрест его плачут, в слезах, тоскуют малютки-эроты.
Обрезала Скорбь им власы. Смутились: тот стрелы
ломает,
Сей топчет лук гибкий, а тот терзает колчан
драгоценный;

Сандалии съемлют одни, другие в сосуде блестящем
Священную воду несут и рану его омывают;
Все веют крылами, теснясь, дабы прохладить Адониса.
Оплачьте Венеру, друзья, оплачьте вы матерь, эроты!
На праге чертога, восстав, задул Гименей свой светильник!
И, брачный венец разорвав, воскликнул он: «Нет Гименея!»
Не песни веселые вам, — но песни для вас гробовые!
Оплачьте Адониса все, оплачьте вы брачного бога!
О, рок неисследимый! — как? — Адонис — и он умереть мог! ..
«Он умер», — шептали вдали таящие слезы хариты!
Печальные музы стеклись, обстали Адониса ложе;
Не пойте, не стройте вы лир: ах! песней не слышит Адонис!
Вам внемлют земля и моря — не ведает вас Прозерпина! ..

<1826>

ТИРТЕЙ

ОДЫ

I

Не тот достоин вечной славы,
Не тот наследник громких хвал,
Кто первым был в кругу забавы,
В потешных играх побеждал.

Пусть силой, крепостью телесной
Он диво — богатырь в рядах;
Пусть быстротою стоп чудесной
Он ветры упреждал в полях;

Пусть прелестью лица и станом
В Титоне зависть возродил;
Пелопса превышая саном,
Мидаса златом удивил;

Пусть он, вития средь совета,
В речах Адраста посрамлял:
Владетель всех сокровищ света
Велик, — но пред героем мал!..

Он мал, когда не пламенеет
Завидной страстью встретить смерть,
В глаза врагу смотреть не смеет
И не спешит злодея стерть!

Он мал! .. Ты, доблесть, к вышним вера,
К отчизне пламенна любовь, —
Едина ты величий мера!
Ты кровь Алкида — наша кровь!

Герой в ряду дружины ратной,
Трясущий грозно копие, —
Се! дар от неба благодатный!
Се, Спарта, счастие твое!

Стоит! Он бегство презирает,
Забыв о жизни, помнит честь;
В кипящем сердце вопрошает:
«Где страх? Куда погибель несть?»

«Сюда! — зовет друзей-героев. —
Сюда! — нам стыдно ран не знать!
Пойдем!» Врубились в недра строев —
И всколебалась смутна рать!

Бегут враги, — он вслед, как пламень;
Он правит вихрем битв, как бог;
На замысл — быстр, а в буре — камень,
Равно в удаче, трате строг;

Он кончит жизнь в пылу сраженья,
Среди смятенных страхом сил! ..
Погиб, — и над страной рожденья
Блеск новой славы воспалил!

Доспехи, кровию покрыты,
Меча останок сжавша длань,
Копье без древа, щит избитый,
Грудь в ранах — вот отчизне дань!

Повсюду слезы, стон, смущенье;
Собор старейшин и мужей
Его свершают погребенье;
Повсюду вопль: пал друг людей!

Вовек свята его могила,
И род его цветет в честях;

Героя имя — рати сила!
Героя память — чуждых страх!

Он умер; — нет! — всяк видит, слышит
Его, как бога, пред собой;
Всё вкруг него бессмертьем дышит;
Всё полно дел его хвалой!

Но если, покровен богами,
Не пораженный брани сын,
Ее кровавыми стезями
Пройдет, победы властелин,

И лавры со цветами мира
Рассыплет на родимый град, —
О, где его достойна лира?
Где мера почестей, наград?..

Совета муж среди собраний,
Вождь, судия, супруг, отец,
Душа благих предначинаний,
Любовь признательных сердец;

Грядет — все старца окружают;
Всяк ищет взорами его,
Ему все место уступают;
Он радость пиршества всего!

Кто здесь, кто доблести ревнует?
Кто хощет славы и венцов?
На брань! туда, где смерть бушует,
Спеши, лети, рази врагов!..

II

Отколе нега, сон? — Когда
Явим лице врагам?..
Бегите, скройтесь от стыда:
Смеется ближний вам!

Вы миром льстились на земли!..
О братья! зрите вкруг:
Война! война! — шумит вдали
Опустошенья дух!

К мечам, друзья! — щиты вперед
Против свистящих стрел!
Без мести храбрый не умрет!
Смерть храбрым не предел!

Какая слава, радость, честь
За жен, за милых чад
На брань кипяще сердце несть
И погибать стократ!

Коль парки осудили нас,
Падем в кровавый прах!..
Возвысим меч в последний раз:
То будет мести взмах!

Да воспылает под щитом
Отвагой ратна грудь;
Упейтесь пылкости вином,
Означьте карой путь!

Что в страхе? — Данной мне судьбой
Черты не перейду!
От племени богов герой
Падет в свою чреду!

Как часто робкий, битв боясь,
Не слышав свиста стрел,
На миртах встретил грозный час,
Когда забавы пел!

Он умер! — не понес к отцам
Любви и слез людей, —
Чем был он *здесь*, не скажет *там!*
Там нет ему друзей!

Великий пал! — о, благ залог!
О смерть, отдай его!
Он слава наша! он наш бог
В дни века своего!

Героев многих многий труд
Один он совершил;
В час бури дал совет и суд,
Вождем и кровом был!

III

Не вы ль, потомки Геркулеса,
Побед любимые сыны?
Над вами взор и длань Зевеса;
Вам отдан жребий злой войны!

Что вас, герои, устрашает?
Презренны скопища врагов?
К щитам! — туда, где брань пылает,
Стремитесь в славный путь отцов!

Иль мир приятней вам постыдный,
Милее рабство в лоне нег?
Нет! — воин знает дальновидный,
Что смерть надежней, чем побег!

Воспомним, что мы потеряли
Тогда, как грудию одной
Пошли, сразились, бой венчали
И славу принесли домой?

Так! робкий лишь при первом шаге
Теряет силы, крепость вдруг,
Вредит соратника отваге,
Смущает храбрых тесный круг!

О, срам! — вид жалкий и презренный!
Влачась во прахе и стеня,
Он кажет меч, в хребет вонзенный,
И молит смерть: убей меня!..

Он поражен в бегу обратном...
Ах! так ли действует герой?
Не быстр, не хладен в деле ратном,
Живущий славою одной,

Идет бесстрашною стопою!
Покрыты грудь и рамена
Щитом огромным, как стеною;
Душа отечеством полна.

Идет, противных соглядает,
И верен стрел его полет:
Пернатый шлем его сияет,
Как знамя гордое побед!

Учитель ваш на бурном поле,
Он водит за собою рать;
И где опасность битвы боле,
Его не нужно там искать.

Не ждет врагов, он их сретает,
Не спросит тайно, сколько сил;
Когда отечество взывает —
Пришел, увидел, победил!

Смешались строи — первый в сече,
Рука с рукой — со грудью грудь;
Могущ, бесстрашен, быстротечен,
Творит себе из трупов путь!

То стрелы от него стремятся,
То поражает он мечом;
Враги и там, и здесь толпятся;
Он к ним, как смерть, всегда лицом.

И ты, дружина легких воев,
Наш подвиг славный разделяй;
Несись, как вихрь, пред рядом строев
И камни градом рассевай!

Герои! Марса сонм крылатый!
Се! время копья испытать!
О крепкие лишь токмо латы
Копья не жалко изломать!

IV

Почтим великого в мужах,
    Кто, меч подъяв, идет
На брань за братий, — злобных страх,
    Друзьям отчизны — свет!

Он подал глас, но трус бежит
    Родительских полей,
Увы! — для хлеба жизнь влачит
    У чуждых он дверей!

Отец и мать влекутся вслед,
    И дряхлость, и недуг;
Жена, невинна жертва бед,
    И малы чада вкруг!

Презреньем встретит каждый взгляд
    Его в пути скорбей;
Всяк молча оттолкнет назад
    Просящего снедей!

До времени и слаб, и стар,
    Живой в семье мертвец,
Что детям он готовит в дар?
    Отчаянный конец!

Так в мрачных бедствия путях,
    От всех людей забыт,
Он всё погубит, всё и — ах! —
    Погубит самый стыд!..

Друзья! страстям, порокам — брань!
    Гоните праздность, лесть!
Вся храбрых жизнь — отчизне дань!
    Им пища — благо, честь!

Труды, походы, мраз и глад —
То ратника врачи!
Терпенье крепче медных врат,
Острее, чем мечи!

Коль виден страх — не верь глазам,
Коснись его копьем! ..
Но час настал, желанный нам!
Бесстрашные, пойдем!

Как! старцам ли седым
На трепетных жезлах
Прилично биться здесь одним,
А нам сидеть в стенах?

О, стыд! — старик, лишенный сил,
Досель гроза врагов,
Рукой иссохшей меч схватил
В очах своих сынов, —

Разит, падет! .. Когда в пыли
Героя кровь кипит,
Тогда младый, дрожа вдали,
Окаменел стоит!

Герой, кончая смертью брань,
Детей напрасно ждет;
Вздохнув, оледеневшу длань
К священной ране жмет. —

Какое зрелище! — о, срам!
Я отвращаю взор. —
О юноши! спешите, вам
Наука — сей позор!

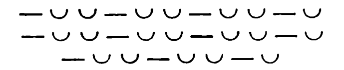
Коснитесь старца льняных влас!
Обеты правоте! —
Греми, святыя клятвы глас:
«Иль щит, иль на щите! ..»

Вперед железною стеной!
    Вперед, друзья побед!..
Отчизне — слава и покой!
    Отчизне — вечность лет!

<1805>

К ПИРРЕ

(К. I, О. 5)[1]



Кто сей красавец, на розах с тобою
Нежась, играет, облит благовоньем,
В тайном сумраке грота? —

Алые пе́рсты твои расплетают
Шелкову косу на радость счастливца:
Волны струйчата злата

Пали роскошно на лилии персей,
Выя на рамо; рука в руку; тают
Негой страстною очи;

Сладостный шепот, и томные вздохи,
И лобызанья! .. О, жалкий счастливец!
Скоро, скоро оплачет

Клятвы и верность и, призванны лестью,
Горние силы в поруки обетов! — .
Бурный плаватель бездны,

Быстро застигнут внезапным ненастьем,
Скажет он поздно ужасную правду:
«Ах! не верить бы морю!

[1] *К* — книга, *О* — ода. Сокращения Мерзлякова. — *Ред.*

Страстным бы Пирры не верить улыбкам,
Льстивым вздыханьям коварного ветра! ..
Ныне любезен; завтра

Ласки другому! ..» Ах! горе, кто Пирру
Новый увидит! — На дске сей заветной [1]
Вижу я в поученье:

Стрелы, и светоч, и лук, и повязку,
Горестны знаки златых обольщений!
Там написаны в память

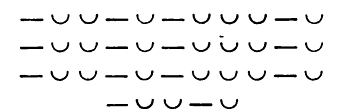
Смехи и слезы, надежды и страхи,
Купленны горем веселия тени;
Там сплелися руками,

Вдаль друг от друга отклоншие взоры,
Строгая клятва и с ней преступленье! ..
Всё тебе возвращаю,

Бог легкокрылый! Мне рощи Парнаса,
Мне улыбнулись! Мне веет радость
С лиры звучныя Феба.

<1826>

К ФУСКУ
(К. I, О. 22)



Правому в жизни, чуждому порока,
Фускус, ненужны лук, железо мавров;
Полные тулы стрел, преднапоенных
Ядом, ненужны!

---

[1] Римляне обыкновенно в память какого-нибудь печального или радостного происшествия, с ними случившегося, вешали на стене картину, на которой оное изображалось.

Хощет ли Сиртов плавать чрез пучины,
Хощет ли Кавказ негостеприимный,
Бреги ль изведать, кои пресловутый
Гидасп лелеет.

Тако в Сабинах (где я, воспевая
Лилу, в лес чуждый, странник, углубился)
Волк, меня встретив, дрогнул, и промчался
Пред безоружным!

Зверь преужасный! — Дафния подобных
Ратная в дебрях не питает мрачных,
Юбы владенье, знойная не водит
Тигров отчизна.

Брось меня случай в тундры ледяные,
Где зефир летний жизнию не дышит,
В тучах зловредных землю буреносный
Юпитер давит;

Брось под огнями рдяной колесницы
Солнца — в пустынях, смертному безвестных:
Лила мне радость; радость — Лилы слово;
Радость — улыбка.

<1826>

ОБРАЩЕНИЕ
(К. I, О. 34)

Богов беспечный чтитель, хладный
Раб суемудрия, раб буйственной мечты,
Блуждал я, странник безотрадный,
В пучине бурных волн земныя суеты. —
Теперь свой парус пременяю;
Теперь спешу я вспять по дознанным следам;
Теперь тебя ищу, — желаю,
О неба луч благий, спасение пловцам! ..
Я зрел ужасное виденье!
Я зрел: сам бог-отец вдруг пламенным мечом
Рассек эфира облаченье.

И, тучи разделив, блистательным путем
На огнердяной колеснице
Мчал яростных коней, дымящихся враждой. —
Фиал суда в его деснице.
Протек — и возгремел средь ясности грозой —
И восстенала вкруг вселенна:
И грубая земля, и все собранья вод,
И Стикс, и Тенара смущенна
Обитель мрачная — неправедных исход,
И сердце гор — основный камень —
Всё трепет вкруг объял, и в трепете всё ждет!..
Всевышний, неприступный пламень
Меж небом и землей превыше бурь течет
И след на тучах оставляет —
Отрадную дугу, в урок земных детей...
Так! так! — Он миром управляет,
И царь, и судия! — строитель дивный сей,
Единый действует и может!
Величие царей, все мира красоты
Восхощет — вознесет; восхощет — уничтожит,
Его раба, Фортуна, ты!..

<1826>

К ДЕЛИЮ

(К. II, О. 3)

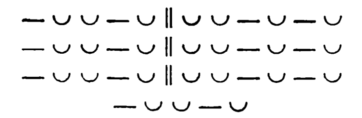
О Делий! ты умрешь!.. Умей и веселиться
В минуты радости своей
И, жизни на пути влачась, не оступиться,
О бедный труженик, умей!
Текут ли дни твои забот и бед стезями,
Или, счастливец, ты живешь
В чертогах роскоши, с любовию, играми,
О Делий, Делий! ты умрешь!..
Где сосна гордая и тополь серебристый
Сплели, как давние друзья,
Гостеприимну сень в тени ветвей волнистой,
Где быстропенная струя
Пробраться силится искривленной стезею —
Туда неси вино, собрат,

И розы, утренней омытые росою,
И благовонный аромат.
Туда неси восторг, туда сбирай веселья,
Доколь мы в силах и летах,
Доколь прядется нить предвестниц новоселья,
Угрюмых сестр в руках!
Не вечно в закупных нам дачах забавляться:
И дом, и благодатна весь,
Вкруг коей любит Тибр зеленый извиваться, —
Всё, всё покинешь здесь.
Смотри, как жадные, но скрытны мещет взгляды
Наследник твой, сей хитрый льстец,
На возвышенные домов твоих громады:
Не ты ему — твой мил конец!
Всё должен ты отдать, востребован судьбиной!
Будь сын царей, как Крез, богат,
Будь нищий, без куска, бездомный — всё едино:
Возьмет неумолимый ад!..
Туда всё нудит нас, туда стезей прямою
Влечемся мы, стада овнов!
Всемощная сидит над урной роковою,
И взор вперен в поток часов!
И смерть коварная, сей гладный соглядатай,
Стоит незримо на пирах:
Сегодни ль, завтра ли, тебе иль мне, — вожатай,
И ждет нас лодка при брегах!..

<1826>

К ЛИЦИНИЮ

(К. II, О. 10)



Счастливей будешь, не вверяясь дальним
Моря пучинам, посреди же бури,
Страж себе строгий, не тесняся робко
К хитрому брегу.

Кто золотую Средственность возлюбит,
Бедности чуждый, не потерпит смрада
В хижине скудной, не живет в завидных,
Скромный, чертогах.

Чаще ветр ярый низвергает долу
Дубы огромны; жесточайшей карой
Рухнут бойницы; пламень молний вьется
К высям нагорным.

В горе надежду, боязливость в счастье
Носит, в пременах искушенно света,
Сердце благое. Насылает зимы
Юпитер; — он же

Гонит их в север. Огорченье — ныне;
Завтра — отрада! Молчаливу Музу
Арфа разбудит; — Феб всегда ль в погибель
Лук напрягает?..

Нужда ли давит — ты, бесстрашный духом,
Ратник, мужайся; изучись разумно
Стягивать в ветер, слишком благосклонный,
Дмящийся парус!..

<1826>

К НАДМЕННОМУ БОГАЧУ

(К. II, О. 18)

Ни костью дорогой, ни златом
Не блещет храмин свод простой
В моем жилище небогатом,
Где я душе обрел покой;
Ни славны мраморы Гимета
Высоких не тягчат столбов,
Иссеченных на диво света
Резцом ливийских хитрецов;
Атталу древнему роднею
Себя причесть я не дерзал;
Гордец, безвестностью своею
Дворцов царей не посрамлял;

Клиентов дщери именитых
Мне тканей нежных не прядут,
Червцом Лаконии омытых;
Но рок мне дал ум, здравый суд
И дар, любимый Аполлоном.
Корысть благая! — Мой венец!..
Для ней и к бедному с поклоном
Ко мне идет богатый льстец!
О чем еще стужать мне боле
Богам превыспренним мольбой?
В моем сабинском малом поле,
Богат, доволен сам собой,
Стыжусь могущего я друга
Нескромной просьбой утруждать!
Спокойство, сладости досуга!
Что может вас мне заменять?

Смотри, стяжатель!.. над землею
День днем стирается другим!
Любуясь радости зарею,
Вдруг зрим костра могильный дым!
Теперь Фортуну ловим злую,
Чтоб завтра же о ней тужить!
А ты... и землю гробовую,
Слепой, хлопочешь набутить
Богатством мраморов привозных;
Забыв могилу, строишь дом!
И море, в треволненьях грозных,
Ты хощешь отягчить ярмом
И дале прешь его брегами,
Несытый сушей, островами!..
Но так и быть!.. Скажи, как смел
Ступить ногою дерзновенной
Чрез термин [1] ближнего священный —
Клиента своего в предел,
На хлеб его насущный жадный!..
Влекутся, изгнанны тобой,
Супруг, супруга безотрадны
В леса из хижины родной,
Пенатов отческих износят
И вретищем повитых чад!..

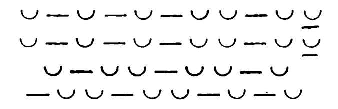
[1] Граница, грань.

Малютки плачем пищи просят! ..
Но дом, твой дом надежный — ад!
Корысть ли — бедных пепелище!
Вельможе алчному не здесь,
Нет, Оркуса несыта весь —
Определенное жилище...
Куда ты залетел в мечтах?
Земля, которой все мы пища,
Разверзнется равно для нища
И для блестящего в венцах!
Плутона вестовой [1] на злато
Желательных не клонит глаз;
Ах! от него — и ум крылатый
Тебя, Япетов сын, не спас?
Он гордость Тантала высоку,
Он оковал Танталов род! ..
Гроза надменному пороку,
Награда правых и сирот —
Снять с бедного тяжело бремя
Трудов, напастей и скорбей, —
Незваный, званый в благо время
Друг-утешитель — у дверей.

<1815>

К ЛОЛЛИЮ

(К. IV, О. 9)



Ты мнишь: погибнет то, что я пел досель,
Питомец дальношумного Авфида, [2]
Искусством неведомым первый
Речь сочетавший со звуком арфы!

---

[1] Смерть.
[2] Река; Гораций родился на ее брегах. Фригиец — известный Парис. Прочие герои все взяты из «Илиады» Гомера.

Пускай, великий, высшее место всех
Гомер заемлет; скрылись ли Пиндара,
Алцея, Симонида грозны
И Стезихора благие музы?

И сладкомилых Анакреона грез
Не крадет время. — Дышит любовь еще,
Живет и дышит влиянный огнь
В лиру эольския девы вечно! ..

Одна ль Елена лепокудрявых влас
Познала прелесть? — Златопылающей
Одеждой и славой фригийца,
Спутников блеском одна ль пленялась? —

Не первый Тевцер стрелы сидонские
Из лука сеял. — Сколько раз Илия
Терзалась во бранях? — Одни ли
Идоменей и Сфенел строптивый

Держали битвы, — говор небесных дев?
Один ли Дейфоб, Гектор божественный
Прияли священные раны
Чадам, супругам любезным в жертву? —

Так! — прежде Трои многие храбрые
Сияли в мире; всех неоплаканных
Ад отнял; в бездневной исчезли
Нощи; певца их лишило небо! ..

Сокрылась доблесть, праздность нашла свой гроб;
Где ж им отлика? .. Нет, неумолчный,
Тебя воспрославлю я в песнях!
Нет, не стерплю, чтоб труды благие

Без казни, Лоллий, злому забвению
Остались пищей. — Есть в тебе сильный дух,
Провидец испытный, и в бурно
И в безнаветное время равный; —

Алчбы коварной бич, недоступный враг
Царице злата всепривлекающей,
Ты консул не года — лет многих,
Благотворитель, законам верный,

Судяй честное выше, чем пользы все,
С челом открытым подкуп злокозненный
Отвергнул и стал пред врагами
Правды в доспехах, победоносец!..

Мудрец, ты мыслишь: света сокровища
Не зиждут счастья; имя счастливца тот
Достойно имеет, кто знает
Скромно питаться богов дарами!

Кто может терпеть бедность жестокую
И паче смерти срама боится, — муж
За братий, друзей и отчизну
Твердой опорой, готовый в гибель!

<1826>

К ТОРКВАТУ

(К. IV, О. 7)

— ∪ ∪ — ∪ ∪ — || ∪ — ∪ ∪ — ∪ ∪ — ∪
∪ — ∪ ∪ — ∪ ∪ —

Мразы и снеги прошли; луга облеклися в одежды,
В зеленые кудри древа;
Вид пременила земля, в брегах успокоенны реки
И пышно, и ровно текут.
Грация с нимфами в хор и девы, рука в руку, резво
Ко пляскам в долину спешат.
Утренним дымом клубясь, прозрачные, белые ризы
Ни кроют, ни кажут красот.
Радостный вьется Амур, кружится средь милых и метит
В сокрытых в кустах пастухов.
«Вечного нет под луной», — то год сей, то час сей вещает,
Предтеча отрады иль бед:

Мразы согреет зефир; весна покоряется лету;
А лето хладеет, когда
Мирная осень свой рог прольет благодатный; за нею
Тяжелая валит зима!
Быстрые луны опять заменят небесные траты,
А мы, безвозвратные ввек,
Снидем туда мы, где Тулл, где Анк, где Эней благочестный,
И будем мы — тени и прах!
Друг мой! кто знает теперь, приложат ли вышние боги
К вечернему утренний час!
То лишь одно утекло от алчных наследника дланей,
Что сердцу даешь ты в корысть.
То лишь одно — и твое! Когда же Минос праводушный
Твой жребий высокий речет —
Поздно! ни доблесть, ни род, ни сила витийства не может
Живущим тебя возвратить!
Зевса великая дщерь хранившего стыд Ипполита
От адовой мглы не спасла;
Верный Тезей не расторг стесняющих в тартаре грозном
Перитоя-друга цепей.

<1826>

ДВЕ ЭЛЕГИИ

* * *

(К. I, О. 2)

Страдаю. — Что виной? — Что сделалось со мною?
Мне ложе было терн, покров давил горою;
Всю ночь должайшую, всю ночь не ведал сна!
Мраз, пламень по костям; тоскою грудь полна!..
Ужели вновь любовь? Ужель сей бог суровый
Еще мне тайные свои раскинул ковы?..
Так!.. Чувствую его!.. Здесь, в сердце, здесь стрела!
Так! хитрый бог во мне. — Страсть яд свой разлила!..
Уступим? — Иль возжжем войну сопротивленьем?
Уступим!.. Тяжко зло, но легче зло терпеньем.
Так учат. — Искра спит; растрогай — вспыхнет вдруг!
Забыт горячий пепл, и скрытый жар потух!..
На ниве вол младой, враждуя, терпит боле,
Чем тот, кто привыкал ко плугу и неволе!
Терзают удила зев дикого коня —
Узды не слышит конь, друг ратного огня!..[1]
Свирепствует Амур против рабов упорных —
Лелеет и хранит служению покорных!..

— Готов! — Твоя корысть, сдаюся, Купидон!
Вот руки: закрепи! — Вещай мне свой закон!
К чему борьба с тобой? — Жду мира и пощады!
Сражать бессильного нет славы, нет отрады!

[1] Обыкновенные излишества Овидия! — Я не хотел опустить их, дабы показать характер писателя.

Венчайся миртами, закладывай скорей
Прелестной матери игривых голубей! —
От деда[1] самого нисходит колесница! —
И се! — уже на ней, прияв бразды, возница,
При кликах радостных народов, падших ниц,
К полету нудишь ты златоперистых птиц!
Влечется вслед тебе дев, юношей собранье,
Триумфа твоего верховное блистанье! ..
Я сам влекусь, рукой живую рану скрыв,
Раб духом, сердцем раб, уныл и молчалив.
Влечется гордый ум, тобой смиренный в брани
(О, жалость! — на хребте закручены, зрю, длани).
Влечется робкая стыдливость в новый плен;
И всякий, кто дерзал против твоих знамен,
Окованный идет. — И пышные владыки,
И мирных пастухов играющие лики,
Волнуясь, вопиют: «Гряди, триумф, гряди! ..»
Твой поезд тянется с боков и впереди:
Соблазны хитрые, лесть, нега, угожденья,
Блеск, праздность, суетность, мечты и исступленья, —
Необорима рать против богов, людей!
В ней сила вся твоя; ничтожен ты без ней! ..
Так шествуешь, о вождь триумфа величавый,
И матерь светлая, твоей любуясь славой,
Из сени радужной склонившись, вне себя,
Вкруг розами всего осыпала тебя! —
Какой чудесный свет! .. На крылах огнь зарницы! —
Алмазы во власах! — Огнь пышет с колесницы!
Ах! сколько, сколько жертв восприемешь ты в сей час?
Всемощный! не хотя, не мысля, ранишь нас!
Не можешь воспретить заразам разлетаться:
Дух пламени окрест — всё должно воспаляться!
Так Бахус шествовал по Гангеса брегам:
Он был вождем зверей — ты вождь и царь умам! ..
Амур! Коль суждено мне твой триумф умножить,
Восхощешь ли ты плод победы уничтожить?
Или поступишь так, как Цезарь, сродник твой? [2]
Одной рукой разит, льет милости другой! ..

<1826>

---

[1] От Юпитера.

[2] От Венеры — Эней; от Энея производил свой род Юлий Цезарь, а за ним и другие.

* * *

(К. I, О. 3)

Я прав в моей душе: любовь любви желает! ..
Несчастный! — Но краса, которой грудь пылает,
Вняла ль твоим мольбам? — Позволит ли, чтоб ты
Взаимности искал! .. О, дерзкие мечты! ..
Богиня Пафоса! — Мне ль благ сих наслажденья? —
Позволь, позволь хотя одни любви мученья! ..
Склонись к тому, кто чтил тебя от юных лет,
Кто верностью святил свой пламенный обет! ..
Пускай не служат мне те гордости призраки
Древнейших прадедов блестящи титла, знаки.
Пусть только всадника во мне струится кровь;
Обширных нет земель, и с каждым годом вновь
Нив тучных не бугрят наемников орала:
Умеренность наш дом питает и питала;
Но Феб, но музы все, но светлый бог отрад,
Сам бог, предатель мой,[1] — о, мне не умолчать!
И доблесть, твердая против ударов рока,
И сердца искренность, и нравы без порока,
И скромность нежная — ходатаи мои!
Не всем я в дар несу и чувствия свои;
Не страсти ветреной раб легкий и беспечный;
Тебя одну люблю, тебя — любовью вечной!
Тебе все дни мои, чтоб жить твоей душой
И чтобы умереть оплаканным тобой!
Ты будь восторг, будь бог счастливого поэта,
Ты песнью будь моей, друг сердца, друг совета! ..
Ах! В песнях сладостных бессмертие нашли
И ты, Инаха дщерь, скиталица земли,
И дева, лебедем обманутая нежным,[2]
И ты, которая по безднам волноснежным
Неслася на хребте притворного тельца,
Держася за рога согнутые льстеца! ..
И наши песни ввек для мира не увянут!
И наши имена слиянные вспомянут! ..

<1826>

---

[1] Разумеется Амур. Бог отрад — Бахус.
[2] Леда, которую любил Юпитер в виде лебедя; Европа — любимая — в образе тельца.

К ДЕЛИИ
(К. I, О. 3)

Мессала без меня эгейскими волнами
Стремится в путь побед. — Забвен ли буду вами,
Ты, вождь возлюбленный, вы, ратные друзья! ..
В чужой стране [1] томлюсь, недугом скован, я.
О смерть, сдержи удар над сирою главою!
О смерть, сдержи удар! — Нет матери со мною,
Чтоб кости бренные в печальный склеп сложить;
Нет здесь моей сестры, чтоб пепел окропить
Благоуханием Востока драгоценным
И, гробу предстоя, — власам неувязенным —
Оплакать жребий мой. — Нет Делии при мне! ..
Она — нежнейший друг! — в сердечной глубине
Скрывая грусть, когда из града отпускала,
Ко всем богам о мне с молитвой прибегала, —
На стогнах жребии священные стократ
У отрока [2] брала, и отрок ей возврат
Стократно обещал... Напрасны уверенья!
Как смерть, грозила ей минута разлученья!
Я, утешитель всех... что мне начать, не знал:
Я сам себе вины медленья вымышлял!
То птиц полет страшил, то признаки заметны;
То воспрещал отъезд Сатурна день обетный! [3]

---

[1] Тибулл, отправившись с римским полководцем Мессалой в Азию, занемог на дороге и должен был больной остановиться на острове Коорцире. В сей элегии описывает свое горестное положение, отъезд из Рима и пр.

[2] Сии отроки сидели обыкновенно на распутиях и предлагали гадающим вынуть жребий.

[3] Иудейская суббота, которой также верили в Риме.

Не раз, при выходе, коснувшись в праг ногой,
Я трепетал как лист и вспять бежал домой!
О, бойся странствовать, Амура верный чтитель!
Не оскорбляй его! — Везде найдет отмститель! ..
Так, Делия! Он мстит, и гнева зрю плоды! —
Спасла ль меня твоя Изида[1] от беды?
Что помогли твои кимвальные биенья,
И омовения, и строгие пощенья? ..
Теперь, богиня, ты могущество яви,
Теперь целенья дар высокий обнови,
Умножи чудеса, которыми все стены
Чертога твоего блистают испещренны![2]
Теперь пусть Делия хвалы тебе гремит!
В одежде белой льна у врат твоих сидит!
Теперь двукратно в день — власам непокровенным —
Пускай мольбы поет со клиром освященным,
Дабы я мог простерть к богам домашним длань
И Лару древнему принес обычну дань! ..

Как жили счастливо в дни Кронова правленья!
Тогда еще земля не знала разделенья,
Не открывалася в бесчисленных путях;
Не пенил смелый дуб лазурных вод в морях,
Не ширил паруса в ловитву ветров льстивых;
Пловец, блуждающий окрест брегов строптивых,
Богатством чуждых стран судов не нагружал.
В то время мощный вол ярму не работал;
И удила не грыз смиренный конь в гортани!
Там дом был без дверей и все поля без грани!
Мед капал сам с дерев, и овцы сами там
Несли свое млеко к беспечным пастухам! —
Ни споров, ни войны, ни ратей разъяренных!
Кинжал и меч! — игра злодеев ослепленных! —
Не оскверняли вы искусства ковачей!
Зевес вступил на трон: се! — язвы, тьмы смертей!
И море, и земля на нас вооружились,
И в ад несчетные врата нам отворились!
Зевс, отче, пощади! — меня не тяготят,
Ни клятвы ложный стыд, ни слов продерзких яд! ..

---

[1] Богиня египетская. Между прочими обрядами молящие ударяли в кимвалы и наблюдали строгую чистоту.

[2] Все стены храма исписаны были чудесами ее исцелений.

Но если жизнь моя исполнилася днями,
Пусть гробный камень мой означится словами:
«Тибулла кости здесь. Он смертью взят к отцам,
Мессале следуя по суше и морям».
Умру! Жреца любви и трепетных мечтаний,
Сама меня введет Киприда в рай желаний,
В сады Элизия. Там песни, хоры вкруг;
Порхая, птицы там плененный нежат слух;
Лавр с миртом соплелись, лелеют в кущах радость;
В полях бессмертных роз благоухает сладость.
Сонм юношей и дев — то врознь, то вкупе вновь —
Играют, резвятся: их спор, их мир — любовь!
Там жертвы, страстию сраженные противной,
Блуждают, ветвию украшены оливной.
Вдали обитель кар, в глубоких безднах ад,
И реки черные окрест его шумят.
Ярятся фурии (с их глаз горящих змеи
Клокотятся, свистят по плечам и вкруг шеи!),
Трепещут бледные преступники, толпясь!
А там, ко вереям железных врат склонясь,
Простерся страшный пес; как чешуя ехидны,
Став дыбом, волоса шумят щетиновидны.
Там смевший искушать Юнону Иксион:
На быстром колесе в костях дробится он;
И девять десятин облегший Тиций чревом
Питает алчных птиц, посланных неба гневом!
Тантала вижу я: вкруг вóды, он припал;
Уже мечтает пить — но скрылся вод кристалл!
Дары Венеры в ков утратив беззаконный,
Там девы Лету льют во кладези бездонны! [1]
Там гибни, кто дерзнет мне милую смущать,
Кто мне возврата час желает отдалять!..
Нет! — ты всегда верна, и, мною страж избранный,
С тобою будет мать повсюду, беспрестанно!
При свете тихия лампады пусть она,
За сказками тебе, тончайши нити льна
Из прялки, обвитой куделью, извлекает;
Близ дева свой урок рабочий исправляет:
Сон к бедной крадется, оделись очи в мглу,
Склонилась голова... работа на полу!..

---

[1] Данаиды, умертвившие своих супругов.

Вдруг… в этот самый миг, внезапный и нежданный,
Я в дверь, перед тобой, как с неба ниспосланный! —
Ты ахнула; бежишь в том виде, как нашлась,
В смятенье волоса, босая, без прикрас!..
О радость!.. О, когда слетит сей день румяный,
На розовых конях, на колеснице рдяной?..

ОСВЯЩЕНИЕ ПОЛЕЙ
(К. II, О. 1)

Благоговенье к богам! — Мы плоды и поля освящаем,
Как повелел нам от предков обычай наследный.
Вакх, преклонися, да грозды златые с рогов твоих блещут!
Золотом класов чело увенчай ты, Церера!
В праздник великий покойся, Земля! Ты покойся, оратай!
Плугу подъятому, труд услադися тяжелый!
Узы ярма разрешите при яслях, наполненных житом:
Там да питается вол с увенчанной главою!
Всякое дело — дар богу! Ты, матерь семейства, вы, дщери!
Да не коснутся к работе прядущие руки!
Вы удалитеся, вы алтарей не скверните священных,
Коим прошедшая нощь ниспослала утехи!
Чистое вышним угодно, — вы в чистой явитесь одежде,
Чистой рукою из кладезя черплите влагу!
Зрите, как шествует агнец священный пред жертвенный камень,
Маслиной все осененные, вслед мы толпимся!
Боги родные, поля освящая, святим земледелов:
Всякое злое жените от нашей границы!
Да не обманут посевы надеждою льстивою жатвы!
Робкие овцы волков да не встретят свирепых!
Добрый оратай, любуяся полной и плавою нивой,
Дубы снесет на поля, и костры воспалятся!
Дети и слуги толпою, во знаменье радостей дома,
Скачут вкруг сруба и кущи сплетают из ветвей! —
Тако да будет! Приникните взором ко внутренним жертвы:
Сердце и печень нам благость богов предвещают!
Древнюю бочку фалернского, консулов старых под знаком,
Двигните! Сбейте на хийском смолистую пробку!
Красен пир добрым вином! На пиру, освященном богами,
Стыдно ль в хмелю волочить непослушные ноги!..

«Здравствуй, Мессала!» — Так всяк, со стаканом в деснице,
воскликни!
Пусть он, отсутственный, в каждом гремит у нас слове!
Ты, аквитанским триумфом возвышенный в сонме героев,
Ты, победитель, величие предков брадатых,
Сниди, незримый, вдохни в меня силу для песней крылатых
Благодаренья небесным хранителям жатвы!
Поле, богов полевых воспеваю! Богам восхотевшим,
Дуба плодами питаться отвыкла жизнь смертных!
Прежде они научили, скрепив переклады на ветках,
Листьями древ покрывать необстроенный домик!
Думают также, они усмирили волов на служенье
И под телегу селян прикрепили колеса!
Дикая пища отвергнута: плод благосочный алеет;
Сад изобильный пьет чистые воды в потоках;
Грозд златовидный под резвой стопою дал сок благодатный:
Радостно-пьяное слилось со влагою трезвой!..
Нивы даруют нам жатву, когда, воспаленные летом,
Желтые Матери общей власы опадают;
Рея по злачному лугу, пчела собирает дань улью,
Чтобы ячейки исполнить от сотов медовых.
Прежде других земледел, обеспеченный верностью плуга,
Мерной стопою воспел безыскусственны песни;
Прежде других сочетал он свой голос с свирелию
звонкой, —
И вознеслися торжественны гимны на небо!
Первый оратай, намазанный яркою краской, о Бахус,
С новым искусством водил твои шумные хоры!
Вымысл чудесный приял от богатого стада наградой
Козлище: кротких овец бородатого вождя!
С луга весеннего отрок, цветы собирая, составил
Вязи, и ветхого Лара чело увенчал он;
С паствы веселой, услужливый радостям девы младыя,
Нежную волну приносит играющий агнец!
Вот и работы жен милых: и прялка, и пряжа, и гребень;
Между перстов веретено, навиваяся, пляшет со свистом!
Дома хозяйка, при кроснах Минервы сидя, воспевает
Песни; челн реет, бьет бердыш и кросны трясутся.
Думают, самый Амур возродился средь стад нежнорунных,
Между овец, и волов, и коней буйноръяных.
Там, неискусный, он прежде испытывал лук тетивою;
К нашему горю, как ныне рука его верно

Метит! — Уже не животные токмо, — прелестные девы
Метою стали! — Мужей он гордыню смиряет!
Сыплет роскошно на юношей блага, и старцев он нудит,
Прелести гордой при праге, в мольбах унижаться!
Им предводимая тайно, чрез спящего стража препрыгнув,
Дева во мраке одна поспешает к любимцу;
Тихо стопы подвигая, трепещуща, страхом волнуясь, —
Руки вперед — испытует таинственный путь свой.
Бедные, бедные, коих Амур ненавидит! Стократно
Счастлив, кому он приветною веет любовью!
Сниди, священный, на пиршества, праздники, сниди! —
Но стрелы,
Далее стрелы оставь, и далее светоч!..
Славьте вы бога, молите его благосклонность ко стаду;
Голосом громким ко стаду, к самим себе, тихо!..
Нужды нет, громче к себе призывайте: фригийские трубы
Шум молодых шалунов все слова заглушают.
Пойте, играйте; се Нощь — в колесницу коням
запряженным —
Катится; матери следом звезд хоры несутся;
Тихо, безмолвно чуть движется Сон на крылах бледно-
темных;
В призраках дивных толпятся за ним Сновиденья.

<1826>

К ЦИНТИИ

Нет, Цинтия, не смерть, не бледны Орка тени
Виной таинственных души моей смятений!
Готов исполнить долг, не оробею я;
Боюся не того: боюсь, чтоб смерть моя
Твоей любви ко мне со мной не погасила...
Ах! мысль сия страшней, чем хладная могила!

Ужели так слаба любовь у нас в сердцах,
Чтоб с жизнью умерла и мысль о мне, как прах!
Герой Протезилáй Айдéса в мгле унылой
Не в силах был забыть своей супруги милой. [1]
Но, дух, он, радостью обманчивой влеком,
Узреть, обнять ее притек в свой древний дом!..
Поверь, каков я здесь, таков и в мраках ада:
Любви моей ни Стикс, ни Цербер не преграда!
И там любовник твой, душа души моей!
Пускай красавицы давно минувших дней,
Героев дочери предстанут предо мною —
Не бойся: ни одной я не сравню с тобою!
Клянуся именем в том матери-земли!..
Хотя бы вышние в совете изрекли
Тебе позднейшие увидеть жизни лета,
Не охладею я: на праге стану света,
Страсть ту же принесу поблекнувшим красам;
С восторгом обниму притекшую к теням!..

---

[1] По баснословию, он получил позволение от Плутона возвратиться на этот свет и пробыть три часа у супруги своей Лаодамии.

Ах! если б ты всегда, подобно мне, пылала,
Тогда бы смерть нигде меня не устрашала,
Тогда б не умирал, я жил в тебе тобой!
Но, может быть, увы! любовник молодой,
Тебя от моего навек отринув праха,
У тени моея последний дар — без страха —
Отнимет: осушит твои потоки слез,
И жертвой будешь ты ласканий иль угроз! ..
Ужасно! .. Ускорим златое наслажденье! ..
Живи сто лет, сто дней, — в любви одно
мгновенье! ..

<1826>

РАЗНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

ИСТИННЫЙ ГЕРОЙ

Первый голос

Приятно во брани ужасной с врагами
За отчество кровь проливать,
Приятно герою в огне, меж волнами
За веру, за правду страдать.
Он с мужеством в сердце, с булатом в руках
На быстрых усердья летает крылах.
Гремят над ним громы, — он гром презирает
И лавры зелены везде собирает.

Второй голос

Ах, страшно во брани, страшно, герои,
Там смерть и героев разит;
Лишь лютостью зверской славятся бои;
Илѝ за убивства вам слава манит?
Там в воздухе мрачном ядра свистят,
Булатные сабли и копья блестят;
В громаде оружий герой погребенный
Истлеет, и светом и другом забвенный.

Первый голос

Бессмертных героев подвиги громки;
Их слава трубой возгласит,
Чудѝться им будут поздны потомки,
И время их образ почтит.
Герои, упавши средь битв на полях,
В чувствительных вечно пребудут сердцах;
Созреют над гробом их лавры зелены,
Слезами друзей орошенны.

Второй голос

Злодейство обыкло и делом, и словом
Святому всему подражать;
И мужества, чести блестящим покровом
Себя возносить, украшать.
Герои по трупам убитых людей,
Скользя во крови, ко славе своей
При воплях несчастных сограждан стремятся,
Личиной геройства хотят украшаться.

Первый голос

Не лавры, омытые кровию смертных,
Нам имя героев дают;
Виновников зол неисчетных
По смерти потомки клянут;
Герой, кто, отечества славу любя,
В опасности бодро ввергает себя;
Средь брани кровавой брань презирает
И слезы несчастных сирот отирает.

Оба вместе

Герой, кто на брани лишь правду священну
Во сердце геройском хранит,
Кто злато, корысти и пышность презренну
Предметом геройства не чтит,
Кто наглостью, злобой рожденных врагов
Приводит в храм мира без ран и оков.
Отечеству, вере и в недрах покоя
Служить беспрерывно — вот слава героя!

<1796>

НОЧЬ

Уже хаоса дщерь ужасна
На тяжких крылиях, во свет
Как буря ниспустившись мрачна,
Простерла в облаках полет.
Ее одежда — тучи черны,
Усеянные тьмою звезд,
Что сыплют искры света бледны
В пространства бесконечны мест.

Летит! — и воздух страшно воет,
Гнетомый тяжестью под ней,
Размахом крыл вселенну кроет,
Мрак сыплет из своих очей;
От персей росу проливает,
На тучи новых горы туч
Кладет — и небо помрачает.
День кроет в Понте бледный луч.

И се, как мрачна тень, спустившись,
Подвигла маковым жезлом,
И вся природа, к ней склонившись
На лоно, спит священным сном.
Любезна тишина в долинах
Воздвигла трон свой на цветах;
Не слышен ветров вой в пустынях,
Ни рев зверей в густых лесах.

Всё спит, и в мраморе, в кристаллах
Коварство злобно мира спит
На окровавленных кинжалах
И сна в мечтах весь свет разит.
И пышность дремлет там презренна
На персях роскоши, сует;
И праздность, леность расслабленна
Болезни купно с сном пиет.

И зависть ищет там покоя,
Но, ах! покой ее бежит,
В норах себя, в пещерах кроя,
Нигде сладчайша сна не зрит.
Обвившись вкруг нее трекратно
И жало в бледну грудь вонзив,
Змей точит черну кровь всечасно,
Сей свет ей в ад преобратив.

И ты, о скупость! тамо дремлешь,
Близ идола во мгле сидя,
Малейший шум со страхом внемлешь,
Боишься света — и себя.
Ты, ты одна против природы
Клянешь и сон, и самый день,

И сладостям драгой свободы
Предпочитаешь гнусный плен.

Покайтесь все, или страдайте
В начало предгрядущих мук;
Из собственных здесь яд примайте,
А там суда из грозных рук.
И благо всех утех презренных
Коварным, пышным, гордым, злым
Не есть ли бездна мук несчетных?
И самый свет не гроб ли им?

Градов утехи, чести, слава
Презренных роскоши детей,
Для сердца доброго отрава,
Не льстите вы душе моей!
Прошло, прошло уже то время,
Как ваши узы я лобзал,
Носил охотно ваше бремя;
Теперь уже не ваш я стал.

И что ж вы в свете сем превратном?
Не те ль прелестные огни,
Что странник в беспокойстве страшном
Зрит на могилах в мрачны дни?
За ними следует несчастный,
Свой дух надеждой веселит
И вдруг себя в пустыне мрачной,
В жилище хладной смерти зрит.

Почто ж толико слепы смертны,
Что вас не могут познавать?
Когда ж познают, сколь вы вредны,
Почто не могут вас бежать?
Там света гордый победитель,
Который царства раздавал,
Градов и крепостей строитель
В позорном плене вашем пал.

Герой, венцом венчанный славы,
Что Рим вознес на высоты,

Отколь царям давал уставы,
Погиб средь звуков славы ты!
Несясь на гордой колеснице,
Ведя в триумфе королей,
Ты скиптр желал иметь в деснице,
Желал — и меч в груди твоей.

О юность лет моих дражайша!
Тебя возможно ль мне забыть?
Но ты была мечта сладчайша,
Что вместе с сном от нас летит.
Лишь я для света пробудился,
Блеснул мне славы метеор,
Блеснул — и, слабый, я прельстился,
Прошел моря, стремнины гор.

Колико бедствий я ужасных
Терпеть в сей жизни должен был?
Из рук свирепой смерти хладных
Я лавры рвал, себя губил.
Идущий вслед за гордой славой,
Коварства сети попирал;
Сын зависти, свой взор лукавый
Потупив, часто воздыхал.

Теперь слагаю узы света,
Теперь, в мои преклонны дни,
В сем мире не найду предмета
Любезней, кроме тишины.
А ты, тиранка легковерных,
Что за труды, за жизнь, за кровь
Нам похвалы сулишь бессмертны,
Мне что явишь в прельщенье вновь?

Все блага света — тень пустая
Противу малых благ моих.
Здесь хижина моя простая
Приятней пирамид твоих.
А там, в дали, мне неизвестной,
Я зрю туман, как некий столп
Иль занавес распространенный,
А в нем — удел мой, тесный гроб.

Несчастья света мне не страшны:
Они к спокойству смертным путь;
Научимся из бед ужасных
Вливать себе отраду в грудь.
Жизнь нашу эта ночь являет,
Сокрыты пропасти от глаз;
Пусть добродетель провождает
Всегда во мгле идущих нас!

А вы, сыны небесна рая,
Любимцы истины святой,
Вы, коих зависть в свете злая
Под гордою гнетет пятой,
Мужайтесь, в правду облеченны!
По грозной, страшной ночи, в свет
Сын утра придет вожделенный
И вас к утехам призовет...

<1796>

РАТНОЕ ПОЛЕ

О Марс, враг мира разъяренный,
Бесчисленных виновник бед,
О ты, что в ярости надменной
Ударами колеблешь свет!
Во время мирных дней прекрасных,
Когда твой гром замолк в полях,
Яви мне браней вид ужасных
И смерть, разящую в боях!

Представь мне ратно поле страшно,
Где огнь твой лютый свирепел...
Явилось зрелище ужасно,
Покоя, жизни злой предел!
Свирепы ветры там ревели
В ущелинах кремнистых гор,
Вдали сквозь мрак огни горели,
И призраки страшили взор.

Всё поле пепел покрывает,
Без листьев лес вдали стоит,

Повсюду взоры поражает
Громад обрушившихся вид.
Стадами враны с криком страшным
Мозги терзают в черепах,
И с воем ветров преужасным
Стон слышен съединен в лесах.

Луна сквозь тучи смотрит черны
На поле ужаса и бед;
Узрев убийства неиссчетны,
Бледнеет, кроет в мраке свет.
Там кровь меж трупами волниста
Течет, как шумная река,
От ней леса, гора кремниста
Краснеются издалека.

Там страшны вои раздаются
Голодных по зарям волков,
Стада близ мест сих не пасутся,
Не слышны песни пастухов.
Там всё презренно, в запустенье,
Всё кажет смерти, страха храм,
И ты, душ слабых ослепленье,
Ты, злато, в прахе тлеешь там!

А здесь громады вознесенны
Мечей, отломки копьев, стрел,
Во рвах глубоких погребенны,
Остатки видны медных жерл.
Из-под металлов, в пыль истертых,
Еще огонь бледнеющ зрим,
И из развалин, камнем спертых,
Еще взвивался черный дым.

Как бурным ветром низложенны,
Грядами дерева лежат,
Так вдруг перуном пораженных
Героев виден тамо ряд.
Иной, пронзенный, в прахе стонет,
Другой, сражен, там в ров летит,
Иной в огне свирепом тонет
И мщением еще грозит.

Внезапной молнией сраженный,
Здесь труп трепещущий в пыли,
Там руки, череп раздробленный,
Рассеянные по земли...
Могила дерзости и буйства,
Тиранства, злобы, слепоты!
Почто в свирепых страха чувства,
Почто вселить не можешь ты?

Иной, занесши меч средь бою,
Не мог удара довершить:
С оледеневшею рукою
Ужасный меч в крови лежит.
Тот, свержен со стены кремнистой,
На части камнями раздран;
Над ним виется пар волнистый,
Из теплых исходящий ран.

А там во трупах погребенный
Еще являет жизни свет,
Кровавый меч, во грудь вонзенный,
Выходит у него в хребет.
В болезни руки он ломает,
Железо ярое грызет,
Жизнь, мук лишь чувство, проклинает
И люту смерть к себе зовет.

Тот стрелы, пули смертоносны
Руками с телом вырывал,
Терпя мучения несносны,
Зубами скрежетал, взывал:
«Почто, о смерть, разить коснеешь!
О странник! коль в душе твоей
Ты любишь ближних и жалеешь,
Жизнь прекрати мою скорей».

Иной, скользя в крови, влачился,
Меж трупов брата он искал,
В груди вонзенный меч дымился,
Но сердце злейший меч терзал,
Любезный брат его сраженный —
Всей горести его виной:

Он хочет, в жизни сопряженный,
В могиле с ним лежать одной!

Нашел, близ брата стал и снова
Кровавый меч в себя вонзил;
Упав близ трупа дорогого,
Спокойно вежди он смежил.
Как будто брата познавая,
Стон издал хладный труп тогда!
Едина кровь, их омывая,
Един растит им лавр всегда.

Супруга нежная, злосчастна,
В мгле бродит с факелом одна,
Как призрак или тень ужасна,
Томна, отчаянна, бледна,
Повсюду взоры обращает;
Ни мрак, ни ветр не страшен ей,
С спокойством смертным пробегает
По грудам тлеющих костей.

Близ трупа вдруг окровавленна
Остановляется, дрожит,
И се, как громом пораженна,
На хладный труп она летит.
«Ты здесь, ты здесь? — она вещает. —
Ты мертв? возлюбленный супруг!» —
Ужасна горесть прерывает
Ее слова и чувства вдруг.

Супруг на глас супруги нежной
Померкшие глаза открыл
И, обратив к своей любезной,
Опять навеки затворил.
В лед перси, длани превратились,
И на трепещущих устах
Его слова остановились.
Он кончил жизнь драгой в очах.

«Ты умер! мне, и мне, несчастной,
С тобою равная судьба!» —

Рекла, — и, меч из ран ужасный
Извлекши, вдруг разит себя.
На труп супруга упадает,
В смешённой плавает крови.
Тут время памятник являет
Геройства, верности, любви.

А тамо матерь изумленна
По грудам мертвых тел бежит;
В руке глава окровавленна,
В другой кровавый меч блестит.
«Ах! если б я могла, — вещала, —
Злодею мой урон отмстить,
То сим мечом бы доказала,
Как может мать детей любить!»

Толиких зол война виною!
Но кто нисходит там с небес,
На место смотрит страшна бою
И проливает токи слез,
В руке несет венцы златые,
Бессмертья книгу растворив,
В ней пишет имена святые,
Прославленны средь страшных битв.

Се ты, любовь, любовь священна
К отечеству, к его сынам,
Усердьем, верою возжженна,
От горних мест нисходишь к нам!
Сошла! — и мраки осветились
Блистанием лучей твоих;
Герои в небе просветились,
И возгремела слава их!

<1796>

ВЕЧЕР

Уж день бледнеющий скрывался
В багряных западных странах,
И мрак струями разливался
На голубых небес полях.

Почили бури, ветры рьяны
На лоне бездн, в утесах гор;
В морях волнуясь злато-рдяных,
Являл багровый вечер взор.
С светилом кротким дня прощаясь,
На грудь Морфея опираясь,
Во исступлении драгом
Природа нежная молчала,
Под кровом тишины дремала;
И я, простившись с быстрым днем,
С заботой алчной, суетами,
Иду кровавый пот омыть,
Горяще сердце прохладить
Покоя сладкого струями.
Иду под тихий, низкий кров,
В мое жилье уединенно,
Где дружба, простота, любовь
Готовят счастье мне священно.
Не роскошь, низких душ кумир,
Не сонм утех, забав презренный,
Не сладкогласны тоны лир
Мои днесь члены отягченны
К покою будут призывать:
Улыбка дружества усердна,
Спокойна совесть, чиста, верна,
Мой рай, моих веселий мать.
Весна прекрасною рукою
Дерновый одр украсит мой,
Труд дневный позовет к покою.
Души моей тиран презлой,
О скука, фурия надменна!
Ты в час сей будешь умерщвленна,
Иссякнет яд твой для меня!
Но, ах! когда вещаю я!
Почто горячие ручьями
Стремятся слезы из очей
И сердце томное с словами
Трепещет во груди моей?
Сие ли признак счастья, свойство?
Таков, таков ли мой покой?
Терплю в день муки, беспокойство,

В ночь плакать я иду домой,
В поту, в трудах, в заботах страшных
Мне днем скучает солнца свет;
А ночью сон в мечтах ужасных
Мой скорбный дух терзает, рвет;
Что ложе кроткое, смиренно
Мое, слезами омоченно,
Сие ль завидный жребий мой?
И что ж тоски моей причина?
Ах, мысль о родине драгой,
Несчастий горестных пучина,
Протекшие златые дни,
Друзей возлюбленных лишенье —
Вот лютое мое мученье!
Вот скорби лишь мои одни!
Шлем юности с меня срывая,
Железны узы налагая,
Мне время грозно говорит:
«Ты в свет вступил! терпи несчастья
И бодрствуй в бурные ненастья,
Лей слезы, рвись, так рок велит.
Склони хребет забот под бремя,
Ищи ты редко счастья семя
И на своей земле взращай,
Себя и бурный свет познай!»
Какой урок, судьба, премена
Для нежных молодых сердец,
Для коих юность драгоценна
Была щит, мир, краса, венец!
Для коих радость усмехалась,
Природа нежна улыбалась,
Для коих жизнь — приятный сон,
Которы в сладком упоенье,
В блаженном, ангельском забвенье
Не знали к счастию препон;
Не знали, что и их мечтанье
Когда-нибудь пройдет, как дым,
И что их милое стяжанье,
Беспечность, улетит за ним?
Но, ах! Сатурн свирепый, страшный
Разит! — и под его косой

Трещит столетний дуб, ужасный,
И розы вянет жизнь драгой,
И яры бездны исчезают,
И малы реки иссякают;
Разит, ломает, рвет — и младость,
И наша младость так, как цвет,
Поблекнет, вянет, пропадет;
Исчезнет мир, спокойство, радость.
Угрюма осень жизни злой,
Шумяща влажными крылами,
Лазурный горизонт над нами
Покроет скучной, томной мглой.
Ревущи тучи бед ужасных
Примчит к нам время на крылах,
Примчатся к нам заботы алчны,
Чтобы терзать в своих когтях.
Тогда-то случай дерзновенный
Сорвет завесу с наших глаз,
И в новый свет, нам неизвестный,
Введет противу воли нас;
Введет! — и роза, цвет прекрасный,
Расти уж будет на песках,

И смертный, слабостью злосчастный
Свой строит храм — на суетах!
И я спокойством наслаждался,
И для меня весна цвела,
Невинной радостью питался,
Природа мой покров была.
Красой своей меня пленяя
И тьмою уст ко мне вещая,
Была учитель первый мой;
Трясуща небеса громами
И море покрывая мглой,
Вещала будто бы словами:
«Смотри, вот сила, власть моя!»
Иль пламенны дожди лия,
Иль бурных вод расторгнув цепи,
Иль ветров льдистые заклепы,
Или в грудях кремнистых гор,
В кипящих адом безднах мрачных,
Между стихий свирепых, страшных

Всесильным перстом движа спор,
И, вдруг раздрав гранитны скалы
Иль взбросив горы к облакам,
Горящие рекой кристаллы
Из жерл проливши по лугам,
С ужасным треском, шумом, громом
Свершала казни над Содомом,
Трясла от страха тьму веков —
Вот месть против моих врагов!
С ударом долу повергался
И прах слезами растворял,
С ударом чтить добро я клялся
И мстящу руку лобызал.
Мой глас по рощам раздавался,
Природы в недрах отозвался,
И мой закон запечатлен.
Святая кротка добродетель,
Спокойства нашего содетель!
Тобой одной я был пленен:
Сколь мог — хранить устав твой тщился,
Где падал — слабость признавал,
Другого осудить страшился,
Простя себя — другим прощал.
Мне жизнь была — цепь услаждений,
А ты, возлюбленна страна,
Небесных образцом селений,
Была ты раем для меня!

Но, ах! всегда ль луга пестрятся
Цветами нежныя весны?
Всегда ли дерева гордятся,
В зеленый цвет облечены?
Не часто ль час иль миг единый
Труд рушит множества веков?
И ежели Сатурн несытый
В плачевный, мрачный вид гробов
Преобращает горды стены
И царства, славой вознесенны, —
То храмик счастья моего,
На бурном море утвержденный,
Из ломка льда сооруженный,
Возмог ли снесть удар его?

Воззрел! — строенье затрещало,
Подвиглось, развалилось, пало,
Всё случай злой с землей сровнял,
И я — как будто счастлив вечно
На свете здешнем не бывал;
Иль будто в сне я скоротечном
Мечтал о днях драгих, златых,
Проснулся и — уж нету их.
Луч юности драгой, прекрасной
Исчез тогда передо мной,
В пучине некоей я мрачной
Бродил чуть с блещущей свечой;
Там страсти лютые, несметны
Змиев под видом разноцветных
Шипели, ползая в цветах;
В лазурных блещущих огнях
Мне мира суеты блистали,
Влекли к себе, меня пленяли,
И, ах! угодно так судьбам,
Я плену их поработился,
Не внял родительским слезам,
Друзей оставил — удалился,
Летел за льстивою мечтой,
Летел и не владел собой.
Увы! кто мог сопротивляться
Движеньям сердца своего?
Кто с сердцем мог своим сражаться?
Я мучусь, рвусь и — чту его!
Оно влекло меня всей силой
Досель из родины драгой;
Теперь и в сей стране постылой
Уж мучит, рвет мой дух тоской.
Уже трекратно здесь цветами
Пестрились горы и луга,
Трекратно дерева плодами
И муравой цвели брега.
Но в общей радости согласной
Не мог участвовать мой дух:
Древа, цветы и воды ясны —
Всё мрачно зрелось мне вокруг.
Печаль, что сердце мне снедала,
Казалось, весь пространный свет

Собой наполнив, помрачала.
Вот грусти моея предмет!

Священна тишина, спустися!
Простри свой жезл в поля, в луга!
Пусть сном вселенна осенится,
Престанут волны бить в брега!
Умолкнут бури разъяренны,
В утесах гор запечатленны.
Пусть всё под сенью рук твоих
Заснет на лоне безмятежном,
Пусть всё, кроме лишь мук моих!
На столп опершись безнадежный,
Что силен потрясти зефир,
Могу ль иметь я в сердце радость,
В унылой жизни — прежню сладость,
В душе смущенной — тихий мир?
И сон, несчастных утешитель,
Отрада всех, благотворитель,
И сладкий сон от глаз бежит,
Светящих теплыми слезами,
И между гордыми стенами
Любимцев счастия блажит.
Я не хочу их пышной доле
Отсель завидовать отнюдь:
Судеб покорен сильной воле,
Сношу их дар — их грозный суд,
Они беды ко мне послали
И вместе утешеньем дали
Мне слезы, силы рассуждать.
О вечер сладостный, прелестный!
Под сению твоей любезной,
Оставив шумный, скучный град,
Когда на лоно сна склонится
Воззванный царь светил тобой,
Мой дух смущенный устремится
В пределы родины драгой.
Тут вспомню о друзьях я милых,
Об матери, отце моем
И в мыслях мрачных и унылых
Вздохну — и горьких слез ручьем
Я чувства сердца обнаружу.

Ты во цветы вливаешь душу,
Во перлах слез, в росе живой:
Я током слез моих омою
Растерзанную грудь тоскою,
И оживлю в ней — мир драгой.

<1797>

РОСС

Се, мощный росс, одеян славой,
В броню стальную и шелом,
Опершись на Кавказ стоглавый,
Стоит, в руках имея гром.

Дремучий лес и холм кремнистый
Под тяжкою пятой трещал,
И океан свирепый, льдистый
Другую ногу лобызал.

Стоит — и светлый взор вперяет
России в недра дорогой,
Где мир и счастье процветает,
Его ограждены рукой.

Он внемлет радостные клики
Усердных отчества детей;
Он видит восхищенны лики,
Поющи радость мирных дней.

Геройска, тверда грудь мягчится,
Слеза из глаз его катится,
В восторге он перун трясет:
«Кто мир нарушить их дерзнет?

Я грудь кремнистую поставлю,
Подвигнусь — и весь свет заставлю
Пред взором трепетать моим!»
Изрек — эгид свой преклоняет,
Им всю Россию осеняет,
Как будто облаком златым.

<1797>

ГЕНИЙ ДРУЖЕСТВА

О гений дружества священный!
О услажденье наших дней!
Друг мира, гений вожделенный,
Услыши глас души моей!

Ты к смертным, зол во облегченье,
Снисшел с превыспренних небес;
Влил в души к тишине стремленье
И дружество меж них вознес.

Твой храм стоял с начала мира
На вечных крепостью столбах;
Как в чистом кристалле́ эфира,
Ты пастухом сиял в сердцах.

Вкруг света скиптр сей обращая,
Стихий ты споры прекращал;
На миртах нежных возлегая,
Ты агнца с тигром примирял.

Тобой блаженство возрастало
В златой, счастливый оный век.
Но, ах! всегда ль оно сияло?
Всегда ль был счастлив человек?

Сошла свирепая Беллона,
Брань в мире страшна началась;
И твоего на месте трона
Кровь смертных злобных пролилась.

Раздор, соперник твой ужасный,
Кроваво знамя вдруг развил,
Потряс — возжег огнь брани страшный,
Бедами злобу воружил.

Восстал свирепый брат на брата,
Цепь дружества, родства всяк рвет.
За что ж? пленились блеском злата,
Порокам устремились вслед.

Кто злобы пламенник ужасный,
Кто может в свете угасить?
Довольство, правду, мир прекрасный
Кто может в мире водворить?

Тебе, тебе, о гений мирный!
Победа лавры отдает.
Ты сшел — и глас твой кроткий, лирный
Рассеял мрак, дал видеть свет.

И может ли в печальной дебри,
Тебя презрев, жить человек?
Как туч громады в атмосфере,
Беды мрачат его весь век.

Но ты печали услаждаешь,
И в самом бед и зол жерле
Его покоишь, утешаешь
В час смерти и в темничной мгле.

Тобою друг, нам подаренный,
Советами от бед хранит;
И, сердцем с нами сопряженный,
На саму смерть за нас летит.

И скорбь, и радости до гроба
Друзья делят между собой;
Один в бедах — страдают оба,
Один блажен — блажен другой.

Да будет дружество священно!
И, добродетели лучом
Небесным, чистым озаренно,
Да будет славно в мире сем!

А ты живи всегда меж нами,
Любезный гений, дружбы бог!
Златыми облистав лучами,
Вводи ты смертных в свой чертог.

<1798>

МОЕ УТЕШЕНИЕ

Среди трудов, забот всечасных,
Чем рок меня обременил,
Возможно ль, чтоб, места прекрасны,
Я вас когда-нибудь забыл?

Места возлюбленны, священны!
Вы слышали мой первый глас,
Век счастья, радости блаженный,
Век юности протек у вас.

Почто, прешедши горы снежны,
Почто и ныне не могу
Упасть родных в объятья нежны
И скорбь забыть друзей в кругу?

Конечно, милых взор возможет
Мне утешенье принести,
А здесь меня скорбь люта гложет,
И нет, кто б мог меня спасти.

Нет, нет, — и я терзаться должен,
А там — окончить век мой злой;
Но где предел сей мне положен?
О мысль! не мучь мой дух собой!

Быть может, и сие мгновенье
Меня со светом разлучит;
Последний вздох и помышленье
Во гроб со мною заключит.

Быть может, ночь сия началом
Спокойной, вечной ночи мне,
И острым люта смерть кинжалом
Меня сразит в сладчайшем сне.

Быть может, что я день прелестный
Не встречу завтрашний еще;
Чрез час мой будет друг любезный
Уже искать меня вотще.

Вотще, — и гроб мой не омоет
Никто, никто слезой своей,
Земля чужая кости скроет
Далеко от родных костей.

А вы, родители любезны,
Вы сына будете мечтать
В живых, — когда уж члены тленны
В сырой земле начнут сгнивать.

Когда ж свирепый случай, страшный,
Вам весть печальну принесет,
Увы! и сын, и сын несчастный
Вам тяжку рану нанесет.

Сын, ложным блеском ослепленный,
Что слезы ваши, скорбь презрел,
Презрел объятья ваши нежны
И призраку вослед пошел.

Пошел, мечтой прельстясь, пустился
Еще от самых юных лет;
Почто ж? — чтоб с светом подружился
И испытал тьму новых бед.

Где, где вы, замыслы надменны,
Надежды якорь, счастья луч?
Исчезли, как при солнце темны
Вдруг исчезают горы туч!

Исчезнет всё с тобой, несчастный!
И что ж!.. родители! друзья!
Увы! и за труды всечасны
Ничем не заплачу им я!

Они в бедах — ты не поможешь,
И членов дряхлых, что тебя
Носили, — ты понесть не можешь,
Покоя старость и любя.

К чему ж вы, тщетный труд, науки,
Для коих столько бед терпел?
К тому ль, чтоб большие лишь муки
От просвещенья приобрел?

К тому ль, чтоб кротких муз в соборе
Я слезы беспрестанно лил?
Чтобы, как бурь крутых в раздоре,
В страстях противных век губил?

Излейте ба́льзам благовонный,
Излейте радость, мир, покой
В мои ослабши чувства, полны
Болезни, скорби едкой, злой.

Вы всё мое богатство в мире;
В вас чту себе своих друзей!
В тебе, возлюбленнейшей лире,
Отрада вся душе моей!

<1798>

СТИХОТВОРЕЦ

В небесном стиходей жару
Средь сада, под дождем, на тягостном ветру
Писал гремящу оду
Противу времени, на ветры, непогоду,
Писал, гремел, разил, не слушал никого,
Кто смел напоминать о здравии его.
Но что же наконец? — Огонь весь погасился.
Наш пламенный поэт внезапно — простудился,
Зубами он скрыпел, с пером в руках дрожал.
Тогда кричат ему другие:
«Вот плод, что ты презрел советы их святые!» —
«Молчите, — наш в ответ герой им проворчал, —
Как можете винить, не зная прав поэта?
Он должен своего исполнен быть предмета!»

<1798>

К УРАЛУ

Атлант! сын Норда знаменитый,
Держащий росски небеса,
Венцом столетних сосн покрытый,
Твои пою я чудеса!
Пою, смотря с благоговеньем
На вид твой, страшные красы,
Туда, где бурный дух с почтеньем
Твои коричневы власы
Колеблет и играет ими,
Где молньи огненной струей,
Обвившись вкруг главы твоей
Иль крыльями покрыв своими,
Вниз стелются по раменам;
И, от кремня скользя, стремятся
К плывущим свыше туч горам,
Громовы где трубы вторятся
По скалам, безднам и в лесах;
Где грудью ты своей стальною
Стремленье ветров хладных, зною,
Как некиим щитом в боях,
Метели, бури препинаешь,
Об кремнь их жалы притупляешь.
Герой! великий исполин,
Которого стопы лобзают
Вайгат серебрян и Хвалын;
На плечах бури полагают
Колеса пламенны громов,
Ты Норда друг, твердыня, кров!
В тебе ему от век хранится
Сокровища Перу тобой,
Коль с светом хочет он сразиться
И потрясти вселенной всей,
Ты сизый гром ему вручаешь,
Доспехи пламенны куешь,
Броней стальной вооружаешь,
Сам с смертью вслед ему идешь!
Где, где сторуки великаны,
Трясти кто небо россов мнит?
Не ложны, слабые Вулканы
Готовят громы нам и щит;

Росс скажет — и высоки горы
За ним против врагов пойдут,
Из медных уст своих соборы
Смертей и ужасов прольют.
Речет — и вдруг Рифей кремнистый
В пучины скатится морей
И между гор на Норде льдистых
Чело поднимет, как трофей;
И слава из зарей там бледных
Венец ему блестящ сплетет.
Восторг! .. хор муз, в нем водворенный,
Его Парнасом назовет!
И сосны мрачные, высоки,
Жилища хищных птиц, зверей,
Тогда испустят блеск лучей;
Пермесски оживят потоки
Распространенны корни их.
Там, с музами Орфей гуляя,
Приятным звуком струн своих
В них силу чувства возбуждая,
Бессмертный восстановит хор
И славу Норда непременну,
Какой не зрел времен собор,
К звездам взнесет — векам священну.
Повесив лиры там, певцы
На ветвях древ, как к Геликону,
Вселенной соберут концы
Внять чистой мудрости закону.
Так, так златой судьбы резец
На дске предначертал алмазной!
Урал! свершение чудес
Мы зрим, мы зрим в сей век прекрасный —
Зерцало вечной славы ты!
Твои заслуги драгоценны,
Богатство, крепость красоты
Не смею петь я исступленный,
Внезапным блеском осиян,
Молчу и повергаю лиру!
Тебя хвалить — есть славить миру
Известну мочь уж россиян!

<1798>

ЛАУРА И СЕЛЬМАР

Сурова бездна в мгле кипела:
На ска́ле в горести, в слезах
Лаура бедная сидела,
И ветр играл в ее власах.

С желаньем пламенным и нежным
По морю взор ее блуждал;
Над ней, колеблясь стеблем слезным,
Ее тростник там осенял.

«Двенадцать лун прошли унылы!
О грусть! столь многих яд годов!
Почто, почто, жестокий, милый
Вверялся ярости валов?

Творец! смири морей волненье,
Раздор вод бурных утуши!
Ах! что сих грозных волн сраженье
Против борьбы моей души?

Иль ты, природа, сотворила
Лишь смертного ко злу, к бедам?
К богатству страсть в него вложила:
Идет — и смерть находит там.

Велишь — томится он, копает
Для злата камней под землей;
В сокрытых пропастях вдыхает
Болезней семена, смертей.

Плывет для пыли лишь блестящей
Голконды, Фолты до брегов,
Чтобы в степи, песком горящей,
Быть пищею гиен и львов.

Когда ж, премогши всё, стремится
В восторге чувств к родным своим,
Тут камнем судно раздробится:
Погиб он сам — и злато с ним.

Он слабость в пище принимает;
В вине он разоренье пьет;
Смерть в камне мудрых обретает;
В лекарствах тленность внутрь берет».

Так без отрад она стенала
О горестной любви презлой:
Ломала руки, грудь терзала,
На бездну взор простерши свой.

Там зрит, — о боже! — волны страшны
Вновь с ревом воют в берегах,
И в мраке некий труп несчастный
Несут чуть виден на хребтах.

«Се он, — вопит, — се друг мой нежный!
Я сердце ввек дала кому,
Чьим я владеть желала вечно!
То Сéльмар! — он! лети к нему!»

Рекла, стремится вниз со скáлы,
На труп упала, обняла;
Согревши хладны члены, вялы
Лобзаньем — дух свой излила.

<1798>

СЛАВА

Хор

Славу, матерь лир священных,
Душу подвигов бессмертных,
Славу, россы, призовем!
Песнь всемощной воспоем!

Под ее благой звездою
Росс родился, возрастал;
Росс-младенец царств судьбою
У груди ее играл;
Росс-герой ее знамена
Через темно поле бед
Перенес, восстал из плена
И потряс надменный свет;

Росс благий, великосердый,
Заключив уста громов,
Простирает щит свой твердый
На друзей и на врагов.

Хор

Слава, божество вселенной,
Гений россов неизменный,
Слава, с нами ввек живи!
Славы огнь, теки в крови!

Слава с вечностью родилась,
В ней носился божий дух!
Славой временность раскрылась,
Как цветок прозябший вдруг!
Первый глас творца: «Да будет!»
Отголосок славы: «Бысть!»
Чувство чувства спящи будит,
И хвалебный мир гремит;
Жизни первое движенье —
Славословие творца!
Первое души стремленье —
Славословие отца.

Хор

Дивен бог, творец вселенной,
Силой, мудростью священной,
Дивен благостью даров,
Дивен славой в век веков!

Ею блещут и живятся
Все творенья на земли,
Горы всходят и дымятся,
Превращаясь в алтари.
Как кадильницы природы,
Холмы дышат перед ней,
В лоно бисерное воды
Ловят блеск ее лучей;
Древний бор в благоговеньи
Движет старческой главой,
И в священном исступленьи
Говорит с самим собой...

Хор

Горы, холмы и дубравы,
Повторяйте имя славы!
Слава светит в тьме пустынь,
Дышит в недрах скал, стремнин!

В радостном весны сияньи
Мир улыбку славы зрит;
Лета в пламенном дыханьи
Слава блещет и гремит.
В бурях осени смущенной
Ниспускается она
И в снегах зимы надменной
Льет на тварь утехи сна;
Царство светлое пернатых
В славе чтит царицу, мать;
Слон и червь, от глаз изъятый, —
Носит всё ее печать.

Хор

Славьте славу, тварей хоры,
Мир стихий, стихий раздоры;
День и ночь, ее красой
Обновляйте образ свой.

Не она ль душа движенья
В чудной ма́шине миров?
Ею бьется пульс творенья
И текут ряды веков.
В безднах света неизмерных
Веет сильный славы дух,
Солнца, им одушевленны,
Составляют братский круг.
В мир из мира льется, блещет
Чувство в пламенных лучах,
И вселенная трепещет
В гармони́и и хвалах.

Хор

Сад созданий бесконечный,
Процветай любовью вечной!
Боже дивный твари всей,
Царствуй славою своей!

Но — увы! — восторг напрасный!
Что здесь вечно? Всё пройдет!
Час ударил! Солнце красно,
Как увядший цвет, падет!
Глас творений умирает
В разрушительных громах.
Смерть триумф уготовляет.
Стой, исчезни, ада страх!
Ободритесь, славы чада!
Благость! Доблесть! Правота!
Не умрет для вас награда,
Слава с вами завсегда!

Хор

Кто имеет сердца силы,
Пре́зри ложный страх могилы.
Нет ни в чем преграды нам!
Мы решились! Слава там!

Там, где гений испытаний
Младость робкую ведет
По стези скорбей, страданий;
Фемистокл где, в цвете лет,
Узы страсти и покоя,
Окропленны током слез,
Тени мудрого героя
В жертву славную принес;
Там, где рок скупой и злобный,
Побежденный наконец,
Отдает на доске пригробной
Нам победу и венец.

Хор

Прочь, призра́ки горды мира!
Онемей, сирены лира,
Злато, в прахе истлевай,
Нам бессмертья светит рай!

Посмотрите... Злоба блещет
Над жилищем тишины!
Мир вздремавший встал, трепещет:
Видит зарево войны!

Молний яркими цепями
Скован, стонет неба свод!
Провождаема смертями,
В бурных вихрях брань течет;
С нею ужасы дрожащи,
Самолюбье, месть, разврат
Сыплют факелы палящи
В зрелый мира вертоград.

Хор

Дети славы, пробудитесь,
Встаньте, встаньте, ополчитесь,
К вам отечество гласит,
Брань вокруг вас, брань горит!

Грады мирные пылают,
Страждет дружба и любовь;
Цепи доблесть отягчают,
И течет по нивам кровь!
«Кровь сожжет железо плена,
Кровь да смоет рабства стыд!»
Старость ищет, оживленна,
Обгорелый шлем и щит,
Храбрость мирты разрывает
Ржавым, радуясь, мечом,
Праздность праздный оставляет,
Слабый стал богатырем!

Хор

Дети славы, ополчитесь,
В крепость, в силу облекитесь,
Честь, блаженство — ваш венец,
Истребись, раздор, вконец.

Да погибнут брани бранью,
Марс гремит стальным мечом;
Рдяно-огненною дланью
Ярость кроет буйный сонм.
Брат не видит в брате брата,
И отец забыл детей;
Треск оружий, гром — отрада
Кровожаждущих зверей.

Им предходит мщенья пламень,
Славы знамя впереди;
Огнь во взорах, в сердце камень, —
Человечество, прости!

Хор

Мщенье, мщенье! гром за громом!
Буря с бурей! сонм за сонмом!
Лавр! — победа! — цвет побед
Вырвем мы из адских недр!

«Стойте, пламенны герои,
С вами бог! средь вас любовь!» —
Ангел рек: умолкли бои,
На мече застыла кровь!
Чада брани исступленны
Гнев и милость кажут вдруг;
Брань бежит со страхом в бездны;
Озарился неба круг;
Тихих зе́фиров в дыханьи,
В благодатном громе лир,
Золотых зарей в сияньи
К нам нисходит горний мир!

Хор

Мир прелестный, мир, друг неба,
В ад низвергни дщерь Эреба,
Укротися, сонм зверей,
С нами мир! здесь хор друзей!

Обручен с святой победой,
Как с невестою жених,
Мир идет, герои следом
И гремящий бардов лик.
Старец поднял слабы руки
Милых чад благословить;
Там объемлются супруги,
И не могут говорить;
Отрок отчий меч лобзает;
Дева робкая, стыдясь,
Лавр героя прижимает
К сердцу, кроющему страсть.

Хор

Шествуй к нам, триумф священный,
От небес благословенный,
Царствуй, мир, во всех странах,
Царствуй славы ты в лучах!

Он идет, и всё играет,
Рай цветет вокруг него;
Радость, счастье осеняет
Светлым облаком его.
Правда вечная клянется
Украшать его алтарь,
Океан богатством льется,
Принося ему свой дар;
Изобилие благое
Ниспустилось на поля;
И в веселии, в покое
Обновилась вся земля.

Хор

Дети славы, веселитесь,
Здесь, на лаврах, преклонитесь
У любови на руках,
Громы, спите на цветах!

Нет! Мы славы недостойны;
Не горит ли кровь на нас?
Не бегут ли вслед нам стоны,
Побежденных жалкий глас?
Не на трупах лавры зреют;
Клятвы в гробе загремят,
И триумфы помертвеют;
Слава горький, смертный яд
Грозной, мстительной рукою
Подает врагам людей.
Чада славы! слез рекою
Смоем кровь с своих мечей!

Хор

К нам в объятия летите,
Всё забыто! нас простите;
Не враги вы нам, — друзья!
Будьте счастливы всегда!

Мы одно составим племя
Всем нам общего отца!
Райского блаженства семя,
Нам любовь влита в сердца.
Нас любовь да прославляет,
Нас любовь да просветит;
Из лучей любви сплетает
Нам бессмертье новый щит.
Музы, жертвы принесите
Доброй славы на алтарь!
Небеса, благословите
В нас любви священный жар!

Хор

Процветайте, дни любезны,
Дети Фебовы прелестны,
Возвышайся, мирный край,
Рай в сердцах, в природе рай!

Правда, будь всегда началом
Всякой мысленной черте!
Будь пылающим зерцалом
Лести, злобе, клевете!
Твердость, в муках возрождайся,
Доблесть, в бедствах созревай,
Благость, благом увенчайся,
Верность, в гробе не сгнивай,
Месть, прощеньем усладися,
Руку, падший друг, прими,
Человечество, проснися
И права свои возьми.

Хор

Слава, гений добрый, сильный,
Сохрани союз наш мирный,
Трудный путь нам освещай
И бессмертьем нас венчай.

Озаряй благим воззреньем
И шалаш, и храм златой,
Улыбайся при рожденье
И вдыхай в нас пламень твой.

Близ невинности несчастной
Ты невидимо пари;
Над заслугою изгнанной
Луч отрадный распростри!
В недрах дружбы благотворной
Ты любимцев утешай
И в темнице нас позорной,
И в час казни укрепляй.

Хор

Сильный, светлый гений смертных,
Спутник доблестей священных,
В самом образе смертей
Буди нашей ты душей!

Каждо сердца в нас биенье
Славе бога посвятим,
Наша жизнь ему — хваленье,
Наша смерть ему есть гимн.
На одре скорбей, болезни
В сердце мы найдем бальзам,
И во взорах смерти слезных
Улыбайся, вечность, нам.
Цвет веселья, терн печали —
На алтарь любви отцу.
Мы добро, мы зло видали:
Слава богу и творцу!

Хор

Славьте бога все языки!
Милость вышнего владыки
На земли и в небесах
Славься в праведных душах!

Ободрись, гнетомый злобой,
Слава смертным суд дает,
Сеет клятвы злых над гробом,
Язвой память их гниет!
Но в алтарь преобращает
Аристидов гроб простой;
Цвет бессмертья развивает
Под гробо́вою доской;

[illegible]

+ [illegible]
[illegible]
+ [illegible]
+ [illegible]
+ [illegible]
+ [illegible]
+ [illegible]
+ [illegible]
+ [illegible]
+ [illegible]
+ [illegible]
+ [illegible]
+ [illegible]
+ [illegible]
+ [illegible]
+ [illegible]
+ [illegible]
+ [illegible]
+ [illegible]
+ [illegible]
+ [illegible]
+ [illegible]
+ [illegible]
+ [illegible]
+ [illegible]
+ [illegible]
+ [illegible]
+ [illegible]
+ [illegible]
+ [illegible]
+ [illegible]

Жизнь возбудит в прахе, в тленье;
Обескрылит времена;
Возгремит мирам: «Паденье!»
И речет им: «Вечность я! ..»

Хор

Ободрись, несчастный смертный,
Странник слабый, утомленный!
Там отец! .. там лучший мир...
Слышишь глас зовущих лир? ..

Стройтесь в хор, друзья любезны,
Дайте руки в час благой,
Славы в храм пойдем чудесный,
Смерть и ад попрем ногой.
Насладимся нашим маем,
Слава нас к себе зовет,
Посмотрите! светлым раем
Там отечество цветет.
Дети славы, обнимитесь,
Мы краса его и щит,
Фридрихи, Петры, проснитесь,
И вселенна рай узрит!

Хор

Славься, росс непобедимый,
Славы сын, герой любимый,
Славься, друг прямых доброт;
Славься, росс, из рода в род.

1799—1801

ОДА НА РАЗРУШЕНИЕ ВАВИЛОНА

Свершилось! Нет его! Сей град,
Гроза и трепет для вселенной,
Величья памятник надменный,
Упал! .. Еще вдали горят
Остатки роскоши полмертвой.
Тиран погиб тиранства жертвой,
Замолк торжеств и славы клич,

Ярем позорный прекратился,
Железный скиптр переломился,
И сокрушен народов бич!

Таков Егова, царь побед!
Таков предвечный правды мститель!
Скончался в муках наш мучитель,
Иссякло море наших бед.
Воскресла радость, мир блаженный,
Подвигнулся Ливан священный,
Главу подъемлет к небесам;
В восторге кедры встрепетали:
«Ты умер наконец, — вещали, —
Теперь чего страшиться нам?»

Трясется ад, сомненья полн,
Тебя сретая в мрачны сени,
Бегут испуганные тени,
Как в бурю сонмы белых волн.
Цари, герои царств прешедших
Встают с престолов потемневших
Чудовище земли узреть.
«Как? — ты, равнявшийся с богами,
И ты теперь сравнялся с нами,
Не думав вечно умереть».

Почто теперь тебе вослед
Величье, пышность не дерзает?
Почто теперь не услаждает
Твою надменность звук побед?
Ты нé взял ничего с собою,
Как тень, исчезло пред тобою
Волшебство льстивых, светлых дней.
Ты в жизнь копил себе мученье,
Твой дом есть ночь, твой одр — гниенье,
Покров — кипящий рой червей!

Высоко на горах небес
Светило гордое блистало,
Вчера всех взоры ослепляло,
Сегодня смотрят — блеск исчез.
Вчера смирял народы в страхе,

Смирен, сегодня тлеет в прахе!
Вчера мечтал с собою ты:
«Взнесусь, пойду над облаками,
Поставлю трон между звездами,
Попру Сиона высоты,

Простру повсюду гнев и страх,
Устрою небеса чертогом
И буду в нем всесильным богом!»
Изрек — и превратился в прах!
Идет сегодня путник бедный
И зрит в пустыне труп твой бледный,
На пищу брошенный зверям!
Стоит, не верит в изумленьи;
Потом в сердечном сокрушеньи
Возводит взор свой к небесам:

Не се ли ужас наших дней?
Не сей ли варварской десницей
Соделал целый мир темницей,
Жилищем глада, бед, скорбей?
Никто пред смертию не встанет!
Но память добрых не увянет!
Их прах святится от сынов.
Благою славой огражденный,
Слезами бедных оживленный,
Он спит в обители отцов!

Един твой труп в позор и срам
Лежит на грозном поле брани;
Земля последней бедной дани
Не хочет дать твоим костям.
Своей земли опустошитель,
Народа своего гонитель,
Лежишь меж трупами врагов,
Лишенный чести погребенья;
А там — свистит дух бурный мщенья
Против сынов твоих сынов.

Рази, губи, карай злой род,
Прокляты ветви корня злого;

В них скрыта язва, гибель нова,
В них новый плен для нас растет!
Всесильный рек: «Я сам восстану,
Приду, оденусь в бури, гряну
И истреблю всё племя злых.
В градах их звери поселятся,
Их земли морем поглотятся,
Погибнет с шумом память их».

Изрек! — и свят его обет,
И вечно нерушимо слово!
Изрек! — событие готово!
Израиль! — лести в боге нет!..
Егова сломит рог тиранства
И узы тягостные рабства
Огнем и кровию сожжет;
Поднимет руку над вселенной,
И — кто удержит гром разжженный,
Кто с богом брани в брань пойдет?

Март—апрель 1801

ПИСЬМО ВЕРТЕРА К ШАРЛОТЕ

Средь младости моей судьбою угнетенный,
Твоею красотой, Шарлота, пораженный,
Слезами я к тебе пишу, мой милый друг!
Пока не кончит смерть моих ужасных мук,
От прелестей твоих лишившися покою,
Хочу в последний раз беседовать с тобою.
О ты, которой взор мне в сердце яд излил,
Шарлота! Некогда и я счастливым был.
Пленяясь льстивою, приятною мечтою,
Блаженство *издали* я видел пред собою! —
Надеясь, нашего союза ожидал;
Моею я тебя в восторге называл...
Тогда, безбедственным мой пламень почитая,
Всечасно милую свою воображая,
Тебе в душе моей алтарь соорудил,
Там богу моему я жертву приносил.
Природа пред тобой красы свои теряла,
Я целый свет забыл — душа тебя вмещала...

В моем мечтании я весел, счастлив был
(Коль может счастлив быть, кто пламенно любил).
Мой друг! Я б для тебя пожертвовал собою,
Я б пролил кровь мою для твоего покою,
И благом бы небес я смерть свою считал...—
Какой мрак истину от глаз моих скрывал?
Каким прелестным сном любовь меня пленяла
И день от дня мой ум сильнее ослепляла?
Но я был пробужден зарей сих страшных дней.
Хоть <ты> была вольна еще в руке твоей,
Судьба, твой долг, тебе супруга назначала
И у меня навек надежду отнимала.
Альберт готовился — рука моя дрожит,
Хладеет кровь во мне, из сердца вздох летит.
К Альберту ненависть невольно я питаю,
Прости мне! — я себя, Шарлота, обвиняю.
Конечно б, я его врагом не должен чтить:
Он зла мне не желал, хотел мне другом быть!
Но он пленен тобой, но он тебя имеет, —
Сего ему простить твой Вертер не умеет.
Тогда, надеяся, почто я не взирал,
В какие пропасти повергнуться искал!
Всегда ужасный рок надеждой ослепляет,
Когда он смертного карать предпринимает,
И редко сей мечты избегнет человек,
Я был виновен — час; несчастен — целый век...
Моя вина вся в том, что сердце нежно было,
Что милую оно, как милую, любило,
Что я тебя, мой друг, невольно обожал!
За что меня так рок ужасно наказал?
Неужели и он имел предрассужденья
Чтить злодеянием минуту заблужденья?
Когда узрел тебя, всемощною рукой
Возжегся огнь любви в душе моей к драгой,
Я вольность потерял, Шарлотою пленился,
Своими узами, мой милый друг, гордился.
Ах, мог ли я тогда противиться тебе,
Противиться любви, глазам твоим, судьбе!
И небо, что тебя прелестной сотворило,
Которое меня быть нежным научило,
Которое меня к тебе всегда влекло
И цену красоте мне чувствовать дало,

Соделавшись моим участником в сей страсти, —
За что навек меня повергнуло в напасти?
Когда я следовал за факелом любви,
Когда пылал сей огнь небеснейший в крови,
Какой надеждою душа моя питалась?
Каким прелестнейшим блаженством наслаждалась?
Тебя увидел я, тебе всё посвятил,
И в чувствах я своих уже не властен был;
Наполненный тобой, тобою ослепленный
И льстивым счастием несчастно упоенный,
Себя и целый мир в любви позабывал,
Во всех предметах я тебя одну искал!
Одна ты для меня вселенну украшала;
Казалось мне, что ты природу оживляла;
Казалось мне, что ты и солнце золотишь,
Что ро́стишь <ты> цветы, что ты ручей сребришь,
Что от тебя одной лужочек расцветает,
Что взор твой, милая, и камни оживляет.
В блаженстве, в коем дни мои тогда текли,
И боги бы со мной равняться не могли;
Счастливее сих дней другие наступали,
Глаза твои тебе невольно изменяли
И ясно стали мне тот пламень изъяснять,
Который от меня хотела ты скрывать.
Хотя словами ты, мой друг! не подтверждала,
Что втайне к Вертеру ты страстию пылала,
Хоть сердце не могло ту должность позабыть,
Которая меня велела не любить, —
Красноречивым ты молчаньем объяснялась,
И с добродетелью страсть нежная сражалась:
Невольный часто вздох, невольная слеза
Твое смущение и томные глаза,
Что более всего нам сердце открывают,
Сильнее самых слов все чувства объясняют,
Мне изъявляли то, чего я так желал,
И каждый миг тогда весельем я считал!
Шарлота! наша жизнь прелестною казалась,
Судьба соделать нас счастливыми старалась,
Ты так же, как и я, нимало не ждала,
Чтоб наконец она к нам так строга была
И чтобы небеса наш пламень наказали,
Который мы в сердцах невинностью питали.

Но счастью смертного конец предположен!
Чем я счастливей был, тем больше огорчен,
Когда в объятиях прелестного мечтанья
Я спал, не видевши блаженству окончанья,
И, не внимая глас рассудка моего,
Восторгам волю дал я сердца своего.
Вдруг тучи мрачные вокруг меня скопились
И громы поразить несчастного стремились.
Я к браку твоему приготовленья зрю,
Альберт тебя влечет *невинно* к алтарю.
В сей день навек ты с ним, навек соединилась,
И беззаконной страсть святая учинилась.
С тех пор я вечный ад носил в моей крови
С воспоминанием несчастныя любви;
С тех пор с отчаяньем Шарлоту убегаю
И в ярости моей забыть ее желаю.
В богатстве, в почестях я счастия искал
И ими заменить тебя в душе желал!
Искал я милости в вельможах горделивых,
Но скоро, скучившись от сих предметов *льстивых*,
Соделать чтоб конец мученью моему,
Приближился мой дух к жилищу твоему.
К прелестным сим местам зачем я приближался?
Несчастный! Что я зрел и что найти старался?
Тебя супругою другого — не моей!
Мой дух стесняется при страшной мысли сей.
Где я? — Куда стремлюсь? — Теряюся — не знаю!
Его в объятиях твоих воображаю.
Он счастлив! — Может быть, и ты счастлива с ним?
Ах! сра́внится ли ад с мучением моим?
О ты, которая мне сердце растерзала,
Любовь! всё от тебя душа моя страдала;
Взирай, как мучусь я, взирай и веселись,
Успехом твоего злодейства насладись.
Уже я ночь сию в твоей не буду власти,
Не буду от тебя терпеть беды, напасти.
Но что я чувствую? — Всесильный огнь любви
Лиется и течет по всей моей крови,
Всё бытие мое тобою наполняет
И чувства у меня, и силы отнимает.
Томясь, насилу я могу теперь дышать,

Насилу я могу в последний раз вздыхать...
Рука моя дрожит... все мысли помутились,
Туманом мрачнейшим глаза мои покрылись,
Не чувствую себя и слабо вижу свет...
О смерть! Ужели мой конец теперь придет,
Иль ты моей руки убийственной дождешься? —
Сие прочетши, ты, Шарлота, ужаснешься.
Хочу, мой милый друг, хочу признаться я,
К чему меня вела вся страсть к тебе моя.
Отчаяния глас в беспамятстве внимая,
Несчастью моему злодейством мстить желая,
Хотел преступников собою превзойтить,
Законы, долг и честь, и совесть позабыть,
В крови Альбертовой хотел я обагриться,
И, чтобы лютости примером учиниться,
Хотел я милую души моей сразить! —
А после — смертию мой пламень потушить,
Который был всегда мне в жизни сей мученьем.
Каким я варварским был понужден внушеньем?
Шарлота, я бы мог твоим убийцей быть;
В минуту ярости всю честность истребить,
Которую в душе я двадцать лет питаю,
Которую всегда священной почитаю.
Сколь добродетели мала над смертным власть,
Когда его влечет слепая сердца страсть!
Он должностью своей, рассудком преступает,
От преступления на шаг один бывает.
Когда злодейство я сие предпринимал,
Которое в душе невольно проклинал,
Тогда природы глас уж сердце не внимало —
Отчаянье во мне все чувства задушало.
Я презирал людьми, и небом, и землей,
Раскаяньем моим, природой и — тобой.
На гнусность сих убийств без ужаса взирая,
Свирепости моей границ не полагая,
Себя еще во всем я правым почитал...
Но скоро я свое безумие познал!
Познал — и мысленно пред вами повинился,
В моем отчаяньи рассудком подкрепился.
Прошло ужасное мечтание, мой *друг!*
Живи! — будь счастлива! — с тобою твой супруг!
А я, оставленный в напастях сиротою,

Питался много лет слезами и тоскою,
<Скучая> жизнию, хочу оставить свет,
Где больше для меня уже отрады нет.
Умру! — мне смерть одна осталась утешенье,
Среди весны моей я дни влачил в мученьи,
Печалью, страстию, желаньем утомлен
И в бездну горести навеки погружен.
Ах! что и быть могло мне в жизни, друг мой, мило?
Несчастие во мне терпенье истощило;
Когда бы я конец своим напастям зрел,
Когда б хоть малую надежду я имел,
Когда б я смел еще сей мыслью насладиться,
Что славой я могу блестящей отличиться,
Тогда б, бессмертие стараясь заслужить,
В потомстве памятник себе соорудить,
Посмел бы я еще гоняться за мечтою
И почестей искать с печальною душою.
Но рок уже меня навек того лишил.
Довольно прожил я! довольно счастлив был!
Довольно зрелищем природы восхищался!
Теперь — лишь дней конец в отраду мне остался.
Пускай несчастные другие без меня
Влачатся в мире сем, и день, и ночь стеня!
Но тот, кто милыя души своей лишится,
Чужую зреть ее и должен с ней проститься,
Кто служит целый век игралищем судьбе,
Не нужен никому и тягостен себе,
Кто горесть и тоску всечасно ощущает,
Тот должен умереть, тот благом смерть считает! —
Скорее дни мои хочу я окончать
И там, где смерти нет, спокойствие сыскать.
Кольцо всех уз моих рок грозный разрывает,
А с ним и всё прервать сим гневом побуждает.
Что делать в свете мне? Я в жизни всё прошел
И счастия ни в чем прямого не нашел.
То время протекло, где, живостью пылая,
На крыльях мысленных с горячностью летая,
Я целый свет моим рассудком обнимал,
Всё видеть, всё познать, всё испытать желал.
Мне истин тысячи науки открывали
И существо мое всечасно умножали.
Теперь — бессилен стал, уныл и утомлен,

От многих горестей мой разум истощен,
Во мне уж пламень чувств навеки потушился,
Ах, долго я, мой друг, печалился, крушился.
И верю лишь тому, что только сердцу льстит.
Теперь душа моя к спокойствию летит.

Дщерь смерти! Мрачна ночь! Тебя я призываю,
Из коей перейти в другую ночь дерзаю.
Непроницаемой твоею темнотой
Мое убийство ты ужасное сокрой!
Готово к смерти всё, час страшный наступает,
Душа моя его с восторгом ожидает.
Недоуменьем я давно себя терзал,
Чего страшиться мне? — Я всё уж потерял.
<Ночной> укроет мрак цветущие долины,
Когда достигнет ночь предел своих средины,
Тогда оружие употреблю, мой друг!
Которым Вертера спасаешь ты от мук.
Рукой мне помогла, слезами поразила,
Ты яд мне подала, и ты же излечила,
Дорогу вечности открыла предо мной
И возвратила мне потерянный покой!

Шарлота! — когда ты оружие держала,
О сем намереньи, конечно, ты не знала,
Не знала, что я смерть определил себе,
Но, может быть, тогда предчувствие в тебе
Сумнение на ту минуту породило,
О ярости моей тебя предупредило.
Ах! <нет>, ты думала лишь мне полезной быть,
Ты мнила тем к моей дороге послужить,
Не зная ничего, сих бедств не ожидала,
И мнимый мой отъезд ты верным почитала.
Я еду — ты велишь, и всё меня влечет.
Мне неизвестен путь — известен мой предмет.
Я скучный, грустный мир навеки оставляю
И, к вечности летя, на свет другой взираю!

Шарлота, милый друг, покойся в сладком сне,
Не зная, сколько бедств соделала ты мне,
И, может быть, теперь с приятною мечтою
Вкушаешь прелести блаженства и покою.

Ты спишь — и тихо грудь вздымается твоя,
Не знав, к чему ведет меня любовь моя.
Ты спишь! — А Вертер твой печальный век кончает.

Ты спишь — а он теперь в последний раз
вздыхает...
Когда проснешься ты, увидишь солнца свет,
Узнаешь, что его в сем мире больше нет,
Что он не мог снести жестокости судьбины,
Что он любил тебя до самыя кончины,
Что век он образ твой в душе своей хранил
И что последний вздох он милой посвятил...
Будь счастлива, мой друг, и жизнью утешайся,
Среди семьи своей покоем наслаждайся,
А я — а я теперь в ночь вечную иду,
Так хладен, как земля, на землю упаду.
Забудет мир меня, и я его забуду,
О всем, что мило мне, и помнить уж не буду.
Когда мое письмо последнее прочтешь
И нежную слезу о Вертере прольешь,
Я буду хладный прах, всех чувств моих лишуся
И, может быть, тогда в ничто преображуся.
Какое слово я ужасное изрек!
Ничтожество, тебя страшится человек!
Тебя и изверг сам никак не понимает,
Тебя в душе не ждет, хотя и призывает!
Неужели навек исчезнуть должен я,
Неужли мне на то дана душа моя,
Чтоб после смерти чувств и разума лишиться,
Не к вечному отцу — в ничтожность обратиться.
Безбожной мысли сей невольно я страшусь!
Когда я телом в прах моим преобращусь,
Тогда душа с землей навеки разлучится,
Тогда она с творцом своим соединится.
Без страху я теперь оставлю мир земной
И лучший вижу свет теперь перед собой.
Но, может, нас сия надежда обольщает
И смертный только лишь желание питает
Сим ожиданием печали усладить
И в вечности себя от праху отличить?
Не сами ль мы себя обманом занимаем,
Надеждой счастия несчастья облегчаем?

Но можно ли тогда себя мечтою льстить,
Когда уже должна прерваться жизни нить?
С младенчества душа бессмертья ожидала,
На сем спокойствие невольно основала,
Нас чувством сим творец всевышний наградил,
Всегда ждать лучшего невинных научил.
При сем светильнике сумненье исчезает,
Как солнце, истина священная сияет!
Ах! я не тщетно льщусь! на мой конец смотрю
И пристань к счастию перед собою зрю.
Там нет ни мрачных туч, не слышно бури стона,
Там больше ненужна невинным оборона;
Там кроткий, тихий ветр умеренных страстей
Не может волн поднять, как в грустной жизни сей.
Любовь, которая здесь смертного терзает,
Пример своих злодейств в конце моем являет, —
Сия любовь не так в пределах тех сильна,
С рассудком, с верностью там царствует она,
Там чистый пламень свой в сердца она вливает
И счастием прямым бессмертных наделяет.

Шарлота! милый друг, мне всё, мне всё твердит,
Что там, на небесах, нас бог соединит,
Что <нежно> чувствовать в пределах вышних знают
И что любовь и там блаженством почитают.
В последний раз стою, смотрю на небеса,
На бледную луну, на темные леса,
Смотрю — и дух во мне невольно унывает,
Шарлота — всё сие твой Вертер покидает!
Не буду больше я златое солнце зреть,
Не буду на красы вселенныя смотреть,
Не буду по лесам один с тоской скитаться,
Глас слышать соловья, слезами обливаться
И стоном горестным и рощам наскучать.
Ужасно, милая, природу покидать!
Прости, зеленый луг, прости, ручей сребристый,
Долины, рощицы и бережок кремнистый,
Любовь, друзья, мечты! Я всех оставил вас,
Прощаюсь с милыми уже в последний раз!
Когда о мне сосед чувствительный вспомянет,
Придет — увидит гроб — и, может, плакать станет.
Благодарю тебя, всевышнего творца!

Несчастных и сирот беспомощных отца,
Который, усладить хотя мои мученья,
Мне слезы горькие послал для утешенья.
Ты сам, творец любви! мне нежность сердца дал.
Я ангела любил, и что ж за то! — страдал! ..
Природа, трепещи, минута наступает:
Твой сын, твой нежный друг навеки покидает —
Последний день его почти уже протек!
Шарлотою любим, спокойно кончу век.
Шарлота, я тебя люблю и заклинаю
Исполнить то, чего в последний час желаю:
Недалеко от мест, где дни твои текут,
Где нежность, грации с Шарлотою живут,
Два дуба листвия свои соединяют,
Под тенью <путника> от зноя сокрывают,
Цветут на берегу сребристого ручья;
Тут часто слышен глас печальный соловья,
Подале, на лугу, безмолвье обитает,
Но оное зефир весною покрывает
И тихо листьями густых дерев шумит,
Когда в природе всё покоится, молчит!
Тут я картинами природы восхищался,
Тут я Шарлотою <всечасно> занимался,
Тут я дней будущих блаженства ожидал,
Тут прах мой скрыть вели, где о тебе мечтал.
Когда под вечерок день ясный потемнеет,
Уныние тобой невольно овладеет,
Когда на небесах не будет мрачных туч,
Не скроется еще за горы солнца луч, —
Сойди, мой милый друг, в прелестные долины
Дивиться красотам природныя картины!
Где, с тенью смешанный, увидишь слабый свет, —
Ты там найдешь другой, ужаснейший предмет.
Пойдешь — и с горькою, чувствительной слезою
Увидишь хладный прах, заросший муравою! ..
Увидишь, что ручей медлительный бежит.
Тут сердце Вертера несчастного лежит.
Ты вспомнишь, что я был всегда пленен тобою,
И скажешь с горестью, с невольною тоскою:
«Он в младости увял! — его уж больше нет! —
Он здесь покой нашел, страдавши много лет.
Смерть вольная его мучения скончала.

Зачем несчастного страдать я заставляла,
Зачем участницей в убийстве сем была,
Я в сердце яд ему с любовию влила,
Я разум Вертера невинно помрачила,
Среди весны его спокойствия лишила?
О Вертер, над твоим я прахом слезы лью,
Последний долг тебе от сердца отдаю! ..»
Тогда увидишь ты, что гроб мой потрясется,
Твой нежный вздох ко мне, Шарлота, донесется!
Не буду я себя и тамо обвинять,
Что страстию к тебе такою мог пылать...
Отец природы всем в природе управляет,
Который смертного судьбой повелевает,
Отец вселенныя, и неба, и земли,
Прими несчастного в объятия твои!
Как нежный сын, к тебе от горестей стремлюся!
Прости мне! — кровию своей я обагрюся.
Прости мне! — я найти спокойствие спешу
И, может быть, его, не зная, я ищу.
Законам, может быть, твоим сопротивляюсь,
Любовь — властитель мой, любовью управляюсь.
Не следовать ее веленьям не умел,
Она влечет меня — а сам я не хотел!
От милости твоей прощенья ожидаю
И на тебя свою надежду полагаю:
Ты внемлешь слабый крик беспомощных птенцов.

Ты истинный всегда несчастному покров,
Ты сердце зришь мое, в душе моей читаешь, —
Прости несчастного! — ты слабому прощаешь!
Но — ах, какой теперь внимаю страшный звук!
Шарлота! Полночь бьет! прости, мой милый друг!

1801 (?)

‹ИЗ ПИСЬМА К А. И. ТУРГЕНЕВУ И А. С. КАЙСАРОВУ›

Где, где часы сии прекрасны,
Когда мы в *кочках* под шатром
В сентябрьски вечера ненастны
С любезной трубкой и вином
Родные песенки певали

И с бурей голос соглашали,
Когда пред нами с тьмой ночной
Огонь сражался Оссияна,
Древа шумели над главой
И своды горня окияна
Лились в стремительных дождях,
Березы старые скрипели
На сильных сплетшихся корнях,
И листья желтые летели
И стлались по сырой земле...
С улыбкой мирной на челе
Вокруг огня мы все сидели
И с удовольствием смотрели
Как *гретое* рукой твоей,
Любезный, милый мой Андрей,
Готовилось на общу радость.
Оно могло переменить
Природы сетующей вид
И возвратить ей жизнь и младость.

Как всё переменилось, братцы! Прошедшая осень живо и навсегда впечатлилась в моей памяти. Думал ли я, что нынешняя будет столько для меня печальна?

С кем ныне буду я внимать
Осенней бури шум ужасный?
С кем стану скуку разделять
Во время мрачное, ненастно?
С кем буду *гретое* я пить?
С кем песню затяну унылу?

. . . .

И Оссиян уже забыт,
И на разрытую могилу
Прошедших радостей, забав [1]
Никто, никто уже не взглянет!
Никто, никто не воспомянет
Тот *сад*, где дружба расцвела,
Мое блаженство мне явила,
Утехи века в час стеснила
И — всё с собою унесла!

17 сентября 1802

---

[1] Дом развалившийся Воейкова.

К ДРУЗЬЯМ

Писано в 1803

Повсюду и всегда, о братья! смерть за нами:
Беспечной юности на счастливых лугах
Таится, хитрая, меж детскими играми;
Нас ловит, спутанных сует земных в сетях;
И каждый быстрый миг — всемощныя посланник —
«Готовься! — он гласит, — готовься: смерть с тобой!»
Не знает человек, сей жалкий, бедный странник,
Где должен положить дорожный посох свой!

Почто же мучиться в последний час тоскою?
О милые! почто смущать великий час,
К которому добро и зло готовят нас?
        О том, о том скорби душою,
Чего не думал ты лишиться никогда!
        Конец — живущего чреда!
Господь берет, что дал, — свой дар заимобразный!
Лишь буйственной душе, пороком безобразной,
Прилично сильного за то одно судить,
Что бренность вечностью для ней не может быть,
Что он с бессмертием нам не дал бед бессмертных.

        Смотри — в дорогах неисчетных
С тобой, и пред тобой, и за тобой идут
Все сродники твои, всё, что для сердца мило;
Но, ах! коль многих нет! .. там друг твой, там отец!
Зовут тебя, зовут! а ты... с тоской унылой
        Сретаешь радостный конец
Разлуки — с горестью борьбы уединенной!

        О вы, хранимые рукою сокровенной!
        О вы, которые со мной
Несете общий крест, сражаясь со врагами:
        Несчастьем, суетами,
        И злобой, и собой!
        Ужель прольете токи слезны,
Коль друг утраченный, коль спутник ваш любезный
От бедствий сих найдет спасенье прежде вас?
Хотите ли, чтоб ваш знакомый, скорбный глас,
        Проникнув в райскую обитель,

Мое блаженство отравлял,
Чтоб я средь радостей и там о вас рыдал?
Нет! нет! — «рыдай о злых», — велит земли спаситель.
О спутники! тогда не пожалейте слез,

Когда, забвенный от небес,
Поправ и честь, и долг, и истину святую,
Униженный душой, узнаю плен страстей;
И, волей уклонясь от праведных путей,
Им в буйстве предпочту стезю порока злую,
Забуду и себя, и незабвенных вас...
Вот смерть ужасная, разлука невозвратна!
Тогда оплачьте вы стократно
Не смерть, но моего рожденья лютый час!

ТЕНЬ КУКОВА НА ОСТРОВЕ ОВГИ-ГИ

Известно, что корабли, принадлежащие Российской Американской компании, «Надежда» и «Нева», благополучно достигли Камчатки. Никогда еще флаг российский не развевался в столь отдаленных морях. На пути своем в Камчатку прошли они мимо острова Овги-ги, на котором убит славный капитан Кук; сие обстоятельство подало случай к следующему сочинению:

Когда, блуждающий среди седых пучин,
Венчанныя реки тезоименный сын
«Нева» с «Надеждою» Меркурия крылатой [1]
Прошел брег, гибелью испанскою богатый, [2]
И дальный, скалами одеянный хребет,
Где с Югом борется в туманах Новый Свет, [3]
И бури грозны Козерога,
И светлую стезю блистательного бога,
Где равны области для ночи и для дня;
Тогда Нептун, — ужели прежде мало
Неистовство его россиян испытало! —
От ярости стеня,
Еще крепится в страшной силе,
Чтоб славу дерзостных пловцов

[1] «Нева» и «Надежда», два корабля американской компании.
[2] Бразилии.
[3] Землю патагонов, или Огненную.

Сокрыть от памяти во влажной вод могиле!
Он помнил Чесмесских орлов,
И Шелехов полет чрез льдистые громады,
И вновь раздвигшиясь Иракловы преграды,[1]
И Геллеспонт, пылающий в огнях;
Он помнил, — и ревел в бунтующих волнах!
Сроднились ужасы и неба и пучины
Противу росса и судьбины!
И смерть, казалося, добычею своей
Играла, чтоб еще умножить мук для ней. . .
Но се! внезапные почувствовав оковы,
Умолкли бури вдруг суровы!
Недвижим океан! — повсюду тишина!
Как утренних паров громады голубые,
Открылися пловцам утесы гор крутые;
Со трепетом от них, с роптанием волна
Неслась — клубилася — и в недре вод таилась.
На высоте скалы сень миртова явилась,
И некий муж седой,
С челом возвышенным, в божественном сияньи,
В чистейшем снега одеяньи,
Стоял, и на воды простертою рукой,
Казалось, усмирял стихий сердитых споры.
Мгновенно позлатились горы,
И расцвело лице морей!
Раздался глас средь кораблей:
«Приветствую тебя, народ непобедимый!
Приветствую тебя,
Друг Неба, славою и счастием любимый!
Спеши пожать дары, которые судьба
Тебе повсюду насадила!
Где россам есть предел? Где может изнемочь
Неистощимая их сила?
Сей гений,[2] десяти столетий грозну ночь
С рамен твоих сложивший
И славу будущих столетий золотых
Трудами многими немногих дней своих
Для россов утвердивший,
Сей гений не за тем с небес к тебе сходил,

[1] Гибралтарский пролив. Это относится к тому времени, когда в первый раз флот российский был в Средиземном море.
[2] Петр Первый.

Чтоб твердию одной себя ты оградил!
Защитник царств, народов примиритель!
Исполни долг, — и будь ты моря покровитель!
Да звезды новые отселе возблестят
Твоих героев именами,
Народы новые щедрот твоих дарами,
А земли — славой возгремят!
Увы! с тех самых пор, как злато кастилана
С проклятьем страждущих, с реками крови, слез
Упало на помост жемчужный океана,
С тех пор, как знаменем и именем небес
Корысть надменная дерзнула украшаться,
Чтоб кровью братий упиваться,
С тех пор — моря противу нас,
И век открытия в заре своей погас!
Злодейство кончилось! Осталось подозренье!
Летит пред флагами, слетает с брега флот,
Своим дыханием мрачит лучи доброт
И раздувает возмущенье!
За страсть единого лишился разум крыл;
Наука посрамилась;
Дух испытания уныл!
Природа от детей свирепых отвратилась
И, шаг им уступив, — оплакала его!
Я слышал голос бурь в тьме гроба своего:
Страшитеся! мы мстим Пизаров преступленье!
О росс! в твоей душе их теням очищенье!
Кому поверит правый бог
Невинну простоту детей непросвещенных,
Для сердца о́тчего не меньше драгоценных?
Тому, который мог
Покрыть единою порфирою святою
Бесчисленность племен, языков, нравов, вер,
И, все отдав права, оставил за собою
Лишь право подавать им доблести пример!
Тому, кто научил курильца, ка́мчадала
Их счастье находить в их собственных сердцах!
Тому, которого правдивость восставляла
Столь часто равенство Европы на весах!
Так! так! открылось мне судеб определенье:
Я вижу в мире мир! всё в радости, в движенье!
Россия посреди... для всех отверстый храм,

Благотворению и правде посвященный!
Там жертву принесли отцов своих богам
Народы всей вселенны!
Не бездны влажные, не скалы дальних гор,
Не бури братьев разделяют:
Их страсть одна делит, влекущая раздор!
По манию любви — и бездны иссякают,
И горы падают в глубоки недра рек,
И африканец — человек!
По манию любви — расставшийся с лесами,
Где страх стрежет людей, гремя вкруг них цепями,
Хилиец счастливый, под пальмою родной,
Воссядет, воспоет в сердечном умиленье
Подателя своей свободы золотой,
Познает суевер ко крови уваженье
И чистой жертвою украсит алтари!
Остяк бездейственный — бездейства вострепещет!
Оставит камчадал походные шатры,
И новый град в струях Амура блещет:
Пример мемфийской суеты!
Оплоты дивные искусный хан ломает
И в храмах праотцев[1] их тени вопрошает:
Откуда сей закон, плод гордой слепоты,
Который вас учил от света отчуждаться,
Чтобы в младенчестве своем — состареваться?..
Но что зрю далее? где Тифисы прошли?
И юг, и север им чертоги отверзают!
Незаходимые светила озаряют
Последни таинства земли!
Сибирь пустынная покрылася градами!
Торговля в новые пути устремлена,
Рифей и Коодильер меняются дарами,
И Волга с Гангесом навек обручена!
И здесь — на месте сем, где мне судьба судила
Быть жертвою моей к отечеству любви,
Я зрю — со славою цветет моя могила!
Жалеют правнуки о прадедах, в крови
Омывших бедственные руки,
И превращаются — в друзей!
Чего не освятит луч доблести твоей!

---

[1] Род китайских кладбищ. См. «Путешествие» Макартнея.

Чего не озарит волшебный луч науки!
Друг добрый моего отечества, спеши!
Заслуживай, дели с ним мира удивленье!
Сего бо хощет бог. Его благоволенье
Из уст моих внуши!»
Изрек! Россияне еще внимать мечтали
Божественный глагол... «Но кто ты, — вопрошали,—
Кто ты, поведай нам: иль человек, иль дух?» —
«Я слава Кукова, — вещает тень священна, —
Сей остров есть мой гроб; мой вечный храм — вселенна!»
С сим словом скрылся вдруг.

7 июня 1804

МЯЧКОВСКИЙ КУРГАН [1]

Остановися, росс! Се путь твоих побед;
Се путь к могуществу, к державе похищенной;
Се подвиг, счастию потомства посвященный.
Бог мщения — твой вождь; тела врагов — твой след;
Добыча милая — родительские кости, [2]
Не защищенные и матерью-землей
От хищных, лютых чад неверия и злости.
Ты шел, и прадеды-страдальцы пред тобой
Неслися в облаках, как молньи пред громами;
Вниз падали мечи, [3] и глас гремел в боях:
«Отмсти, отмсти за нас на наших же гробах!»
Кто может стать на брань с неистовыми львами,
Которых бедствия, гоненья, плен и глад,

[1] По Коломенской дороге, в 30-ти верстах от столицы, при самой переправе через реку Москву, на горе находится преогромная насыпь, в знак бывшего там сражения с татарами, опустошавшими столько времени Россию. Здесь погребены убитые россияне. Я восходил на вершину кургана. Прекрасное местоположение, вдали древняя столица, которую (по крайней мере, так уверяют) можно видеть отсюда в ясную погоду, самый курган, как величественный памятник упадшим за свободу отечества, — вот что заставило написать сию пиесу. — *Ав<тор>.*

[2] Это было зверское обыкновение татар. Они разрывали гробы знаменитых россиян по жадности к богатству; они из черепов убитых героев делали чаши и употребляли их при пиршествах. Россияне дорогою ценою выкупали сии драгоценные остатки своих соотечественников. — *Ав<тор>.*

[3] Такие чудеса часто встречаются в летописях. — *Ав<тор>.*

Два века страшные[1] учили побеждать?
Пошли, ударили — и цепи сокрушились;
Россия процвела и славой, и красой!
И, скиптром очертив полсвета пред собой,
Вступила на среду, и царства преклонились.
Где ж те, которых кровь дала нам жизнь и свет,
Где ж те, которых кровь нам славу искупила?
Мать нежная своих героев не забыла:
Се высится гора на месте их побед.
Се богу-мстителю возник алтарь любови
Из праха славных жертв, упадших за него,[2]
Отверзлись небеса над полем скорби, крови,
И счастье мирное украсило его.
Забыло эхо гул военной непогоды
И учит по лесам лишь песни пастухов;
Весна румяная там водит хороводы,
Где прежде грозный Марс водил своих сынов.
Бог мира семя благ на ниве бедствий сеет,
И над могилами, где кровь лилась рекой,
Как море зыбляся, златая жатва зреет.
Там ре́звятся стада, рассеясь под горой;
Там робкая любовь с беспечностью играет
Под дубом вековым, которого в тени,
Быть может, некогда, во времена войны,
Израненный герой, с сим светом расставаясь,
На ветви гибкие повесив бранный меч,
Друзьям еще твердил отечество и честь.
В сумра́ке вечера оратаи, сбираясь
На холм, скрывающий великих предков прах,
Заводят разговор о страшных временах,
И трепет по сердцам бежит струею хладной,
Когда ведется речь про бурю сечи ратной.
Им кажется вдали: полки богатырей,
Склонясь на облака, луною посребренны,
Несутся — не в грозе, не в треске стрел, мечей,
Но так, как гении-хранители вселенны!

---

[1] Почти двести лет Россия находилась под игом татарским. — *Ав<тор>*.

[2] На вершине кургана была построена церковь, в которой совершались поминовения по усопшим. И теперь еще видно несколько камней, означающих место алтаря. На одном из них вырезано имя святого, которому посвящен был храм. — *Ав<тор>*.

Там воет темный бор, их чувствуя приход;
Река игривая свой бег останoвляет;
Звенят оружия, сокрыты в недрах вод;[1]
И, кажется, гора чело приподнимает,
Чтоб плески радости и славы повторять.
Сюда приди, о росс, свой сан и долг узнать.
Здесь горняя любовь, в устах своих героев,
Речет к тебе: «Постой, мы пали среди бо́ев,
Мы пали за тебя, за твой покой и честь:
Помысли, что нам в дар возможешь ты принесть».

<1805>

К НЕСЧАСТИЮ

Зевесов сын, тиран жестокий,
Гроза рабов твоих земных,
Чей бич железный, чьи уроки
Для добрых страх и казнь для злых,
Владыка жизни сей убогой!
Твои оковы, плен твой строгой
Смиренью учат гордеца:
Твои нося в груди отравы,
Стенает царь, сын нег и славы,
Под блеском пышного венца.

Когда судил творец вселенны
К нам добродетель ниспослать,
Тебе сей плод небес священный,
Тебе велел он воспитать,
Облечь дух — в крепость, сердце — в нежность!
Учитель грозный! .. горесть, бедность
Назначил ты друзьями к ней;
Ей пища — слезы; долг — терпенье;
Ты рек ей: «Часть твоя — смиренье;
Знав скорбь, о всех скорбеть умей!»

Бог страшный! всё с тобой мертвеет:
Улыбка счастья, блеск честей.

---

[1] В реке Москве нередко находят и поныне древние оружия, как-то: бердыши, кольчуги, колья и пр. — *Ав<тор>*.

Воззришь — и роскошь цепенеет;
Лик буйных смехов, игр, затей,
Как пепел, с ветром разлетится;
К нам наша совесть возвратится,
И жар к добру в нас оживет;
Лесть крадется с развалин счастья;
Оставит нас среди ненастья
И ложный друг, и раб сует!

Паришь — и мудрость освященна
С челом потупленным, — вдали,
И дева ночи умиленна,
Задумчивость, склонясь к земли,
Полет твой шумный наблюдают.
Тебя всегда сопровождают
Любовь, бесценный дар небес,
И правота, к себе жестока,
И милость, врач в гоненьях рока,
Целящий раны током слез!

О божество неумолимо!
Сколь страшен гром руки твоей!
Да пройдет он, гремящий, мимо
Над робкою главой моей!
Да не узрю тебя я вечно
Под видом мести быстротечной,
Несущей казни злобу стерть;
Твой взор есть яд, твой голос — громы,
И слуги — страхов адских сонмы,
Отчаянье, недуги, смерть!

Явись, как ангел умиленный,
И мир небесный возвести!
Терпеньем, мудростью священной
Мое ты сердце освяти;
Влей в чашу зол мне утешенье,
Возжги во мне к добру стремленье,
Учи любить, прощать в свой век;
Да о других всегда болею,
Смирюсь в душе — уразумею,
Что я такой же человек.

<1806>

К ЛАУРЕ ЗА КЛАВЕСИНОМ

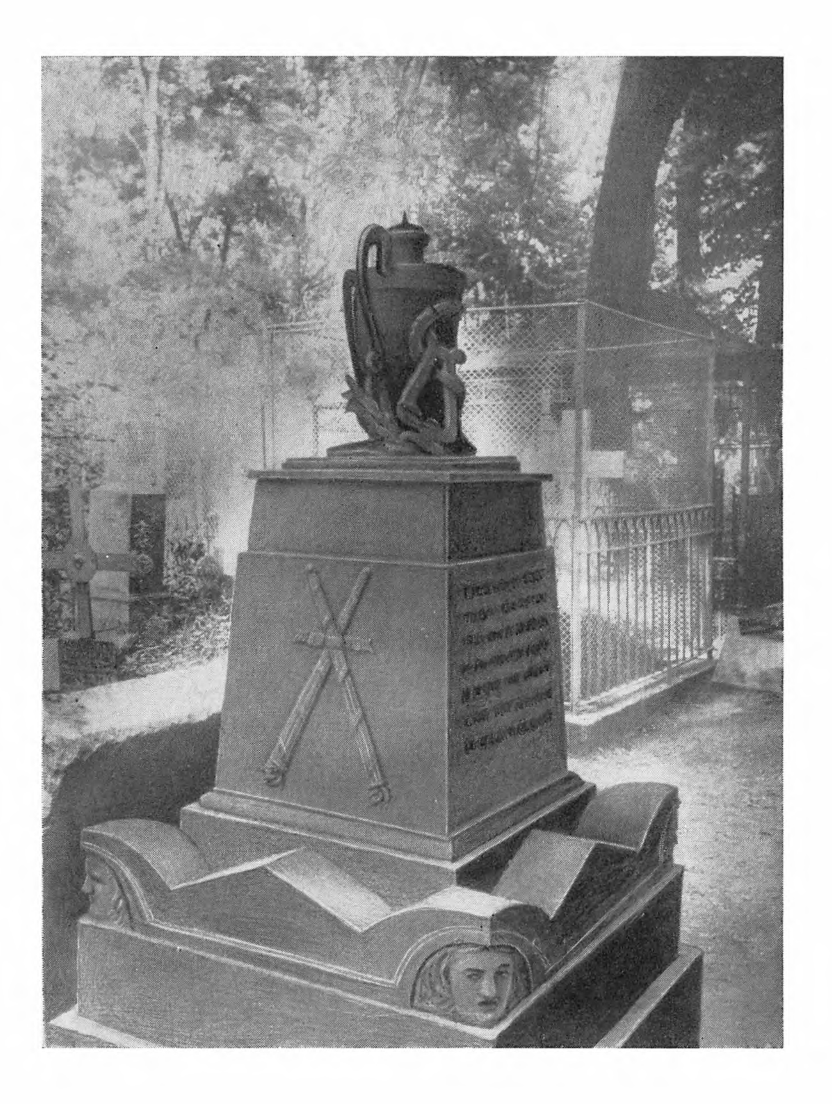
Из Шиллера

Когда твоя рука летает по струнам,
Лаура! — исступлен, восторжен к небесам,
Одной душой живу и наслаждаюсь;
И, обездушен вдруг, я в камень превращаюсь!
Ты жизнь даешь, отъемлешь вновь;
Так сильно общее сердец соединенье,
В бесчисленных путях взаимное влеченье;
Всесильна так — одна любовь!

Благоговением священным упоенный,
Прохладный ветерок чуть дышит над тобой,
Но, бурей песни пробужденный,
Крутится в вихрях сам с собой!
Природа, алчная к твоим восторгам, страстно
Приникла и молчит! — Волшебница! — воззришь,
И я весь твой навек! — Струнами загремишь,
И всё тебе подвластно!

Как море, разлилась гармония живая,
Всеусладительный в согласии раздор!
Так, в искрах пламенных от света изникая,
Рождался ангелов собор!
Так в недрах хаоса, из бурь животворящих
Раскрылись, понеслись полки миров блестящих,
И ночь зарделася от утренних лучей!
Таков волшебный тон гармонии твоей!

Умолкни всё! .. он тих, он сладок, как ручей,
По светлому песку струи свои катящий
И робким шепотом с цветами говорящий
О нежности своей.
Убойтеся, тираны!
В величестве святом и грозном он течет,
Как горние громов органы.
Внемлите: водопад ревет,
Кипящей пеною граниты омывает
И в брызгах тучи составляет!



Но се! — манит меня, как легкий ветерок,
Когда он крадется сквозь липовый лесок,
По ветвям тихо пробираясь
И, самой негой утомляясь,
Еще шумит... еще дохнул
И в розовом кусте заснул.
Премена чудная! .. что сделалось со мною?
Так тяжко! так темно! .. не область ли теней,
Не Орковы ль поля я вижу пред собою?
Везде уныние... и бледный вид скорбей!
Печальная сова ночь сонну пробуждает;
Влачася слезною волной,
Коцит едва мелькает.
Всему конец! .. всему покой!

Остановись, скажи: не с горними ль духами
Беседует мой дух? Не с горними ль певцами
В союзе ты святом?
Открой мне таинство: не сим ли языком
В эдеме праведных веселие вещает,
Когда Егову прославляет?

<1806>

ТОРЖЕСТВО АЛЕКСАНДРОВО, ИЛИ СИЛА МУЗЫКИ

*Кантата Драйдена в честь святой Цецилии,
переложенная с наблюдением меры подлинника*

На царственном пиру, как перс упал
Монарха юного рукой,
Божественный герой
В величестве сиял
На троне золотом;
Вокруг его — вождей бесстрашных сонм!
Цветущи розы в их власах,
И мирты вьются на челах!
Как утра тихого заря,
Таиса, об руку царя,
Предмет его очей,
Сияла прелестью и младостью своей.
Ликуй, ликуй, ликуй, чета!

Тебе, герой,
Тебе, герой!
Тебе, герой, награда — красота!

Певец восстал; за ним
Огромный хор вступил;
Он персты к арфе приложил,
И бурна песнь льется в слух —
В восторгах тает дух!

От Зевса слово. Он
Оставил свой и храм, и трон —
Так всемогущ любви закон!
Дракона гордый вид приемлет царь богов,
Парит средь радужных кругов,
К Олимпии парит, к красавице приник;
В ней отразился Зевсов лик,
И новый Зевс — велик!
Высока песнь восхитила собор;
«Се бог наш!» — вопиет благоговейный хор;
«Се бог наш!»—разнеслось, как волн шумящих спор!

И гордый взор
Подъял герой!
И мнит: я бог!
Подвиг главой,
И мнит: дрожат миры у ног!

Потом священный бард честь Бахуса поет:
Прекрасный Бахус вечно юн!
Триумф! бог радости грядет!
Гремите, трубы, днесь! раздайтесь, звуки струн!
Лице его горит в смеющихся зарях,
Величество в очах.
Раздайтесь, трубы! он спешит! спешит! спешит!

Вечно юн, и вечно мил,
Бахус счастью научил!
В нем богатство храбрых воев!
Он отрада после боев!
В горе — сладость;

В счастье — радость,
Врачеванье слабых сил!

Царь гордый, песни вняв, свои победы зрит;
Он вспомнил славну брань,
Забывшись, поднимает длань,
Трекратно поражал, трекратно вновь разит!

Таков героя ратный жар!
Глаза горят, лицо блестит;
Казалось, он с землей и с небом в брань спешит,
Но по струнам удар —
Неистовство молчит!

Унылый, тихий тон
В геройско сердце жалость льет!

Он пел: царь персов был
Велик и добр; но рок судил —
Он пал, он пал, он пал, он пал!
С высот величия упал!
Влачится там в крови густой;
Забыт, оставлен в нужде злой
От всех, кого любил душой!
Нет сердца — горесть усладить,
Нет друга — вежды затворить!

Герой, склоня главу, в безмолвьи председал,
Покрытый мрачною тоской;
На бег фортуны он взирал:
«Что вечно?» — думал и вздыхал,
И слезы полились рекой!

Певец, осклабясь, зрит легко,
Что до любви недалеко!
Он сладки звуки строит вновь:
Где состраданье, там любовь!

Нежно, сладко лейтесь, песни,
Страстным пламенем в сердца!

Брань — мученье и труды;
Честь — прозрачный клуб воды!

Век растет, а всё начало;
Всё сражает, всё ей мало!
Небо подвиг твой венчало:
Время, время насладиться!
Здесь Таиса восседит!
Слава в ней тебя дарит!
И с шумом радостным собор вождей гласил:
«Любовь, восторжествуй! Бог песней победил!»

Монарх не мог любви скрывать:
Взор томный заблистал;
Он таял и молчал!
Что взор — то вздох; что вздох — то взор;
Что взор — то вздох опять.
Против любви вина герой не устоял —
На грудь Таисы пал!

Раздайся! лиры звук, промчись!
Сильней, еще сильней, как бурный вихрь, крутись!
Прерви ничтожны сна оковы!
Восстань, восстань, герой, на подвиг славы новый!
И се! — В ужасный час
Он внемлет грома глас!
Как из могилы, вдруг
Восстал, и зрит вокруг!

Отмсти, отмсти, отмсти! — повсюду вопиют.
Фурии грозны бегут!
Над тобою их змеи висят!
И свистят, и шипят,
И черное пламя рекою клубят!

Зри: тени бледны в облаках!
Перуны в их руках!
Кто вы? — не души ли героев, убиенных
На поле битвы злой?
Там трупы их забвенны
Лежат в крови густой
И просят погребенья!
Я слышу страшный глас!

Мщенья! мщенья! мщенья!
Возьмите стыд от нас!

Зри: тамо искры шумят с облаков,
Над Персеполем вьется пожар!
Над божницами грянул удар!
Неистовых клики раздались в стенах,
И герой устремился с перуном в руках!
Таиса с ним грядет,
Таиса грозного влечет!
Елена новая! — и новой Трои нет!
Так Тимофей,
Когда органы не вещали
И трубы слух не поражали,
Пленял всех флейтою своей!
И дивный лиры строй
И ярость, и любовь везде водил с собой!

С небес Цецилия сошла,
И тайна музыки открылась,
В очарованиях, в чудесностях явилась
И нову область обрела
Для беспредельного искусства,
Великолепье, слава, чувства,
Стремясь за гением на огненных крылах,
Гремят в несчетных голосах!

Бард древний побежден!
Нет! слава — равный их удел!
Им смертный в небо возведен;
С ней ангел к нам слетел!

<1806>

ЭЛЕГИЯ

Из Парни

Страдания любви разлукой облегчатся! —
Я думал прежде так; от милых мест бежал,
Которые моей жестокою гордятся.
Сокрытый в сих лесах, куда не проникал

Свет солнечный вовек, повсюду обретаю
Одно безмолвие; но где покой — не знаю.
Блуждая в тайной тьме излучистых путей,
Достиг я наконец вершины гор надменной,
Делящей облака, ходящие под ней.
Какое зрелище! — мой взор обвороженный
Летал в безмерности, расстланной предо мной;
Явилось море мне равниною чудесной,
Слиянною вдали с лазурию небесной!
Минута! — всё цветет; и в ясности живой
Играющий зефир жар солнца прохлаждает;
Но вдруг — повсюду тьма! и буря завывает!
Когда зима престол свой ставит на горах,
В то время летний зной свирепствует в полях!

В громовом шествии пылающия лавы
Погибли все весны забавы и труды;
Растопленный гранит являл ее следы.
Древа зачахли вкруг; в унынии дубравы.
Ни милый птичек глас, ни дикий рев зверей
Не смеют пробудить пустыни мрачной сей!
Всё тихо, всё мертво! — умрите ж, воздыханья!
Умрите, бурные желанья!
Моя надежда — призрак сна!
Жестокую навек забудем,
Злой пламень истребим иль будем
Непостоянны, как она!
Нет! нет! — нигде себя не скрою:
И здесь найдет меня любовь!
И здесь прелестная со мною.
Противлюсь — и пылаю вновь!
Довольно имени любезной —
И вновь поток лиется слезный!
О боги! .. ах! когда престану я страдать!
Сокройте от меня вы взор ее прекрасный!
Тушите страсть мою! — она, как грозный ад,
Свирепствует в груди. — Усилия напрасны!
Тогда бы перестать любить,
Когда престал ты милым быть!
Меж тем как в жалобах и пламенных слезах
Я изливал свои сердечные мученья,

Явились новые предметы удивленья,
И мрак уныния исчез в моих глазах!

Я зрел: передо мной, рождаяся, кружились
Повсюду быстры ручейки,
И в детской резвости, слиявшись, вновь стремились
В кипящей полноте свирепыя реки;
Терзая грудь брегов, клубясь в ожесточенье,
Влекла она с собой потоп и разрушенье;
Дробимый ветром шум стонал в глуши лесов;
И древний океан, в величестве смущенный,
Приемлющий ее в объятья растворенны,
Казалось, уступал неистовству валов!
Я зрел: утесы обнаженны,
Подъемляся челом,
Грозили досягнуть в пределы возвышенны,
Отколь свергался гром!
Там древность чудная везде изобразила
Священную печать... взор, мысль моя парила
Вослед ревущих вод — от гор к другим горам,
От облаков ко облакам,
Из бездны в бездну преносилась,
Но вдруг во ужасе своем остановилась!
Природа дивная! здесь, здесь твой тайный храм!
Я прикасаюся ко матерним стопам.
О, как приятна мне унылость дебрей диких,
Начальные черты трудов твоих великих.
Я в чувствах сладостных, как отрок, веселюсь
И с трепетом дивлюсь!
Почто не можно мне в юдоли сей блаженной
От света утаить остаток скорбных дней,
Почто нельзя отдать ей горести своей!
Она везде со мной! — когда, ожесточенный,
Хочу неверную навеки позабыть,
Язык мой изменяет!

Он имя милое невольно повторяет;
Сказав однажды, я стремлюсь его твердить;
И дебрь пустынная, всех тайн моих могила,
Ему ответствует стенанием глухим;
Моя рука его на камне начертила
Со именем моим!

Быть может, странник здесь, на сих древах
почтенных,
Найдет следы имен, любовью освященных,
Смутится он; и в миг восторга своего
Внезапно возгласит: «Чрезмерна страсть его!
Он пел любезную во тьме уединенья;
Он плакал без друзей, страдал без утешенья;
Прочтем его стихи, слезами их почтим:
Любовь, сама любовь рыдала вместе с ним!»

<1806>

К НЕИЗВЕСТНОЙ ПЕВИЦЕ,
КОТОРОЙ ПРИЯТНЫЙ ГОЛОС ЧАСТО СЛЫШУ, НО КОТОРОЙ НИКОГДА НЕ ВИДАЛ В ЛИЦО

О ты, которая скрываешься от взоров,
Любезно божество иль милая мечта!
Единая из фей, царица горних хоров!
Иль дева смертная, славянок красота.

Непостижимая! .. тебя я понимаю!
Нет более препон, делящих нас с тобой.
Когда — восторженный — твой сладкий глас внимаю,
Я зрю тебя, не зрев! .. так! ты передо мной!

Кто чувства выражать способен столь прелестно,
Тому ли в сердце чувств нежнейших не питать?
Ах! песнь твоя — орган души твоей небесной;
Одним чувствительным гармонией пленять! ..

Природа, чудеса которой ты гласила,
Природа ли себе захочет изменить?
Нет! мать гармонии, она определила
Прекраснейшей душе в прекрасном теле жить!

Склонясь над арфою в священном умиленье
И взоры устремя к мерцающим звездам,
Зари вечерния ты славишь появленье
И тихий сердца мир, безвестный злым сердцам!

И се, дум горних полн, за звуком струн гремящих
Твой ум теряется всевышнего в делах,

Я вижу новый свет и ангелов парящих,
И бога, и... тебя в блистающих лучах!

Но вдруг унижен тон... в душе моей унылость;
Я чувствую, как мал пред вышним человек,
Но гласом сладостным твоим вещает милость:
«Сын праха, ободрись! печали краток век!»

Так! есть бессмертие!.. оттоль сей звук исходит!
Он камням жизнь дает, он движет древеса,
Он злобного на гроб неволею приводит,
Он мирно праведных зовет на небеса!

Смятение вокруг... гул битвы пролетает!
Стук копий, звон щитов, свирепых клики, стон!
Гремит! еще, еще.., вдруг тише замирает,
И глас победы слит со гласом похорон.

Кто шествует во тьме на диком поле боя?
Власы взвевает ветр, смерть бледная в очах!
Невеста юная! ах! нет уже героя!
Нет милого... он пал... и в прахе смерти... страх!

С любовью рук своих к тебе не простирает;
Уста закрытые тебя не назовут!
Не ждите, мать, отец! он там вас ожидает,
Там, там, куда ни смерть, ни горесть не придут.

Но слезы осушим! другое песнопенье!
И радость, и печаль — всё слито под луной!
Разлука горестна, но сладко съединенье!
И счастье мило нам лишь прошлою бедой.

В вечернем сумраке нежнейшей полны страсти,
Любовники одни... нет слов... рука с рукой!
Не верят счастию и новой ждут напасти;
Нет, нас не разлучат! «Моя!» — «Ты вечно мой!»

Он арфу взял... свои печали воспевает,
Как он карал врагов, как видел смерть в полях!
Красавица дрожит, бледнеет, оживает,
И вся душа ее драгого на устах.

Сколь силен твой язык, о смертных утешенье,
Могущая любовь! сомнение с тоской,
Надежды, жалобы, восторги, упоенье,
Блаженство двух сердец... Волшебница! постой!

Я в страхе, трепещу! кто песне сей внимает?
Кто, слишком счастливый, у ног твоих лежит,
Томится, слезы льет, любовью нежной тает
И на глазах твоих ее сиянье зрит?

Ты плачешь и сама... звук молкнет... нет! мечтанье!
Нет, ангел! ты одна с вечернею зарей!
И песнь твоя есть чувств безвестных излиянье.
Твой гений в тишине беседует с тобой!

Всё мертво — всё молчит, как ночь в могиле хладной!
Где ты, прекрасная? что сделалось со мной?
Что, сердце, ты грустишь? не верь мечте отрадной!
Ах, поздно! ах! прости, свобода и покой!

<1808>

ПРИЗЫВАНИЕ КАЛЛИОПЫ НА БЕРЕГА НЕПРЯДВЫ[1]

Песней сладостных царица,
Мать восторга, Каллиопа,
Из небесного чертога
Преклонись к моленью сына!
Он, тобою вдохновенный,
Принял лиру златострунну
От тебя перед престолом
Добродетели небесной.
Принял с тем, чтобы в восторге
Петь небесну добродетель, —
Ты сама его учила
Прославлять святую правду,
Велелепие природы
И в природе чтима бога.
Слух ко мне склони, богиня!

---

[1] Река, известная по той победе, которую Димитрий Донской одержал на берегах ее над Мамаем.

Иль пошли мою мне лиру
На крылах послушных ветров,
Иль сама ко мне явися,
На брега сойди Непрядвы!
Здесь цветы благоухают;
Здесь желтеет всюду жатва;
Здесь смеется луг зеленый!
Ждет тебя сама Диана:
Уклонясь под сень дубравы,
В гроте сладостной прохлады,
На одре роскошной неги
В полдень жаркий отдыхает
Звероловная богиня;
Тщетно ждет приятных песней;
Нимфы здешние безмолвны
Ищут фавнов по дубравам.
Кто прекрасную утешит? ..
Сниди, сниди, Каллиопа! ..
Ждут тебя Помона, Флора,
Ореады, Нереиды,
Дщери резвые, младые
Тихоплещущего Дона.
Ждут тебя... приди, богиня!
Храм оставь свой златоверхий
И явленьем благодатным
Благовонный сад придонский
Обрати в сады Парнаса!
Научен тобой — с тобою,
На твоей волшебной лире
Буду петь поля и рощи,
Славить прелести природы;
Иль под сумраком вечерним,
Пробужденный к восхищенью
Шумом легкого зефира,
Воспален делами славных,
Воспою... и бранны тени
Наших прадедов-героев
В светлом месяца блистаньи
Тихо спустятся к Непрядве:
Зазвенят мечи, и стрелы
Засвистят под облаками,
Вздрогнут гробы побежденных,

И Димитрий в сонме бранных
С тучи взглянет на Непрядву;
«Здесь, — речет, — я мстил за россов;
Здесь низринул в ад Мамая!»
Россы, глас его услышав,
Вновь о памяти героя,
Вновь душой возвеселятся!..
Так я буду петь, богиня,
От любви склоняясь к брани,
И от брани к мирным сеням
Сельской жизни благодатной.
Нимфы песнь мою услышат,
И, приникнув к тихой урне,
Дон, венчанный осокою,
Легким струй своих плесканьем
Будет вторить звукам лиры.
И тогда, когда в тумане
Тень моя носиться будет
Над моим безмолвным гробом,
И тогда моя здесь память
Громозвучным водопадом,
Потрясающим утесы,
Для потомства сохранится;
И тогда к громам героев
Приобыкшее здесь эхо
Не забудет древних песней
Их воспевшего поэта!
А теперь моя награда —
Поцелуй моей Надины
И венок, ее руками
Для меня вчера сплетенный.

<1808>

К ЭЛИЗЕ,
КОТОРАЯ СТРАЖДЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЮ БОЛЕЗНИЮ

Писано в начале нынешней весны

О ты, в которой бог — всех дней моих блаженство,
Всё милое мое судил мне показать,
Чтоб обольщенному страдания познать;
В которой видел я природы совершенство,

Вещай, почто она, законы позабыв,
Свой ход переменяет?
Почто глава светил, в среду небес вступив,
Благотворящего огня не разливает?
Почто, туманной мглой одеяв свой чертог,
Доселе медлит он над нашею страною
Явиться с милою сопутницей, весною?
Когда свирепых бурей бог
Владычество его оспаривать престанет
И радостно земля проглянет?
Увы! всё, всё — земля и небеса,
Природа, кажется, с твоим тоскует другом,
Взирая на тебя, терзаему недугом!
Творенье лучшее творца,
Возможет ли он нас обрадовать весною,
Когда весна не воззовет
Тебя к здоровью и покою?
Где ж первый взор ее отраднее блеснет,
Когда он не блеснет в твоем унылом взоре?
Где веселиться ей, когда Элиза в горе?
Где лучше расцвести, как, ангел, не в тебе?
Подобно бледному пловцу среди волненья,
Стихий разгневанных в борьбе
Бесплодно ждущему знакомых звезд явленья,
Путеводителей к любезной стороне,
Я взор свой на тебя едину обращаю
И в нетерпении безмолвном примечаю,
Когда наступит час прийти моей весне!
Так, для души моей, о друг мой несравненный!
В выздоровлении твоем она придет;
В тебе возвеселит улыбкой драгоценной;
В тебе, Элиза, расцветет;
В тебе благотворить и восхищать нас станет;
В тебе и на мою печальну музу взглянет,
И всё приимет новый вид.
Природа радостной одеждою возблещет,
И оживленный лес, при тихих ветерках,
Зеленой тенью вострепещет;
Ковры расстелются в лугах;
Как бисером, ручьи посыплются струями;
В дубравах гимны возгремят;
Амуры радости на землю низлетят,

Украсят милую цветами.
И я, восторженный, свой голос вознесу,
С природой вместе дар Элизе принесу.
Надежда сладкая! О боже! о всесильный!
Которого с тех пор я боле начал знать,
Как стал Элизу обожать,
Источник благости обильный,
О горняя любовь! услыши стон любви;
На слезы преклонись, на лютое страданье,
Соделай чудеса — укрась свое созданье
И скорбный дух мой оживи!..

. . . .

. . . .

Элиза! бог благий мольбе моей внимает!
Могу ль роптать, что он весны не возвращает!
На что она, к чему? Когда для всех других
Покрыт лазурный свод одеждой туч густых;
Когда свирепствуют метели,
Морозы снова прилетели
И в белых ризах древеса...
Мой бог мне милостив! я вижу: небеса
Отверзлись, процвели, природа обновилась,
Весна с любовию на землю ниспустилась,
И всё ликует в тишине...
Ах, нет! ты улыбнулась мне!

Весна 1808

НАДГРОБНАЯ ПЕСНЬ
З.....А.....ЧУ БУРИНСКОМУ, СОЧИНЕННАЯ В ДЕНЬ ЕГО ПОГРЕБЕНИЯ И ПЕТАЯ В СОБРАНИИ ДРУЗЕЙ ЕГО

— ◡ — ◡ — ◡ — ◡ ◡

Брат любезный, в землю хладную
Прах скрываем твой без горьких слез:
Ты из горния обители
Преклоняешь к нам веселый взор,
Простираешь к нам объятия.

Бремя жизни — бремя тяжкое —
Ты, счастливец, ты сложил навек!

Мореходец — на брегу своем!
Дальний странник — в милой родине!
Юный ратник — с мирной пальмою!

Ах! когда, когда и к нам придет
Благовестник чистой радости,
Час последний — грусть последняя!
Ах, когда с тобой увидимся!
Ах, когда от бед укроемся!

Ты страдал — ты, жертва бедствия,
При друзьях, как без друзей, страдал!
Родом, ближними оставленный,
Ты давно уже не нашим был,
Ты давно уже оставил свет!

Мир с тобою, тень любезная!
Жизнь дала тебе гонителей;
Ангел смерти — примиритель твой:
Он мирит тебя с самим собой,
Он мирит тебя с жестокими!

Дуб валится, блекнет юный цвет
В час единый... кто ж жил долее?
Радость, горесть — мера наших дней!
Для страдания — ты долго жил!
Ты воскрес теперь — для счастия!

Ты прозрел — для тайной истины,
Непостижной для друзей твоих!
Ты внимаешь лиры ангелов,
Ты пьешь воздух жизни вечныя,
Ты свободен, ты далек от нас!

Нет, сопутник! нет, — ты ближе к нам!
Ближе к сердцу, к чувствам братии!
Не трудами ты привязан к нам,
Не слезами с нами делишься,
Не терпеньем жизни горькия!

Ты бессмертьем с нами делишься,
Чувством сладостным, достойным нас,
Сим сокровищем наследственным!

Ты вещаешь нам: увидимся!
Ты еще теперь дороже нам!

Почему ж фиалы пиршества,
Почему, друзья, не налиты?
Отчего же ваш унылый взор
Видит место незанятое, [1]
Ищет образа знакомого!

Веселись в чертогах вечности,
Веселись, друзьями встреченный! [2]
Ах! тебя ли в раннем цвете лет,
Одного ль тебя лишилися?
Тамо братья ждут нас многие!

Мы придем, придем с любовию,
С чистой совестью и с верою!
Может быть, теперь в последний раз
Мы, сорвав цветы весенние,
На твою могилу бросили!

1808

МАРШРУТ В ЖОДОЧИ

Дорога ко друзьям верна и коротка;
Но в наш проклятый век железный
Стал надобен маршрут и к дружбе даже нежной!
Итак — вам встретится сперва Москва-река.
Ступайте по стезе, давно уже известной
Бедами россиян; дерзайте на паром
И по Смоленской прокатитесь
До ближния горы, где бьют Москве челом.
И вы не поленитесь
Последний дать поклон московским суетам,
И тотчас влево от Поклонной
К унылой Сетунки струям,
И близ Волыни сонной

[1] Место покойника в этом собрании оставлено было незанятым.
[2] Некоторые из друзей покойника умерли прежде его.

К Очакову направьте путь,
Отколе сладостный писатель Россиады
Вливал восторги в русску грудь.
А там без всякия преграды,
Стезею ровной и прямой,
Вы на Калужскую явитесь столбовую
И мимо Ликовой
В деревню въедете ямскую:
Ее Давыдковом зовут.
Оттоле... как сказать? .. вот вся премудрость тут:
Вы там заметьте дом, зовомый постоялым,
И близ его ворот
Велите рысакам удалым
Налево сделать поворот.
И, поручив себя всесильной вышней воле,
Стремитесь к Старому Николе,
Где барин Есипов уже пятнадцать лет
Готовит сахар нам, а сахару всё нет!
А там — что говорить? — Малютка всякий скажет!
Где радость, где любовь, где Жодочи для вас,
И путь вернейший вам укажет,
И вы с любезными обниметесь чрез час!
Когда же путь свой совершите,
Прошу вас, о певце печальном вспомяните,
О скуке сироты, коль можно, потужите
И всем его поклон нижайший объявите.

Между 1810 и 1812

РАЗЛУКА И ЛЮБОВЬ

Однажды встретилась Разлука
С Любовью страстной на пути.
«Опять? Так скоро! Грусть и скука,
Опять должна сказать: прости! —
Любовь рыдает. — О, мученье,
Иль мало собственных мне бед!
Измена, ревность, подозренье:
Против Любови целый свет!

Где свыкнутся душа с душою,
Где только к счастью расцветут,

Далекой, близкою грозою
Не нынче, завтра ты уж тут;
Счастливцы мучатся в сомненьи,
Не верен им ни день, ни час,
Трепещут в каждом наслажденьи!
Всегда в устах: в последний раз!

С боязнью друга я встречаю,
С боязнью говорю: ты мой!
Его ко груди прижимаю,
А сердце ноет уж тоской!
Весь мир с тобою в заговóре;
И чиста радость никогда
Не светит в страстном, милом взоре,
И скорбь в душе моей всегда.

Не смотришь ты на нежны слезы
Младыя, пламенной четы,
Снегами засыпаешь розы
И кроешь крепом красоты.
Тебя ни верность, ни страданье,
Ни добродетель не смягчат!
Всечасное души терзанье!
Нет, легче смерть тебя стократ!» —

«Сестрица, не ропщи! Всяк знает,
Я для тебя не так вредна, —
Любви Разлука отвечает, —
Я спутницей тебе дана
На то, чтобы твои утехи
Разнообразием питать,
Преобращая в слезы смехи,
Твои желанья оживлять.

Неблагодарная! Что будешь,
Предавшися самой себе?
Ты цену радостей забудешь,
И радость надоест тебе.
Не я ль сердца друзей связую,
Препоной больше пламеню,
Терпеньем верность испытую
К бесценному свиданья дню!

Ах, нужно, нужно и ненастье!
Скажи, кто в свете бы возмог
Снести беспрерывно счастье?
Таких сил смертным не дал бог!
У легковерного младенца
Беру на время я цветок,
Чтоб новым подарить от сердца,
И, как играть, подам урок!

Но есть и радости со мною:
Не мне ли ты одолжена
Своей задумчивой слезою,
Как смотрится в окно луна
И ночь почиет над горами;
Не я ль во сне твой нежу дух?
Не я ль дарю тебя мечтами,
И целый мир с тобою друг?

Не мне ль обязана сей сладкой,
Меланхолической тоской,
Которой ты несешь украдкой
Всё в жертву: радость и покой.
О, рай души воспламененной!
Бог знает, кто милей из двух:
Желанный друг иль полученный?
Привычка — тягостный недуг!

Измены часто от разлуки!
Пусть так! Но кто же винен? Ах!
Почто о том вздыханья, муки,
Который верен лишь в глазах!
Но ты всё плачешь... томны вежды,
Надолго ль? Говорят, не плачь,
Пади в объятия надежды —
Она твой друг, она твой врач!»

<1812>

К МОНУМЕНТУ ПЕТРА ВЕЛИКОГО В ПЕТЕРБУРГЕ

На пламенном коне, как некий бог, летит:
Объемлют взоры всё, и длань повелевает;
Вражды, коварства змей, растоптан, умирает;

Бездушная скала приемлет жизнь и вид,
И росс бы совершен был новых дней в начале,
Но смерть рекла Петру: «Стой! ты не бог, — не дале!»

<1815>

БЕССМЕРТИЕ

Со славой зависть обитает;
Великий человек счастливым не бывает.
Искусство жить — всю жизнь свою скрывать,
И в смертный только час бессмертие начать!

<1815>

ВОСТОК И ЗАПАД

Воззри на светлое Востока украшенье,
И жизнью веселись!
Но ты страдал — тебе потребно утешенье:
На Запад обратись!

<1815>

ЧУДЕСНЫЙ ТОВАР

Разговор в таможне

Смотритель

Отколь?

Купец

Из-за морей.

Смотритель

Куда?

Купец

Куда? В Россию.

Смотритель

Какой товар?

Купец

Товар? — бесценный, золотой...

Смотритель

Мне должно осмотреть!

Купец

Не строго, друг, постой!
Ты русский! ты велик! но здесь ты склонишь выю!

Смотритель

Что? как?

Купец

Здесь магазин всего:
Ума, безумия, нахальства, униженья,
Коварства, гордости, алчбы и развращенья;
Здесь тысячи вещей, и вместе ничего!
Злой свет и злая тьма, невежество и знанье,
Ничтожность и блистанье,
Род жадной саранчи иль некой язвы яд;
Неволя с вольностью, безбожие и глад;
Берейтор, компаньон, лакей и управитель,
Кондитер, откупщик и мод установитель,
Подьячий и министр, агент и скороход,
И доктор для госпож, опасный для господ;
Ко счастью русского народа,
Болезней и лекарств обильная порода:
Здесь модна слепота,
Сердечна пустота,
Различные припадки,
Вертижи, лихорадки,
Болезнь; ни то ни се;
Короче — здесь есть всё:
Отец и друг, и брат, и сват-благотворитель.

Смотритель

Помилуй, кто же он, скажи?

Купец

Француз-учитель!

Смотритель

Учитель! — Боже мой! хотя б взглянуть,

Купец

Нет! нет!

По вашей милости, прошло почти сто лет,
Как без осмотру мы товар сей отпускаем
И пошлин не даем.

Смотритель

Когда ж его узнаем?

Купец

Теперь нет времени; корми его, лелей;
А чтобы цену знать, отдай ему детей!

<1815>

ТРУД

Хор грянул!.. Кто слетел в гармонии небесной?
Не вы ли, девы гор, любезных для певцов?
Как пламень, как восторг — приход ваш благовестный!..
О, радость, красота превыспренних умов!
Откройте, музы, нам в день светлых вдохновений,
Царю, отечеству священноприношений,
Откройте пир духовный нам,
В завет и чадам, и отцам!

От бога песнь течет, да взыдет в лоно бога!
Всепоклоняемый! — Ты будешь! — Был! — Един!
Во славе вечностью объятого чертога,
На камени твоих незыблемых судьбин,
В высоком благости, могущества совете,
Повсюду зримый свет в непостижимом свете,
Твоя премудрость председит,
Всё зиждет, держит и хранит!

Еще в безмолвной мгле хаосных бездн лежала
Недвижимая жизнь, как море без брегов,
Как льдяный океан без вида, без начала;
Всесильная рекла — раздался тьмы покров,
Стал ангел бытия и воспалил пучины,
И тронулись стихий таинственны махины;
Движенья, числа, меры, вес
Прияли ход, и труд воскрес!

Воскрес всеобщий труд — с божественного трона
Ниспосланную мысль в себе раскрывший мир,
Вседействующа жизнь! — Единого закона,
Единой воли плод! Огнь, влага, прах, эфир,
Несчетно разное несчетных сил слиянье —
Всё царственно труда благого одеянье!
Он времени душа и цвет;
И мир, и время в нем уснет!

Кто избранны его? Где сонм его венчанный?
Святое правило, век верное себе;
Порядок, стройности ревнитель постоянный;
Терпенье, крепкое превратностей в борьбе;
Хозяйство ясное со взором всестрегущим,
И опыт, судия минувшего с грядущим,
И ты, согласье, связь вещей,
Духов небесных корифей!

От ветров четырех четыре трубны гласа
Беседуют с тобой, о смертный царь земли!
Се! лето, и весна, и осень златовласа,
И грозная зима тебе рекут: внемли!
Нощь хартию из букв горящих разлагает;
День ризой пламенной свод горний облекает,
Чтобы во славе их лица
Ты зрел творенье и творца!

Что нощь сия? Что день? Что утро, вечер красный?
Что года времена, текущие чредой?
Мечтания очей, иль силы, нам неясны,
Боготворимые от робости слепой?
Зевес ли мещет гром, иль духи бурь могучи
В пределах огненных, как рати, водят тучи,
Чтобы поля плодотворить
И мир под небом водворить?

По мановению ль дриады молчаливой
Из корня сок, взнесясь, цветка приемлет вид?
Готовое ль в горах, судьбою справедливой
Утаено сребро и блеск алмаза скрыт?
Бриарея ль тесня, Везувий мещет лавы?

Нептуну ли Нерей вьет волны седоглавы,
И Тартара ужасный царь
Приводит трусом в трепет тварь?

Деятельность! везде твои явленья дивны!
Везде присутствия всемощного черты!
Что нами зримая природа? — беспрерывный
Труд, духом вышнего живимый с высоты!
Что видимых вещей утраты, возрожденья?
Повсюду сущего труда преображенья,
И жизнь моя, скорбей сосуд,
Не есть ли духа, персти труд?

Кто тайными сопряг стихии все браздами,
Как всадник в поприще враждующих коней,
Кто тяготения нетленными цепями
Все солнцы съединил, как светлый круг детей,
С землею небеса бореньем благодатным,
И с сушею моря питанием возвратным,
И все три царства дел своих
Войною, службой, нуждой их, —

Тот настоящего в немноги влил мгновенья
Минувших дней искус, мечты грядущих лет,
Тот — вышний — дал во власть работы и терпенья
И меру наших благ, и меру наших бед;
Тот вечну прю возжег меж злом и добротою,
Тот страсти оковал взаимною борьбою,
Пороки совестью сразил,
Бессмертьем — ужасы могил!

Что радость? — робкая забота насажденья!
Что скорбь? — с надеждою воюющий недуг!
Что страсти? — разума и воли треволненья,
Меж горним и земным работающий дух!
Труд царствует везде: чувств, мыслей воспитатель,
Он гения отец, богатств его стяжатель;
Где нет труда — огнь чувств без сил!
Высокий ум — орел без крыл!

Рвись, зависть, ковы строй — он змей попрет стопами;
Свирепствуй, нищета, — мужает он тобой!

Хлад душ! Презрение! растет, великий, вами,
И, победитель, мстит вам пользой вековой!..
Труд, в каплях падая, граниты пробивает,
Пронзает недра гор и блата иссушает,
На камнях Альпов хлеб растит
И в сердце злом добро плодит.

От слова — сонм миров вещественных согласный,
Что ж нравственны миры?.. слияния словес!
Язык — жизнь — труд умов, — повсе́мственный, всевластный
Орга́н зиждительных, всеправящих небес!
Труд в светлом образе гармонии священной,
Нисшед, собрал зверей, род, свыше отличенный,
Подви́г древа́, кремень возжег, —
И встал царь тварей — человек!

Сколь сладостно труда среди семейств явленье!
Он, матери любовь, лелеет колыбель;
Он будит чувствия, дает им направленье;
Отца испытный ум, он кажет подвиг, цель!
Он здравие, он страж; он присный наш хранитель;
Он в друге верном нам советник, утешитель,
Безмездный, даровитый брат,
Делитель скорбей и отрад!

Атлант, на раменах держащий неба своды,
Не труд ли свесил груз взаимностей и нужд?
Благотворящий дух, меж власти и свободы
Посредник и судья, корысти, рабства чужд,
Дал царствам, обществам он прочность, круг, законы
И, свыше вдохновен, воздвигнул грады, троны,
Почтенный — в славе алтаря,
Великий — в образе царя!

Где первый след ума, где первый путь познаний,
И кто — изме́ритель вселенныя — дерзнет
Обнять поля его побед, предначинаний?
Он, сам себе чудясь, ответа не дает!
Науки смелыя мыслительное зданье
Объемлет целый мир — племен, веков собранье,
Нерукотворный храм святой!
Кто жрец твой, боже? — Труд благой!..

Времен Экклезиаст, он в гордых мавзолеях,
В развалинах градов, в паденьи царств, царей,
Любви к отечеству в негиблющих трофеях,
В величии доброт, в ничтожестве страстей
Младого гения порывы искушает,
«Се! повесть дел твоих! Хвала и стыд! — вещает. —
Ты обществ член, ты гражданин;
Будь сам себе судьей, мой сын!»

Представь, как ты вступил в сей мир, пришелец новый,
Слаб, беден, гладен, наг, живая жертва бед!
Что ж встретило тебя? Покров и дом готовый;
На персях ты любви напитан и согрет!
Сшел ангел с небеси, сердцами родших зримый,
И силою тебя облек непостижимой;
Закон тебе во стража стал
И прав скрижали подавал!

Уже младенчества с невинными играми
Резвясь, без умысла ты учишь сам себя;
Там к счастию стези наследны пред очами;
Там славы хор гремит; честь, долг ведет тебя;
Там, к юноше стремясь, приветствуют науки;
Там царие земли дают друг другу руки
За жизнь твою, за твой покой;
Торговля, промысл, знаний рой

По суше и морям тебе приносят дани;
Там злато в дар тебе клубится по браздам:
Там грозны за тебя кипят с врагами брани!
Кто сделал всё сие? И что ты сделал сам?
Дерзнешь ли ты ступить на прах ногою хладной?
То праотцы твои! Пьешь воздух ты отрадный?
То их любовь — творец всего
До дня рожденья твоего!

О нравственных миров божественно светило!
О благодарность, мать общественных связей!
Твое внушение законы упредило:
Законы рождены, цветут в душе твоей!
Тебе покорствуют пустынь ливийских звери!
Тебе ль затворим мы сердец холодных двери?

Кто может сам себе лишь жить,
В кругу служений праздным быть?

Чертоги праздности возносятся блестящи
На пепле пламенем чреватыя горы,
Являются сады и рощи говорящи,
Веселий и забав приветные шатры;
И звуки сладких лир, и песни обольщенья...
Обман! — То всё скорбей, недугов облаченья,
Без тела тени лишь одне,
Мрак в свете, бури в тишине!

Там образ видится обилья недвижимый;
Там, мертвый предков блеск разбрасывая, знать
На персях лести пьет сон дряхлости томимый;
Самонадеянье там кра́дет дни, как тать;
Коварная хвала обрезывает крылья
Парящему птенцу; злой суд мертвит усилья;
Станицы игр, утех и нег
На темя в розах сеют снег!

Враг долга — враг себе, дань мстительного рока!
Народных хищник благ, семейств и обществ яд,
Разврата раб, стремясь к пороку от порока,
Он казнь свою плодит и страждет в чадах чад!
О труд, бесценный труд, небес благословенье!
Свобода, честь, покой, ты наше наслажденье!
Ты счастлив метою своей:
Жить в светлой памяти людей!

Без меты, горними объемлемой душами,
Всяк подвиг смертных зло, плод горький суеты!
Преступная земля, враждуя с небесами,
Нередко злых сынов вооружала ты!
Титаны восстают; на горы ставят горы,
Воюет огнь, вода, кипят стихий раздоры;
До звезд рог поднял Вавилон;
Но бог воззрел — и где же он?..

Куда стремишь полет, неистовый сын славы?
Неиссякаемый в коварствах исполин!
Падут окрест тебя и троны, и державы;

На грудь закона став, речешь ты: «Я един!
Корысть и жертва мне, терзайтеся, народы!
Облей всю землю, кровь, как в день потопа воды,
И я, осклабяся челом,
Ужасным вознесусь трудом!»

Напрасно! Злобы раб крушится сам собою,
Всегубящий вулкан в своих горит огнях!
Он рухнет, собственной раздавлен тяготою!
Что ж век, истраченный в крамолах, суетах?
Что ж беспрерывные алканья исступленья?
Что праху золота позорные служенья?
Крез в жизни миг единый знал,
Когда Солона призывал!

Слепые! мните вы — о, жалкое мечтанье! —
Вы мните, тяжких клятв окованные мглой,
Для света вырость вновь, продлить существованье
В громадах пирамид и в пышности немой!
Не ваши призраки из сих гробниц исходят;
Нет! — тени мщения окрест их грозно бродят,
И воет в мертвой пустоте
Стон тысяч падших в снедь тщете!

Труд честный блага все, не купленные страстью,
Посредственности дал. Он ратая семье
Открыл ближайший путь к святой свободе, к счастью;
В свет горний мудрого облек он бытие!
Всяк мирный гражданин, трудяйся правде, богу,
Живой совет, пример, друг нищу и убогу,
Цветет и по закате дней
Благословением людей!

Где знамения дел, земле, творцу любезных!
Пожарского колосс — спасенный Кремль, престол;
Демидова хвала — сады наук полезных;
Гроб Шереметева — целенье скорбей, зол!
Петр дышит, жив в тебе, великая Россия!
Екатерина в вас — закон, права святые!
Европа, ты в урок векам
Благ Александра вечный храм!

<1825>

ОСВОБОЖДЕННЫЙ
ІЕРУСАЛИМЪ.

ПОЭМА

ТОРКВАТА ТАССА,

Переведенная съ Итальянскаго

Алексѣемъ Мерзляковымъ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.



МОСКВА.
Въ Университетской Типографіи.
1828.

ИЗ „ОСВОБОЖДЕННОГО ИЕРУСАЛИМА“ ТАССО

ПЕСНЬ ТРЕТИЯ

Уже предвестник дня, овлаженный росою,
Повеял легкий ветр над утренней горою.
Аврора восстает с румяных облаков;
Унизан розами превыспренних садов,
Златой ее венец полнеба озаряет.
Уже по стану клик отрадный пробегает;
В доспехах воины; ударил трубный гром,
И с шумом разлилось веселие кругом.
Вождь мудрый властию, любви единой сродной,
Питает, правит пыл отваги благородной.
О, гневный ратей жар! Удобнее стократ
Сдержать стремленье волн в кипящий Сциллы ад;
Удобней стать против бореев, устремленных
С утеса Аппенин на гибель флотов тленных.
Готфред — правитель бурь: он гласом, взором он
Дает их быстроте устройство и закон.
Не стопы их несут; их крыла увлекают;
Крылатые сердца полет их упреждают;
Казалось, их следов не слышит мать-земля.
Но солнце мещет взор на бледные поля:
Зарделась окрестность, огнем его палима,
И загорелися главы Ерусалима.
Се ты, Ерусалим! — вкруг тысячи гремят;
Се ты, Ерусалим! — приветствуем стократ!
Так смелые пловцы, игралище волнений,
Для славы льстивыя далеких откровений,
При блеске чуждых звезд, в незнаемых морях,
Блуждают жертвы зол, — вдруг в жаждущих очах
Родимая земля над пеной волн синеет;
Всё ближе, всё ясней, и сердце их светлеет;
Забыто горе, труд; к ней руки, к ней привет:
Как будто не было ни бурь для них, ни бед! . .

Но радость первого на божий град воззренья
Сменилась трепетом немым благоговенья.
Прискорбной думою томятся души их;
Не смеют глаз вознесть к укрепам стен святых;
Всяк мнил: се, бренное предвечного селенье! —

Здесь умер, здесь принял земное погребенье, —
Здесь, гробу покорясь, гроб смертный победил
И ризу тела он бессмертьем обновил!..
Взор слезный, тихий глас, прерывные рыданья,
И вздохи тяжкие, и теплые взыванья —
Всё вкупе: радость, грусть и умиленный страх,
Слияся в гул един, носилися в рядах.
Так бурный ропщет ветр в глуби дубравы скромной:
Деревьев слышен скрип и говор листьев томный;
Так волны ярые, меж скал или брегов,
Дробясь, возносят вой и стон до облаков.
Все ратники — вождей примеру подражают:
Необувенные путь тихий продолжают;
И злато, и сребро, нарядов пышный вид
Отринут: очи он смиренных тяготит;
Их шлемы лишены приборов искрометных,
И в перьях не горят верхи их разноцветных;
Но паче вредное блистание сердец,
Вы, гордость и тщета, забыты вы вконец!..
С слезами кротости и самоотверженья
Они в себе винят холодность умиленья.
«Так, здесь, спаситель мой! — гласит герой, стеня, —
Так здесь излита кровь святая за меня!
И я, бесчувственный, к следам твоим касаюсь!
И я в источник слез еще не превращаюсь!
И сердце льдяное не тает от скорбей!
Согрейся, хладна грудь! терзайся, рвись, болей!
Преступная душа! теперь ли мне изменишь?
Ты вечностию слез минут сих не заменишь!»

Так веры выспренней крушилися сыны.
Меж тем неверных страж, с бойничной вышины,
Чрез горы и поля простря свое вниманье,
Зрит дали мглистыя крутое волнованье;
То заревом оно, то пламенным столпом,
То тучею грозит, стремящей бурный гром;
Еще мгновение — и мраки расступились,
Брони горящие и всадники открылись.
«О небо! — возопил, — отколь, с каких степей
Сей праха черный вихрь — сей рдяный вихрь огней? —
Отколь сия гроза? — К оружию! на стены!

К защите, граждане, покоем обольщенны!
К защите! — брань зовет! — несется супостат!
Уж близок. — Стонет гул — равнины вкруг дрожат!
Как разливаются полки его волнами! —
К оружию, скорей! — Несметные пред нами!..»
Восколебался град! И старец, и младой,
Бессильная толпа, недружная с войной,
И жены, чуждые убийственной науки,
Подъемлют к алтарям трепещущие руки;
В доспехах ратники, воспитанны в боях;
В доспехах селянин, могущий стать в рядах;
Волнуются вкруг стен; стоят — вратам опора;
Всё движет Аладин, всё плод его надзора!

Раздав веления, потребные вождям,
Султан, исполнен дум, в бойницу входит сам,
Которая, восстав между двумя вратами,
Казалось, царствует над долом и горами;
Отсель он видит, где опаснейшая брань,
Где нужен ум его иль опытная длань.
Эрминия одна его сопровождала.
Когда наследный град Антиохи́я пала,
Она, прелестная, оставив дом отцов,
В царе сем обрела и друга, и покров.

Клоринда между тем летит на поле боев;
С ней многие текут; одна впреди всех воев.
Аргант, таясь в глуши засады, был готов
Приять и поразить нахлынувших врагов.
Неустрашимая, стоя перед рядами,
Дух ратников крепит и взором, и словами:
«Теперь, теперь, друзья, мы подвигом благим
Надежду первую Востока утвердим!»
Рекла — и видит сонм противных отдаленный,
Стяжаньем до́бычи обычным увлеченный:
Отважные текли в стан радостный тогда,
Гоня перед собой богатые стада.
Бестрепетная к ним, обстала вкруг ловитвы.
Гордон, их вождь, дает знак гибельныя битвы.
Герой великих сил, но слабый перед ней.
Удар — и роет прах он тяжестью своей;

Несчастный пал в очах двух полчищей враждебных;
Срацины в откликах веселых и хвалебных
Являют свой восторг, их суетный совет
Сию победу чтит предвестием побед.
Клоринда грозная смятенных в сонм влетает;
Ее рука сто рук могучих заменяет;
Сподвижники вослед стезей кровавых сеч,
Которые отверз ее ужасный меч,
Врубаются, женут, добычу их уводят;
И верные, стеснясь, среди мечей отходят
Шагами тихими на высоту холмов;
Там стали, укрепясь. К ним помощь от шатров:
Как ветр порывистый, крутя пески сыпучи,
Как огнь падет из недр громоносящей тучи,
Танкред, Готфредовы веления прияв,
Танкред спешит с полком, копье свое подъяв!..

Огромное копье, игра руки дебелой,
Приятный, стройный стан, решимый вид и смелый
Пленили взор царя: не сводит он очей
И чтит его одним из избранных вождей.
Потом, склоняся к той, которой трепет страстный
Давно уже сказал, кто витязь сей опасный, —
«Царевна! — он гласит, — ты зрела франков рать,
Ты можешь их вождей и в шлемах познавать!
Поведай мне, кто сей, столь быстрый, столь красивый,
Играющий копьем с улыбкой горделивой?»
Изрек. Ответом вздох и слезы лишь одне!
Стремится стон сокрыть в сердечной глубине;
Но влажный взоров блеск, но персей волнованье
Являют тайное души ее страданье.
Прелестная молчит, вздыхает, плачет вновь,
Наружною враждой прикрыв свою любовь.
«Увы! — гласила так, — его давно я знаю...
Меж тысячей его я сердцем угадаю.
Он кровью наших сил долины упоил,
Он рвы глубокие телами завалил;
Все травы, чары все науки ухищренной
Не могут врачевать им раны нанесенной.
Опасен он сердцам!.. Ах! витязь сей, Танкред,
Боюсь, чтоб не погиб... чтоб лютый меч... нет! нет!
Я в плен бы увлещи жестокого желала!..

Чтоб видела его и сердце бы питала
Той местью сладостной, для коей я жива!»
Вещала — тяжкий вздох прервал ее слова...
«Все, все они, — рек царь, — найдут иль плен, иль гробы...»
(Слепой! он страсть любви порывами чтил злобы!)

Клоринда между тем, склоняся на луке,
К Танкреду понеслась; — копье в ее руке.
Стеклись, ударили в забрала шлемов медных —
И копья их летят в обломках искрометных.
Часть выи девственной была обнажена.
Еще удар... о, страх! — связь шлема сорвана...
Он снят... на сталь волна златых власов упала.
В грозящем ратнике красавица предстала.
Ланиты в пламени... горит враждою взгляд.
Взгляд милый в гневный час! — что ж был бы в час отрад,
С улыбкою любви? Танкред ожесточенный!
Где мысль твоя? Где взор? Ужели, ослепленный,
Еще ты не познал прелестных сих очей?
Вот радость! вот тоска! мечта души твоей!
Ах! в сердце у тебя сие изображенье;
Спроси его: оно рассеет заблужденье! —
Ты зрел ее, ключа пустынного в струях
Омывшую с чела почтенный браней прах! —
Ты зришь сей шлем, сей щит, сии ланиты нежны —
Сей призрак дум твоих бесценный, безнадежный!..
Он видит наконец... смущен, недвижим, нем! —
Она, сокрыв главу, против него с мечем.
Он вспять, она за ним; женет, — бежит несчастный,
На жертвы новые стремит булат ужасный.
Но грозная к его привязана следам;
«Постой, сразись!» — гласит, и вдруг к его стопам
Повергнула двоих, две мщению препоны.
Разимый не разит, не хощет обороны;
Взор быстрый не к мечу, к сим взорам прилеплен,
В которых страсти бог устроил вечный плен.
«Ах! что твоя рука? — герой в себе вещает, —
Удар булата вмиг бесплодно погибает;
Но стрелы прелестей не тщетны, не умрут,
Сквозь медную броню в сердца они идут!..»

Решился наконец — и мыслить не дерзая
О нежности ее, — решился, умирая,
Излить он таинство несчастное пред ней;
Чтобы узнала всё, что он ей не злодей,
Что пленник, раб ее, трепещущий, смиренный:
«О ты, которой гнев, судьбою воспаленный,
Являет, что тебе здесь в тысячах врагов
Врагом лишь только я... оставь ряды полков!
Отделимся... наш долг — верней познать друг друга;
Изведаем себя вне буйственного круга». —
Приемлет договор. — С блистающим мечем,
Забыв, что влас ее не осеняет шлем,
Жестокая летит; за ней Танкред унылый,
Преступник, пред своей открытою могилой.
И битва началась. — «Помедли! — он речет, —
До брани совершим мы брани сей завет».
Остановилася. — Любовь, тоска, томленье
В страдальческую грудь вливают дерзновенье.
«Коль мира утвердить не хочешь ты со мной,
Внемли завет, — изрек отчаянный герой, —
Вот сердце: исторгай, рази его по воле;
Оно не может жить, когда не может боле
Жить токмо для тебя: оно твое давно.
Теперь сверши удар: мне гибнуть суждено! —
Воззри: вот здесь мой меч. Кидаю шлем, забрало...
Вот грудь открытая... что медлишь? или мало?
Иль помощь для тебя — или мой нужен плен?
Воззри: срываю я броню свою с рамен...
Карай, жестокая!..» — Еще Танкред несчастный
Стремился изражать любви мученья страстной,
Как вдруг неверных сонм свирепостью реки
Нахлынул с воплем к ним. Смешалися полки,
Кипят... и варвары теперь не устояли;
Иль хитрость, или страх к твердыням их погнали.
Един из христиан — бездушный враг красы, —
Зря юной всадницы волнуемы власы,
К ней гибелью спешит, приблизился, над жертвой
Заносит с тылу меч; к нему — Танкред полмертвый.
«Постой!» — вскричал; летит, не удержим ничем,
Удар ничтожного отбил своим мечем.
Но поскользнул булат — дымится легка рана,
С власами русыми смешалась кровь багряна,

И капли редкие на выю к ней падут.
Таков художника испытанного труд:
Рубина нежный огнь на золоте пылает.
Танкред неистовый, как лев в лесах, рыкает;
К врагу презренному направил свой полет.
Но ратник вспять пошел. Танкред за ним вослед,
Как вышнего перун, гроза неизбежима.
Клоринда, зря сие, безмолвна, недвижима,
Не знала, что начать, не верила очам;
Потом с толпой своих пустилась ко стенам.
Но часто на бегу претящею являлась;
И отступала вдруг, и вдруг остановлялась,
Бежит, преследует, окружена, и нет!
Не хочет уступить, не хочет и побед!
Таков является в ристалищах оградных
Вол ярый среди псов, горячей крови жадных;
Уставит ли рога — рассеялись дождем;
Бежит — и все за ним, и все впилися в нем.
Бесстрашная главу щитом приосеняет,
Удар удару вслед бесплодно погибает.
Так мавр, стремясь назад, умеет на играх
Остановлять меча враждебного размах.

Уже гонимые, гонящие в злой сече,
Все вкупе, утекли под самый град далече, —
Внезапно страшный вопль раздался по странам:
Неверных полчища, подобяся волнам,
Разлились из засад и долы наводнили;
Мгновенно христиан сращины окружили;
Те с тылу, те с боков, и сам Аргант с полком,
Как смерть, отчаянных предстал перед лицом.
Черкес неистовый, в огне и бурях хладный,
Исходит из рядов, как волк из нырищ гладный.
Се! — всадник пылких лет, отвагою влеком,
Одним ударом пал, — пал купно и с конем.
Уже вкруг грозного лежали трупов горы;
Ненасытимые горят убийством взоры;
Копье его летит отломками на прах.
Он поднял тяжкий меч — противным новый страх!
Клоринда с ним делит лавр чести и искусства.
Уже Арделион, без образа, без чувства,
Лежит седый герой, но доблий в сединах!

Подпору старости он зрел в двоих сынах.
Напрасно!.. старший сын Алкандр, ее рукою
Жестоко поражен, не мог закрыть собою
Родительской груди; а Полиферн младой
Едва и сам избег от смерти роковой!..
Меж тем Танкред, в пылу отмщения слепого,
Напрасно мнил постичь врага Клоринды злого:
Быстрейший конь его от казни уносил.
Герой, остановясь, взор к спутникам склонил:
Уже, влекомые отвагою безумной,
Пределы перешли и гибнут в сече шумной,
Объятые врагом; — коню бразды дает,
Летит — и кто за ним? — всей рати крепость, цвет,
Дудона с знаменем Дудона ополченье! —
Ренальд, смиритель битв, красавиц восхищенье,
Ренальд напереди. — Не столь порывист гром!
Уже Эрминия, познав его шелом,
На коем изражен орел быстропарящий,
Познав сей стройный стан, сей вид, врагам грозящий, —
«Вот, вот, — гласит царю, — отважнейший из всех!
В сей длани положен судьбиной битв успех;
Нет равного ему в искусстве ратных прений,
Соперник не рожден. Он, отрок, — бог сражений!
Когда бы франков рать сочесть в себе могла
Еще подобных шесть: о, море бед и зла!..
Во узах христиан владыки б восстенали,
И Полдня и Зари народы бы познали
Со трепетом его законов новый свет;
И хитрый Нил, в горах сокрывший свой хребет,
Склонился б влажною к стопам его главою. —
Его зовут Ренальд... одной своей рукою
Скорее мáхин всех он стены потрясет.
А сей, которого отликой злачный цвет
На сребряной броне, — Дудон его названье.
И слава прадедов, и дел его сиянье
Со всеми первыми сравнять его могли;
Лета ему права начальства принесли.
Другой — окрест его... как черный дуб великий,
Жернанд, отважный брат норвежского владыки;
В нем сердце гордости тщетой напоено,
Блестящих дел его позорное пятно!

Сии два витязя — союз четы примерной!
Во сребряных бронях, супруг с супругой верной!
Гилдиппа! Одоард! влюбленных образец
И храбростью в боях и нежностью сердец!»

Рекла. — В сей страшный час свирепой буря брани
Расколыхалася — стеснились с дланьми длани —
И льется кровь рекой. — Танкред с Ренальдом там,
Где ратники густей, где меч отпор мечам;
За ними вслед Дудон с дружиною громовой;
Кружится, сеет смерть на ниве он лавровой.
Аргант, и сам Аргант Ренальдовой рукой
Стеснен и поражен, смерть видит пред собой —
Едва подъемлется... погиб бы дерзновенный!
Но вдруг Ренальдов конь, в порывах закруженный,
На землю грянулся со всадником своим;
Стеснившись, рыцари приникли в помощь к ним.

Тогда язычники, смятенны ярым страхом,
Помчались, тыл закрыв позора дымным прахом.
Аргант с Клориндою стояли, как оплот,
Как гордая скала противу бурных вод.
Текут последние и бьются в отступленье,
Усилий христиан преграда и томленье! —
За ними, роя ся, как пчелы за стеной,
Безбедно варвары побег скрывают свой.
Дудон обманчивым успехам предается,
По трупам, весь в крови, неистовый несется,
Всё рубит, всех разит, как летнюю траву.
Единым взмахом снял Тигранову главу;
Алзара не спасли крепчайшей меди латы;
Расшибен сильного Корбана шлем пернатый;
Тот в выю поражен, другой в состав плеча;
Там вышла сквозь лицо, здесь в перси сталь меча.
И ты, о Амурат! пал мощною рукою;
Мегмед и Альманзор, с томительной борьбою,
Извергли злобный дух, дух, преданный мечтам!
Аргант, Аргант здесь был небезопасен сам.
Кружится великан, в движениях сомненный,
То близ свирепствует, то реет отдаленный;
Нетерпеливою волнуется душей,
И се, — летит, напал — нечаемый злодей —

И меч в ребро вождя открытое вонзает:
В кровавом паре жизнь из раны истекает;
И очи томные, объяты смертной тьмой,
Сковал железный сон и тягостный покой.

Трикраты он отверзть глаза свои стремится,
Чтоб милым светом дня в последний насладиться,
Трикраты, опершись на локоть, встать хотел,
Трикраты упадал... вдруг взор оцепенел,
Закрылись вежды... смерть оледенила члены;
Немеют, влагою холодной орошенны!
Неистовый Аргант, еще ненасытим,
Чрез бледный труп протек к убийствиям иным;
Свирепой радостью кипят кровавы взгляды;
Хохочет — и, склонясь на галльские отряды,
«Сей меч, — гласит, — мне дар от вашего царя;
Еще дымится он, весь кровию горя;
Поведайте ему, как я употребляю
Сей ратный дар его. — Он будет весел, знаю! —
Скажите, в сем мече дороже мне стократ
Доброта прочная, чем блещущий наряд! —
Скажите, что он сам то скоро испытает.
Что медлит? иль меня во стане ожидает?
Приду! недолго ждать! его недолог страх!» —
Изрек, героев сонм вскипел при сих словах;
Стеснились, гордостью безумной оскорбленны,
Летят против него, как вихрь воспламененный...
Летят... но где борец?.. С толпами увлечен,
Он спесь свою сокрыл в тени охранных стен.
Как буря с гор валит, дыша мертвящим хладом,
Посыпались со стен каменья грозным градом;
Как туча снежная в свистящей быстроте,
Секутся, реются тьмы стрел на высоте;
Убийственная мгла над ратью отягчилась.
Лиется смерть вокруг, и — храбрость изумилась;
Недвижны верные... и полчища срацин
Безбедно входят в град... Но се, Бертольдов сын!
Течет, вращая месть в губительной деснице
Дудона падшего свирепому убийце,
«Чего вы ждете здесь? — почто стоять? — вперед!
(Со громом бурных слов оружий гром ревет.)
Или не слышите к вам крови вопиющей? —

Иль отрицаетесь от чести, вас зовущей?
Как! — Мщенью нашему преграда может быть, —
Ваш гнев, ваш правый гнев твердыня преградит!
Нет! нет! будь сталь она, будь крепче адаманта,
Будь сложена из гор, не защитит Арганта!
Найдем его везде. — Смерть, смерть ему удел! ..
На приступ, воины!» — и первый полетел,
И храбрые за ним кипящими волнами.
Уже осыпан шлем несчетными стрелами,
И камней облака упали на него.
Он, отрясая шлем, не видит ничего. —
Высокое чело, как небо пред грозою,
Нахмуряся, страшит решительной борьбою;
Ланиты гневные то бледны, то горят,
И сердца в глубине трепещет смутный град.
Мужают витязи. . . сарацины цепенеют;
Их руки на мечах, бездейственны, хладеют.
Был час решительный! .. Но мудрый Сегиер
От имени вождя к героям речь простер;
Исполнен твердости решимой, непреложной,
Претит отваге он сердец неосторожной:
«Вспять, храбрые! — не здесь, не здесь для вас чреда! —
От вашей доблести не здесь мы ждем плода!» —
Вещает так Готфред. — Ренальд остановился,
Безмолвный, трепетал; покорный, он ярился.
Как бурная волна, стесненная средь скал,
Он уступил... но гнев в глазах его блистал.
Невольно вспять текут Христовах чад дружины —
И смотрят с ужасом на отступ их сарацины...

Тогда последнюю приемлет честь Дудон:
Шум, клики ратных бурь сменили плач и стон.
Унылые друзья, сложив щитами длани,
Почте́нный, милый труп выносят с поля брани.
Готфред, на высоте горы уединен,
В то время озирал твердыни градских стен.

Сей град на двух холмах основан укрепленных,
Неравной высоты, друг к другу обращенных;
Меж ними посреде глубокий дол лежит,
Столицу древнюю он наполы делит.

С трех стран к ней тягостно и страшно приближенье;
От северной едва приметно возвышенье, —
Сия для чуждых сил открытая страна
Стеной высокою и рвом защищена.
Внутрь града хитрыми устроены руками
Хранилища для вод, даруемых дождями,
Каналы и пруды, и стоки струй живых;
Окрестность вся в песках безжизненных, пустых;
Вкруг наго, сухо всё; нет рек, ключей отрадных,
Не осеняет в зной деревьев тень прохладных;
Не улыбается ни злак, ни блеск цветов!
И странник, удалясь сто стадий от валов,
Сретает древний бор, духо́в гееннских сени,
Обитель мрачную коварств и обольщений!
Блаженный Иордан с Ливановых высот
Катит струи своих священно-славных вод;
От запада валы Средьземной бездны воют,
Кипя, в песках брегов седую ярость кроют;
На севере Бетиль, склоненный пред тельцом,
И с бледным Самарит неверия челом;
Меж ними Вифлеем, туманом покровенный,
Смиренна колыбель зиждителя вселенной.

Так мудрый ратей вождь провидящим умом
Измеривал сей град и твердость стен кругом,
И выгоды страны, и местоположенья,
И перстом указал, где полю быть сраженья,
Где слабая страна, где приступа венец...
Эрминия его узрела наконец.
«Се он! — гласит царю, — сей муж под багряницей,
С величием в очах, с простертою десницей,
Которой, кажется, уставы подает,
Осанист, благ лицом... сей дивный муж, Готфред,
Судьбами вышнего рожденный для короны.
Он знает и вождя, и ратника законы;
Меж всеми первый он в советах и в боях,
Везде герой велик, везде противным страх.
Единый лишь Раймонд с ним мудростию равный;
Один Танкред, Ренальд толико ж в битвах славны».
«Дух витязя сего мне с давних лет знаком, —
Ответствовал Султан. — Когда я был послом

Египта — при дворе Галлийском знаменитом,
Тогда на зрелище игр доблестных открытом
Я видел, как копьем он тягостным владел.
Тогда он отрок был; пух легкий чуть одел
Ланиты светлые, но взор, слова, движенья
Являли выспренность его предназначенья.
Тогда я провещал, что будет он герой...
Нерадостный пророк!» — Покрытые слезой
Здесь очи Аладин смущенный потупляет;
Но вскоре, укрепясь: «Вещай мне, — продолжает, —
Кто сей, столь дружный с ним, грядущий о стране,
В багряной мантии? — Черты лица одне;
Один и тот же взгляд... Он ниже токмо станом».
«То Бодуин, — рекла царевна пред тираном, —
Не образом одним, делами брат и друг». —
«А сей, которому внимает ратный круг,
По левую страну, советодатель сильный?» —
«Раймонд. — Уже хвалы я пред тобой обильны
Рекла его уму, хитрейшему в полках:
В нем опыт возмужал и поседел в боях!
Искусный сплетать врагу сокрыты ковы,
Творит он из засад леса себе лавровы». —
«А сей, на коем шлем во злате, как заря?» —
«Вильгельм то, доблий сын британского царя.
С ним Гвелф, гроза врагов, сподвижник храбрым равный,
Породой, знатностью и саном достославный;
Высока, крепка грудь, широки рамена —
Вот признаки его. Он воинства стена.
Но злейшего не зрю меж нами супостата,
В ком трона моего и племени утрата!..
О рода моего убийца и укор!
Где ты, о Боемонт, скрываешь свой позор?..»

Так царь беседовал с Эрминией унылой.
Меж тем Готфред, ума зиждительного силой
Окрестность обозрев, нисходит в сонм друзей.
Он ведал: труден путь нагорною стезей —
Там должно брань вести с природою угрюмой,
И к северным вратам склонился ратной думой.
В долине против них устроил стан он свой,
Простерши рати цепь до башни угловой.

Так, третью токмо часть укреп Святого града
Держала в трепетном борении осада;
Но весь объем его кривых, обширных стен
Не мог быть ратию Христовой обложен.
В замену вождь обрел пособия другие,
Дабы пресечь пути для помощи чужия:
Он занял все места, известные врагам;
Нет выхода из врат, нет входа ко вратам.
Окопы, рвы кругом одели стан священный —
Оплотом дерзости внезапно устремленной.

Свершив сии труды великие, Готфред
К герою, бранный путь скончавшему, течет.
В сумра́ке скромного величия глубоком
Поставлен на одре торжественно высоком
Дудона чтимый прах. — Друзей его собор
Стоял, склонив к нему от слез померкший взор.
Пришествием вождя и стон, и плач удвоен;
Явился к ним Готфред ни мрачен, ни спокоен;
Пыл горести в душе могущей подавлен;
Терзаемый тоской, но ею не сражен,
На тело устремив недвижимые очи,
Безмолвствовал герой, как призрак в мраке ночи.

«Не слезы и не плач, — вещает наконец, —
Ты должен восприять от преданных сердец,
Почивший для земли, для неба пробужденный,
От праха смертного к бессмертью воскриленный! —
Ты славой озарил победный путь креста;
Ты жил и умер ты, как избранный Христа!
Окончены труды и мужества, и веры;
Оставлены друзьям великие примеры.
Блаженная душа! спокой твой грозный взгляд!
Нет брани, нет врагов в обители отрад.
Блаженствуй и ликуй! .. Нам слезы, нам рыданья!
Не твой, но жребий наш достоин состраданья!
В тебе утратили мы часть себя самих!
В тебе лишились мы сил собственных своих!
Но если то, что мир здесь смертью называет,
Земныя помощи друзей твоих лишает,
Отныне, восклонясь перед отцем благим,
Ты помощь вышнюю испросишь в горе им!

Ты, смертный, следуя и долгу, и закону,
Орудья тленные нам ставил в оборону...
Бессмертный... ах! позволь надеждой льститься сей —
Пред нами потечешь незримой ты стезей;
Архистратиг небес, ты верных пред полками
Всегубящими днесь оденешься громами...
О горний дух! Внуши молитвенный обет,
Скажи, устрой наш путь, будь вестник нам побед!
И если, славою правдивою венчанны,
Мы подвиг совершим и клятвы, нами данны,
Тогда тебе, герой, мы жертвы принесем;
Тогда твои хвалы во храмах воспоем!»

Вещал — и се, спустясь, царица темнокрыла
Последний гасит луч небесного светила.
Сон сладкий усыпил скорбь томную в сердцах,
И не горит слеза страдальца на очах.
Но вождь не предвкушал сна сладостей отрадных;
Он ведал: трудно град пленить без ма́хин ратных;
Искал окрест лесов, строеньем их спешил
И, всё распорядя, немного опочил.
Но с Фебом восстает для должности печальной,
За колесницею грядет он погребальной.
От стана невдали, утеса при стопах
Унылый кипарис вместил Дудона прах,
И пальма гордая вкруг ветви расширяет;
В тени ее герой по бурях почивает.
Спустили черный гроб, омытый током слез;
Синклит на небеса мольбы свои вознес;
На ветвях в памятник — трофеи вкруг богаты:
Повешены мечи, доспехи, шлемы, латы,
Которые Дудон, сириян, персов страх,
Доселе приобрел в счастливейших боях.
Близ древа щит его с геройским одеяньем;
И дска о нем гласит правдивым надписаньем:
«Здесь в мире спит Дудон... Пришлец, остановись,
Пред прахом сильного смиренно преклонись!»

Исполнив тако долг, печали посвященный,
Друг веры и любви стал паки вождь военный.
Под кровом избранной дружины из полков,
Он древосеков шлет в глубокий мрак лесов.

К дубраве страшной сей, сокрытой за горами,
Сириянин привел их тайными стезями.
Там грозные росли махины против стен,
Там хитрый ум творил Солиме верный плен.
Кипящие в трудах друг друга упреждают,
Дубравы мрачные от их секир стенают;
Там эхо дикое от первых мира дней
Впервые слышит стук, впервые зрит людей.
Под ярым острием багряного булата
Падет высокий клен и сосна кудревата,
И пальма стройная и томный кипарис;
С гедерой соплетясь, скончался нежный тис.
Пустыни дикия старейшины почтенны,
Огромный древний дуб и кедр превознесенный,
Необоримые для бурей и веков,
Лежат в сырой траве без ветвей и листов.
Там ратники, стеснясь, деревья тянут роем;
Железна гнется ось, скрыпят колеса с воем;
Рабочих крик и стон, стук млатов, звон мечей
Женут из дебрей птиц и из пещер зверей.

<1810>

ПРИМЕЧАНИЯ

Стихотворения А. Ф. Мерзлякова никогда не были собраны полностью. Большинство произведений при жизни поэта было разбросано по разным периодическим изданиям («Приятное и полезное препровождение времени», «Утренний свет», «Вестник Европы», «Амфион», «Труды Общества любителей российской словесности при Московском университете» и др.). Некоторые были опубликованы отдельными брошюрами. В 1807 г. Мерзляков опубликовал два сборника: «Идиллии госпожи Дезульер, переведены А. Мерзляковым». М., 1807, и «Эклоги Публия Виргилия Марона, переведенные А. Мерзляковым, профессором имп. Московского университета». М., 1807. Последний сборник, кроме вступительной статьи Мерзлякова, включал идиллии Феокрита, Биона и Мосха, а также десять эклог Виргилия. Только в середине 20-х гг. Мерзлякову удалось издать следующий двухтомный сборник: «Подражания и переводы из греческих и латинских стихотворцев». М., 1825 — 1826. В 1828 г. в двух томах вышел перевод «Освобожденного Иерусалима» Тассо. После этого, как свидетельствуют рукописи, хранящиеся в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина (ф. ОЛРСЛ, п. 24, ед. хр. 1—2), Мерзляков приступил к подготовке полного собрания своих стихотворений. Им был составлен список 85 стихотворений под заглавием «Переписанные в большой тетради, кроме напечатанных в переводах и подражаниях». Последнее свидетельствует, что список составлен после 1825—1826 гг. — времени выхода «Подражаний и переводов». Однако осуществить это издание Мерзлякову, видимо, из-за материальных трудностей, которые (как явствует из его жалоб в письмах В. А. Жуковскому) были главным препятствием для реализации его издательских планов, не удалось. Тогда возник проект более сокращенного издания, которое должно было включить лишь песни и романсы. В это же время, видимо, и был составлен другой список, включающий лишь произведения этих жанров, также хранящийся в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина. В 1830 г., в год смерти А. Ф. Мерзлякова, вышел сборник «Песен и романсов», который потом, в течение XIX в., несколько раз перепечатывался. В середине прошлого столетия Общество любителей российской словесности при Московском университете приступило к изданию полного собрания сочинений Мерзлякова. Издание это не было доведено до конца, и вышедшие в 1867 г. под редакцией М. П. Полуденского две части «Стихотворений» не дают сколько-нибудь полного представления о Мерзлякове-поэте. Существенным

недостатком издания является отсутствие в нем переводов из античных авторов, высоко оцененных Белинским и необходимых для понимания творчества поэта. В основу издания 1867 г. положено понимание Мерзлякова как казенно-официального поэта: заказные оды, написанные по поручению университетского начальства, поставлены на первый план, и количество их искусственно увеличено, поскольку к ним отнесены произведения, никакого отношения к официозной поэзии не имеющие. Так, например, остро политическое стихотворение «Ода на разрушение Вавилона» на основании формального признака включено в раздел «духовных стихотворений».

Настоящее издание не является полным собранием стихотворных произведений Мерзлякова. Официальные оды Мерзлякова не имеют для современного читателя ни художественного, ни исторического значения. Способность Мерзлякова к поэтической импровизации, отмеченная многими современниками, составляя своеобразие дарования поэта, имела и отрицательную сторону — ряд его произведений, писанных по просьбе кого-либо из приятелей или «к случаю», отмечены печатью творческой небрежности и в художественном отношении мало интересны. Из этих соображений в сборник не включены такие произведения, как, например, обширная поэма «Амур в первые минуты разлуки своей с Душенькой». Вместе с тем составитель считает необходимым ознакомить читателя хотя бы с отдельными отрывками таких произведений, как перевод «Освобожденного Иерусалима», необходимыми для объективного представления о характере творчества поэта.

Рукописи стихотворений Мерзлякова не сохранились. Тетрадь, в которую он вносил подготовляемые к печати произведения, была утеряна вскоре после смерти поэта. Предпринятые еще в середине прошлого столетия розыски автографов Мерзлякова успехом не увенчались. В основу нынешнего издания кладутся тексты прижизненных публикаций. Вопрос о том, какие из них — первые или последующие публикации следует предпочесть, не всегда может быть решен одинаково: в ряде случаев переработки подсказаны художественными соображениями, и тогда (как это, например, имеет место в истории текста песен, романсов и переводов античных поэтов) в настоящем издании воспроизводится текст последней прижизненной публикации.

Но Мерзляков стремился в ряде случаев приглушить общественное звучание своих ранних произведений, приспособить их к цензурным условиям. В этих случаях предпочитаются первые публикации, что каждый раз оговаривается в примечаниях. В большинстве же случаев публикация стихотворений Мерзлякова не вызывает каких-либо затруднений, так как тексты первых публикаций он часто перепечатывал без всяких изменений. Поэтому в примечаниях, кроме случаев, специально оговоренных, указание на первую публикацию означает и источник, по которому воспроизводится текст стихотворения.

Первый раздел настоящего издания полностью воспроизводит текст сборника «Песни и романсы» и его композиционное построение. Целесообразность сохранения авторской композиции в данном случае подкрепляется и тем, что время написания песен и романсов Мерзлякова в большинстве случаев неизвестно. Избранные «подражания» и переводы античных поэтов, составляющие второй раздел книги,

публикуются по авторам. В третий раздел «Разные стихотворения» вошли произведения, собрать и издать отдельным сборником которые Мерзляков не успел. Стихотворения этого раздела публикуются в хронологической последовательности. Ввиду того, что все произведения двух первых разделов вошли в состав сборников «Подражания и переводы» и «Песни и романсы», включение их в эти издания в примечаниях не оговаривается.

Время написания большинства произведений Мерзлякова пока неизвестно. В этих случаях под текстами стихотворений указываются даты первых прижизненных публикаций (в угловых скобках). Следует в этой связи отметить, что даже определение времени первых публикаций песен и романсов Мерзлякова сопряжено с рядом трудностей, поскольку многие из них впервые печатались в приложении к нотам. Издания подобного типа далеко не полностью учтены. Так, например, нам не удалось обнаружить полного комплекта издания Д. Кашина «Журнал отечественной музыки», в котором печатались некоторые песни Мерзлякова. Ввиду этого под текстами песен и романсов даты приводятся лишь в тех случаях, когда удалось обнаружить время первой публикации того или иного стихотворения, причем публикации, предшествующей сборнику 1830 г.

Все редакторские заголовки и конъектуры в текстах стихотворений даются в угловых скобках.

Условные сокращения

Амф. — «Амфион».
ГПБ — Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.
ВЕ — «Вестник Европы».
ЖМНП — «Журнал министерства народного просвещения».
«Идиллии» — Идиллии госпожи Дезульер, переведены А. Мерзляковым. М., 1807.
ИРЛИ — Институт русской литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом).
П и П — Подражания и переводы из греческих и латинских стихотворцев А. Мерзлякова, ч. 1—2. М., 1825—1826.
П и Р — Песни и романсы А. Мерзлякова. М., 1830.
Пр. и пол. — «Приятное и полезное препровождение времени».
ТОЛРС — «Труды Общества любителей российской словесности».
«Эклоги» — Эклоги Публия Виргилия Марона, переведенные А. Мерзляковым, профессором императорского Московского университета. М., 1807.

ПЕСНИ И РОМАНСЫ

ПЕСНИ

«Среди долины ровныя...» <стр. 57>. Впервые — сб. «Новейший полный российский общенародный песенник, изданный ж<ителем> г<орода> Т<вери> А. К<апустиным>, иждивением м<осковского> к<упца> Павла Вавилова». М., 1810, стр. 125—126. С незначительными изменениями под заглавием «Одиночество» — ВЕ, 1810, № 2, стр. 92—93. Относительно создания этой

песни М. А. Дмитриев вспоминал: «Песня Мерзлякова «Среди долины ровныя...» написана была в доме Вельяминовых-Зерновых. Он разговорился о своем одиночестве, говорил с грустью, взял мел и на открытом ломберном столе написал почти половину этой песни. Потом ему предложили перо и бумагу: он переписал написанное и кончил тут же всю песню» (М. А. Дмитриев. Мелочи из запаса моей памяти. М., 1869, стр. 164). Дом Вельяминовых-Зерновых, о котором говорит Дмитриев, — подмосковное поместье Жодочи (см. стихотворение «Маршрут в Жодочи»), куда Мерзляков ездил в период увлечения Анисьей Федоровной Вельяминовой-Зерновой (1788—1876), впоследствии в замужестве Кологривовой.

«Я не думала ни о чем в свете тужить...» (стр. 58). Впервые как сопровождение нотного текста в издании: «Три народные русские песни для пения и фортепьян: 1-я «Ах, не будите меня, молоду...», 2-я «Рукавички», 3-я «Я не знала ни о чем в свете тужить...», посвященные ея и. в. всемилостивейшей государыне Марии Феодоровне с глубочайшим благоговением верноподданным Данилой Кашиным». СПб., <б. д.>. Перед песней Мерзлякова помета: «Петая г-жой Сандуновой в опере «Старинные святки». Опера Малиновского «Старинные (или «русские») святки» (муз. Блума) исполнялась в бенефис Сандуновых 13 декабря 1806 г. (см. В. П. Погожаев. Столетие организации императорских театров, вып. 1, кн. 2. СПб., 1908, стр. 7). Этим определяется примерное время напечатания «Трех песен». С небольшими изменениями перепечатано в «Собрании русских стихотворений», ч. 3. СПб., 1810, стр. 303—304. Датируется не позже 22 февраля 1803 г., когда было написано письмо Мерзлякова А. С. Кайсарову, в котором приведен полный текст песни и описано исполнение ее Е. Сандуновой в концерте (Архив ИРЛИ, АН СССР, ф. 93, Собрание П. Я. Дашкова, оп. 3, № 816). Дата письма определяется следующим: адресат А. Кайсаров прибыл в Геттинген осенью 1802 г., Мерзляков именует себя бакалавром (в кандидаты он был произведен весной 1803 г.). Упоминание в тексте письма того, что оно написано в «день прощения», т. е. в первое воскресенье поста, позволяет определить указанную нами дату. В основе произведения лежит народная песня. Приводим текст записи Д. Кашина — источник, которым, бесспорно, пользовался и Мерзляков.

Я не знала ни о чем в свете тужить;
Пришло время — начало сердце крушить.
Со вздыханьица сердечку тяжело,
Я не вижу дружка мила своего.
Злые люди примечают и глядят,
Меня, девушку, ругают и бранят.
Я не слушала руганья ничьего
Полюбила я дружочка своего,
Полюбила, да уж нет дружка при мне.
Я махала белым ситцевым платком,
Чтобы милый поскорее в гости шел.
Я при миленьком резва и весела,
А без милого печальна и грустна.
И я с той поры гулять не выхожу:

Мне немилы в саду розовы цветы,
Опротивели ракитовы кусты,
Обвалились все малиновы цветы.
Я не знаю, к чему друга применить:
Его личико, как беленький снежок,
Щечки алы, словно розовый цветок,
Брови черны, с поволокою глаза,
На головушке кудрявы волоса;
То красы его лишь малая черта:
Красоты его не можно описать,
И примера невозможно отыскать.

(Сб. «Русские народные песни, собранные и изданные для пения и фортепьяно Даниилом Кашиным», кн. 2. М., 1834, стр. 131). Песня неоднократно перепечатывалась в различных песенниках конца XVIII — начала XIX вв. и была широко известна современникам. В цитированном письме Кайсарову Мерзляков писал: «Голос обыкновенный, — я думаю, ты знаешь». В ВЕ (1807, № 23, стр. 193—194) была опубликована песня Грамматина «Проходи ты, лето красное, скорей...» с подзаголовком «На голос: я не знала ни о чем в свете тужить...».

«Не липочка кудрявая...» (стр. 60). Впервые — «Денница, альманах на 1830 год, изданный М. Максимовичем». М., 1830, стр. 111—113, под заглавием «Русская песня».

«Вылетала бедна пташка на долину...» (стр. 61). Впервые — «Новейший и полный российский общенародный песенник...». М., 1810, стр. 120—121. В литературе есть указание на публикацию текста с музыкой Кашина (см. Полный каталог нот для пения в алфавитном порядке, сост. Э. Ф. Дитман. Ростов-на-Дону, 1889, стр. 46). Однако нам обнаружить и датировать это издание не удалось. В цитированном сборнике Кашина есть народная песня со сходным началом:

Вылетала голубина за долину,
Выроняла сизо перье на долину.

«Ах, что ж ты, голубчик...» (стр. 62). Впервые — «Журнал отечественной музыки на 1806 год, издаваемый Д. Кашиным». М., 1806, № 5, стр. 5 (без подписи).

«Чернобровый, черноглазый...» (стр. 63). Впервые — «Журнал отечественной музыки на 1806 год, издаваемый Д. Кашиным». М., 1806, № 4, стр. 8—9. Датируется не позже 1803 г. на основании упоминания в письме Андрея Тургенева Жуковскому (Архив ИРЛИ, АН СССР, Тургеневский архив, № 4759, л. 56; см. стр. 29 настоящего издания). В основе песни Мерзлякова — народный текст. Цитируем по сб. Кашина:

Чернобровый, черноглазый
Молодец хороший

Вложил мысли в мое сердце,
Не могу забыти.
Напишу ль я таку радость,
Что мил меня любит,
Со письмом пошлю лакея,
Велю воротиться.
Воротиться не годится,
Авось умилится.
Шел детинушка лужочком,
Он искал следочку.
Не нашедши он следочку,
Присел у пенечку.
Злы собаки подбежали,
Он прочь отшатнулся.
Услыхала красна девка
Его голосочек;
Услыхавши голосочек,
Вышла на крылечко.
Не стерпя в своем сердечке,
Молвила словечко:
«Не ходить бы красной девке
Вдоль по лугу, лугу;
Не любить бы красной девке
Холостого парня.
Холостой парень-гуляка,
Девичья прилука,
Я за то его любила,
Что ходит порою
Поутру раным-раненько,
Вечером поздненько,
Чтобы люди не видали,
Соседи не знали,
Про меня, про молоденьку,
Отцу не сказали».

(Сб. «Русские народные песни, собранные и изданные... Даниилом Кашиным», кн. 2. М., 1834, стр. 47—48.)

Чувства в разлуке (стр. 64). Впервые — ВЕ, 1805, № 9, стр. 43—44.

Сельская элегия (стр. 65). Впервые — ВЕ, 1805, № 6, стр. 130—133. Одновременно — «Журнал российской словесности», 1805, № 12, стр. 169—172. Заглавие: «Песня». В конце — примечание: «Благодарю г. неизвестного, приславшего мне сию песню». С незначительными изменениями включена в П и Р, стр. 19—22.

«Ах, дéвица-красавица!..» (стр. 67). Впервые — «Журнал отечественной музыки на 1806 год, издаваемый Д. Кашиным». М., 1806, № 4, стр. 12. В основе произведения — текст народной песни.

Ах, девица, красавица!
Любил тебя — я счастлив был;
Любить не стал — несчастным стал!
Ахти, горе великое!
Тоска-печаль несносная!
Куда бежать тоску девать?
Пойду с горя в чисто поле —
В чистом поле трава растет,
Трава растет шелковая,
Цветы цветут лазоревы.
Ахти, горе великое!
Тоска-печаль несносная!
Куда бежать тоску девать?
В леса бежать — леса темны,
В кусты бежать — кусты часты,
Кусты часты — ракитовы.

(Сб. «Русские народные песни, собранные и изданные... Даниилом Кашиным», кн. 2. М., 1834, стр. 23.)

Ожидание (стр. 68). Впервые — П и Р, стр. 25—26.

Соловушко (стр. 70). Впервые — «Денница, альманах на 1830 год, изданный М. Максимовичем». М., 1830, стр. 89—90.

«Под березой, где прозрачный ключ шумит...» (стр. 71). Впервые — П и Р, стр. 29—30.

«Мой безмолвный друг, опять к тебе иду...» (стр. 72). Впервые — П и Р, стр. 31—32.

РОМАНСЫ

Об ней (стр. 73). Впервые — Амф., 1815, № 8, стр. 40—41.

К Элизе («Когда б я был любим, о милая, тобою...») (стр. 74). Впервые — ВЕ, 1808, № 3, стр. 237—238.

«В чем я винен пред тобою...» (стр. 74). Впервые — «Собрание русских стихотворений, взятых из лучших стихотворцев российских и из многих русских журналов, изданное В. Жуковским», ч. 2. М., 1810, стр. 168—170. В связи с его опубликованием возникла полемика. П. А. Вяземский, упрекая Жуковского за то, что тот прошел мимо «Од Тиртея» Мерзлякова, сожалел, что «напечатали его песню, где он говорит: „Сила страсти — бога сила!"» (П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. 1. СПб., 1878, стр. 1). Выбор Жуковского не был случаен, он отражал стремление подчеркнуть в русской поэзии традицию «легкой поэзии» в ущерб гражданской. Характерно, что и позже, в «Собрании образцовых русских сочинений» (СПб., 1815), Жуковский хотя и ввел одну «Оду Тиртея» (ч. 1, стр. 123—126), но также сохранил в нем вызвавший осуждение Вяземского романс (ч. 2, стр. 178—180).

«Тихий, нежный ветерочек...» (стр. 76). Впервые — П и Р, стр. 42—44. Время написания песни, видимо, не ранее 1804 г., поскольку в ней обнаруживается стилистическая зависимость от стихотворения Державина «Скромность» («Тихий, милый ветерочек...»), опубликованного в сб. «Анакреонтические песни» (1804). Сборник этот привлек внимание Мерзлякова, который в письме Жуковскому оценил его резко критически: «Нового немного, и почти все нехорошо», «остроты не видно, неблагопристойности много, a naïf, которое должно быть душою такого рода творений, не найдешь почти нигде» («Русский архив», 1771, № 1, стр. 148; см. также примечание 1-е на стр. 16 настоящей книги).

«Жестокою судьбою...» (стр. 78). Впервые — «Собрание образцовых русских сочинений», ч. 2. СПб., 1815, стр. 205—208, под заглавием «К Надине».

«Меня любила ты, — я жизнью веселился...» (стр. 79). Впервые — ВЕ, 1806, № 15, стр. 196, под заглавием «К ней (рондо)». В ВЕ, 1807, № 2 было опубликовано стихотворение Жуковского «Когда я был любим...» с подзаголовком «Перевод с французского». Стихотворения весьма близки, видимо, восходят к одному оригиналу. Сходство текста и сравнительная близость времени опубликования, возможно, говорят об определенном творческом соревновании.

«Кому страдать, крушиться...» (стр. 80). Впервые — «Новейший и полный российский общенародный песенник...». М., 1810, стр. 102—104.

К моей Л. В—не (стр. 81). Впервые — Амф., 1815, № 8, стр. 37—39. С исправлениями — П и Р, стр. 54—56. *Л. В—на* — Смирнова Любовь Васильевна, невеста, впоследствии жена Мерзлякова; приходилась сестрой С. В. Смирнову, литератору, другу Мерзлякова. В 1815 г. Мерзляков совместно со Смирновым издавал журнал «Амфион».

К арфе, отправляемой в деревню (стр. 83). Впервые — П и Р, стр. 57—60.

«Коль сердце сердцем может жить...» (стр. 85). Впервые — Амф., 1815, № 2, стр. 85—87.

Разлука (стр. 86). Впервые — Амф., 1815, № 7, стр. 63—64.

«Прости, любовь! Конец моим мученьям!..» (стр. 88). Впервые — П и Р, стр. 67—69.

Разговор. Любовь и Я (стр. 89). Впервые — П и Р, стр. 70—72.

К ..... (стр. 90). Впервые — П и Р, стр. 73—75.

Робость первой любви (стр. 91). Впервые — П и Р, стр. 76—77.

Ожидание любезного (стр. 92). Впервые — Амф., 1815, № 10—11, стр. 120—122.

Дуэт (стр. 93). Впервые — ВЕ, 1806, № 15, стр. 197—199.

Что есть жизнь? (стр. 95). Впервые — ВЕ, 1808, № 9, стр. 50—53. *На Филях* — на кладбище. В Москве, в районе деревни Фили, за Дорогомиловской заставой, находилось Дорогомиловское кладбище при церкви Елизаветы-чудотворицы, учрежденное в 1772 г.

Пир (стр. 98). Впервые — П и Р., стр. 90—93. Датируется не позже 7 апреля 1807 г. (см. С. Жихарев. Записки современника. М.—Л., 1955, стр. 462). *Тамо старый дуралей* и т. д. — строфа передает атмосферу политических толков в московском обществе 1805—1807 гг. *Энтимема и сорит* — виды силлогизмов.

Старик (стр. 99). Впервые — П и Р., стр. 94—98.

К добродетели (стр. 102). Впервые — Амф., 1815, № 5, стр. 77—79. Подражание сколии Аристотеля в честь Гермия Атарнейского, написанной в форме гимна добродетели и прославляющей героизм и любовь к отечеству. *Отроки Леды* (греческ. миф.) — Леда, жена спартанского царя Тиндарея и возлюбленная Зевса, была матерью братьев Диоскуров, героев Кастора и Полидевка.

Велизарий (стр. 103). Впервые — ВЕ, 1814, стр. 115—116. Включено в П и Р, стр. 102—103. Романс пользовался широкой популярностью. Он был переложен на музыку А. Д. Жилиным. См. нотный сб. «Эрато», № 1, апрель, СПб., 1814, стр. 2—3. П. Ободовский включил его в театральную постановку драмы «Велизарий» (см. И. А. Горновский. Осколки театральной старины. «Наша старина», 1916, № 11, стр. 821—822). Рецензируя этот спектакль, В. Г. Белинский в статье «Александровский театр (Велисарий)» писал: «Сам романс хотя по недостатку художественности и сделался несколько тем, что светские люди называют mauvais genre, но в нем так много чувства, души, некоторые стихи так удачны, а музыка его так прекрасна, что его нельзя слушать без восторга и умиления» (В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. 3. М., 1953, стр. 322—323). *Велизарий* — византийский полководец VI в. Успешно воевал против вест- и остготов, вандалов, вел войны в Азии. Вызвав подозрения императора Юстиниана, подвергся опале.

«Зима свой взор скрывает...» (стр. 104). Впервые — П и Р, стр. 104—105.

К Элизе, которая сердилась на Амура (стр. 106). Впервые — «Аглая», 1808, № 5, стр. 85—87. *Душенька* — русский перевод (И. Ф. Богдановичем) греческого имени возлюбленной Амура Психеи. На этот сюжет Богдановичем была написана поэма «Душенька».

ПОДРАЖАНИЯ И ПЕРЕВОДЫ ИЗ ГРЕЧЕСКИХ И ЛАТИНСКИХ СТИХОТВОРЦЕВ

ГОМЕР

Единоборство Аякса и Гектора (стр. 111). Впервые — «Сочинения в прозе и стихах», 1824, т. 5, стр. 260—281. Отрывок представляет собой перевод первой половины VII песни «Илиады». Первые опыты Мерзлякова в создании гекзаметра и шестистопного амфибрахия без рифмы (см. следующий перевод), относятся к середине первого десятилетия XIX в. Характерно, что позже, в 1808 г. (ВЕ, № 20), он опубликовал отрывок «Низос и Эвриал» — перевод из «Энеиды», написанный александрийским стихом. В 1809 г. (ВЕ, № 2 и 3) под общим заглавием «Дидона» публиковались отрывки из IV книги «Энеиды», переведенные тем же размером. Последнее следует объяснять не только тем, что Мерзляков не был еще тверд в выборе размера для перевода античного эпоса, но и отличием, которое он делал в этом смысле между Гомером и Виргилием. Уровень современной Мерзлякову науки не давал еще возможности для противопоставления греческого народного эпоса литературной поэме Виргилия — оба произведения воспринимались как образцы эпического творчества, однако отношение Мерзлякова к ним было неодинаково. Так, например, в статье о «Россиаде» Хераскова, отказывая последней в достоинстве эпической поэмы, Мерзляков настойчиво противопоставляет Хераскову Гомера и сопоставляет его с Виргилием. Отмечая, что каждый герой должен иметь «свое качество, отличающее» его «от другого, и не быть собранием одних добродетелей» (Амф., 1815, № 5, стр. 88—95), он продолжает: «И вот причина, отчего Эней, столько во всем совершенный, мало нас трогает. Опять обращусь к Гомеру, который умел не все черты брать для своего характера, но только особенные. . .» (там же, стр. 97). Последнее обстоятельство характерно, поскольку именно Виргилий, а не Гомер выдвигался авторитетами классицизма на первый план. *Арна* — древнее местное название Ксанта, города в Ликии — древнем государстве в Малой Азии. *Ликийцы* — жители Ликии. *Рамо* (старослав.) — плечо. *Аргивяне, данаи, ахейцы* (или *ахивцы)* — различные названия греческих племен; здесь — греки. *Илия, Илион, Пергам* — Троя, город в Малой Азии, осада которого греками составляет содержание «Илиады» Гомера. *Тул* (древнерусск.) — колчан. *Велелепный* (старослав.) — прекрасный. *Геллеспонт* — Дарданелльский пролив. *Келад* — ручей в Аркадии (область на полуострове Пелопоннес), место битвы древнегреческих племен пилов и аркадцев. *Рея, Ярдан* — город и река, видимо, в древней Аркадии. Нынешнее местоположение этих пунктов, упоминаемых в речи Нестора, неясно (см. Paul. Real Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung. XVII. Halbband. Stuttgart. 1914, S. 748—749, и XXI. Halbband. 1921, S. 132. *Микена* (вернее — Микены) — один из важнейших политических центров древнего Пелопоннеса. *Властитель Микены* — Агамемнон. *Саламина* (вернее — Саламин) — остров в Сароническом заливе между Мегарой и Пиреем. *Ошую и одесную* (старослав.) — слева и справа.

Улисс у Алкиноя (стр. 120). Впервые — ВЕ, 1808, № 7, стр. 223—229. Представляет собой перевод кн. VIII «Одиссеи». *Чада Аргоса* — см. *аргивяне*, стр. 298. *Феакцы* (греческ. миф.) — жители островов, расположенных на отдаленном Западе.

Гимн Земле (стр. 123). Перевод гомеровского гимна Εἰς Δήμητρα. Впервые — П и П, ч. 2, стр. 9—10. Кроме эпических поэм «Илиады» и «Одиссеи», традиция античных комментаторов приписывала Гомеру ряд гимнов. Перечень других русских переводов этого гимна см. П. Прозоров. Систематический указатель книг и статей по греческой филологии, напечатанных в России с XVII в. по 1892 г. СПб., 1898. Там же указания на другие современные Мерзлякову переводы древнегреческих поэтов, упоминаемых в настоящем сборнике.

Гимн Солнцу (стр. 124). Перевод гомеровского гимна Εἰς Ἥλιον. Впервые — П и П, ч. 2, стр. 11—12. *Каллиопа* (греческ. миф.) — муза эпической поэзии. *Эйрифаесса* (греческ. миф.) — мать Солнца. *Гиперион* — ее муж, титан, сын Земли и Неба, отец Солнца, Луны и Зари (Эос).

Гимн Пану (стр. 125). Перевод гомеровского гимна Εἰς Πᾶνα. Впервые — П и П, ч. 2, стр. 54—56. В том же 1826 г. стихотворение было напечатано в альманахе М. П. Погодина «Урания», в котором также были помещены и другие гимны (Зевсу, Венере, Марсу и Луне). *Пан* (греческ. миф.) — бог-покровитель пастухов и стад; изображался с козлиными копытами, бородой и рогами. *Аркадия* — область Пелопоннеса в Греции. Отсталая в ремесленном отношении, славилась скотоводством. Жители занимались пастушеством. *Циленские* (вернее — Килленские) горы в Аркадии, по имени нимфы Киллены, дочери Зевса и Каллисты, по некоторым источникам — сестры Пана.

Гимн Марсу (стр. 126). Перевод гомеровского гимна Εἰς Ἄρεα. Впервые — П и П, ч. 2, стр. 54—55.

САФО

Гимн Венере от Сафы (стр. 128). Перевод стихотворения Сафо — древнегреческой поэтессы VII в. до н. э. — Ποικιλόθρον' ἀθανάτ' Ἀφρόδιτα. Впервые — П и П, ч. 2, стр. 57. Одновременно был опубликован в альманахе М. Погодина «Урания». М., 1826.

К счастливой любовнице (стр. 129). Перевод стихотворения Сафо Φαίνεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν. Впервые — П и П, ч. 2, стр. 59.

ФЕОКРИТ

Рыбаки (стр. 130). Перевод идиллии Феокрита, древнегреческого поэта III в. до н. э. Ἁλιεῖς. Впервые — «Эклоги», стр. XXV—XXVIII. С незначительными изменениями перепечатано в «Собрании образцовых русских сочинений», т. 4, 1815, стр. 114—118.

Циклоп (стр. 132). Перевод идиллии Феокрита Κυκλωψ. Впервые — «Эклоги», стр. XXI—XXIV. *Геликон* — гора в Греции, место пребывания муз, *богини Геликона* — музы; *Полифем* (греческ. миф.) — один из циклопов, одноглазых великанов.

Друзья (стр. 135). Перевод идиллии Феокрита Ἀΐτης. Впервые — Амф., 1815, № 7, стр. 54—57. *Фессалия* — область в северной Греции. *Мегара* — портовый город на восточном побережье древней Греции. Жители Мегары славились искусством мореплавания. *Ганимед* (греческ. миф.) — виночерпий богов, мальчик, похищенный Зевсом на Олимп.

МОСХ

Амур-беглец (стр. 137). Перевод эклоги Мосха, древнегреческого поэта II в. до н. э., Ερως δραπετης. Впервые — «Эклоги», стр. XXXI—XXXII. *Коцит* (греческ. миф.) — река в царстве мертвых.

Европа (стр. 138). Перевод эклоги Мосха Ευρωπη. Впервые — П и П, ч. 2, стр. 168—175. *Европа* (греческ. миф.) — дочь царя Атенора, похищенная Зевсом, принявшим образ быка. *Петел* — петух. *Анавр* — ручей на полуострове Магнезия (Фессалия). *Ливия* (греческ. миф.) — сестра Европы. *Рало* (древнерусск.) — плуг. *Нерейды*, т. е. Нереиды (греческ. миф.) — морские нимфы, дочери бога Нерея. *Посейдон* (греческ. миф.) — бог моря. *Тритоны* (греческ. миф.) — морские божества. *Гимен* (греческ. миф.) — бог брака. *Гименеевы песни* — свадебное пение.

БИОН

Ученье (стр. 143). Перевод эклоги Биона, древнегреческого поэта III в. до н. э., ʽΑ μεγαλα μοι Κυπρις εθʼυπνω,ουτι παρεστα. Впервые — «Эклоги», стр. XXX. С небольшими изменениями вошло в П и П, ч. 2, стр. 164—165.

Плач об Адонисе (стр. 144). Перевод эклоги Биона Επιταφιος Αδωνιδος. Впервые — П и П, ч. 2, стр. 176—182. *Адонис* (греческ. миф.) — сын царя Кипра, возлюбленный Афродиты, убитый на охоте вепрем. *Эрот* (греческ. миф.) — крылатый мальчик — бог любви, сын Афродиты. *Ахеронт* (греческ. миф.) — река в царстве мертвых. *Прозерпина* (греческ. миф.) — жена бога Аида, похищенная им в подземное царство. *Миро* — благовонная мазь из растительных масел. *Хариты* — богини радости.

ТИРТЕЙ

Оды (стр. 148). Впервые — ВЕ, 1805, № 21, стр. 29—40. Перепечатано с исправлениями в П и П, ч. 2, стр. 63—73. В журнальном тексте эпиграф:

«Tyrtaeus mares animos in Martia bella
Versibus exacuit». Horat.

(«Тиртей стихами возбуждал воинственный пыл в Марсовых битвах». Гораций). Мерзляков при переводе пользовался изданием Tyrtaei quae restant omnia collegit commentario illustravit edidit Christ. Adolph. Klothius, Bremae, 1764 (или вторым изданием Altenburg, 1767). В основу стихотворений, как убеждает сравнение, Мерзляков положил не греческий оригинал, а немецкое его переложение (в стихах), приложенное к тому же изданию. *Тиртей* — афинский поэт VII в. до н. э. Во время Второй Мессенской войны вдохновлял спартанцев военными песнями, в награду за что получил спартанское гражданство. Тема Спарты связывалась Мерзляковым с вопросом патриотизма и гражданственности еще в 1801 г., когда он в речи на заседании Дружеского литературного общества говорил: «Так, друзья! Мы будем честными гражданами. Так точно в матернем недре мужественныя Спарты рождались герои, там столами их, которые приуготовляла рука умеренности и благоразумия, воспитывались сами добродетели, превознесшие их над целым миром. В сию минуту я чувствую, что живу не напрасно, что умру не горько» (Рукописное собрание ИРЛИ, Тургеневский архив, № 618, л. 7—7 об.). Упоминание о «столах» раскрывается из сравнения с текстом «Размышления о греческой истории» Мабли (цит. по переводу А. Н. Радищева): «Ликург ... учредил народные столы, где каждый гражданин принужден был непрестанный подавать пример воздержания и строгости... словом, он ограничил их потребности, не требуемые токмо природою невозбранно. Тогда художества, роскоши служащие, Лаконию оставили; излишними ставшие богатства казались презрительны; и Спарта неприступною повреждению стала крепостию» (А. Н. Радищев. Полн. собр. соч., т. 2. М.—Л., 1941, стр. 237). Ср. у Буринского:

...братству, дружбе научает
Трапеза общая спартан.

(Избранные сочинения из «Утренней зари», ч. 1. М., 1809, стр. 93). *Титон* (греческ. миф.) — юноша, похищенный Авророй, плененной его красотой, на небо. Наградив Титона бессмертием, богиня забыла даровать ему вечную юность. Потеряв в старости красоту, он сморщился и был превращен богами в кузнечика. *Пелопс* — легендарный греческий царь, подчинивший своей власти весь Пелопоннес. *Мидас* — согласно греческой легенде, царь, награжденный Дионисом даром превращать предметы в золото. *Адраст* — легендарный король Аргоса, организатор похода «семерых против Фив». *Алкид* — одно из имен (по отцу Алкею) легендарного греческого героя Геракла (Геркулеса). *Парки* — в древнегреческой мифологии богини судьбы, прядущие нить человеческой жизни. *Пришел, увидел, победил* — изречение Цезаря, анахронизм в тексте перевода Мерзлякова.

ГОРАЦИЙ

К Пирре (стр. 157). Перевод оды Горация «Quis multa gracilis te puer in rosa...». Впервые — П и П, ч. 2, стр. 104—105.

К Фуску (стр. 158). Перевод оды Горация «Integer vitae scelerisque purus...». Впервые — П и П, ч. 2, стр. 108—109. *Ари-*

стий Фуск — поэт и грамматик, друг Горация. *Сирт* — Ливийский залив. *Гидасп* — легендарная река в Индии. *В Сабинах... в лесах* — область в древней Италии, где находилось поместье Горация. *Дафния* (вернее — Давния) — родина Горация. *Юбы владенье* — Нумидия, сев. Африка. *Лила* — у Горация имя возлюбленной Лалага.

Обращение (стр. 159). Перевод оды Горация «Parcus deorum cultor et infrequens...». Впервые — П и П, ч. 2, стр. 96—97. *Стикс* — река в царстве мертвых. *Тенар* — вход в подземное царство.

К Делию (стр. 160). Перевод оды Горация «Aequam momento rebus in arduis...». Впервые — П и П, ч. 2, стр. 112—113. *Квинт Делий* — богач, современник Горация. *Бедный труженик* — см. стр. 38—39 наст. издания. *Угрюмые сестры* — Парки (см. примечание на стр. 301). *Тибр зеленый* — в подлиннике — желтый (flavus), по характерному цвету воды этой реки. *Лодка при брегах* — челн Харона, перевозящего души мертвых через реку забвенья.

К Лицинию (стр. 161). Перевод оды Горация «Rectius vives, Licini, neque altum...». Впервые — П и П, ч. 2, стр. 114—115. *Лициний Мурена* — родственник Мецената, консул.

К надменному богачу (стр. 162). Перевод оды Горация «Non ebur neque aureum...». Впервые — Амф., 1815, № 1, стр. 102—103. *Мраморы Гимета* — греческий мрамор высоко ценился в Риме. *Аттал* — царь Пергама, завещавший свои богатства Риму. *Плутона кестовой...* и т. д. — имеется в виду легенда, согласно которой Прометей («сын Япета») пытался подкупить золотом Харона.

К Лоллию (стр. 164). Перевод оды Горация «Ne forte credas interitura...». Впервые — П и П, ч. 2, стр. 122—123. *Лоллий* — римлянин, сын М. Лоллия Павлина — политического деятеля и полководца. *Пиндар* — древнегреческий поэт VI в. до н. э. *Алцей* (Алкей) — древнегреческий поэт VII—VI в. до н. э. *Симонид Кеосский* — поэт (556—468 гг. до н. э.), создатель хоровых песен. *Стехизор* (640—555? гг. до н. э.) — древнегреческий лирик, автор песен для хора. *Анакреон* (Анакреонт) — древнегреческий поэт-лирик VI в. до н. э. *Эольская дева* — Сафо. *Елена* (греческ. миф.) — жена спартанского царя Менелая. Бегство ее с Парисом («фригийцем») явилось причиной Троянской войны. *Тевцер* (Тевкр) (греческ. миф.) — герой, основатель Саломиса на Кипре. *Сидонские стрелы* — город Сидон славился ремесленными изделиями. *Илия* — см. стр. 298. *Идоменей, Сфенел* (греческ. миф.) — греческие герои, участники Троянского похода. *Гектор, Дейфоб* — сыновья Приама и Гекубы, троянские герои.

К Торквату (стр. 166). Перевод оды Горация «Diffugere nives, redeunt jam gramina campis...». Впервые — П и П, ч. 2, стр. 100—101. *Торкват* — богатый римлянин, приятель Горация. *Тулл* (Тулл Гостилий), *Анк* (Марций Анк) — римские цари. *Эней* — легендарный родоначальник римлян. *Минос* — легендарный судья в

царстве теней. *Ипполит* — сын греческого героя Тезея и амазонки, отверг любовь своей мачехи Федры. *Тезей* (см. Ипполит) — не смог вывести своего друга Перитоя, скованного цепями в царстве теней.

ОВИДИЙ

Две элегии

«Страдаю. — Что виной? — Что сделалось со мною?..» (стр. 168). Перевод элегии Овидия «Esse quid hoc dicam, quod tam mihi dura videntur...» из кн. «Amores». Впервые — П и П, ч. 2, стр. 291—293. Стихотворение, как и последующее, посвящено возлюбленной Овидия Коринне.

«Я прав в моей душе: любовь любви желает!..» (стр. 170). Перевод элегии Овидия «Justa precor: quae me nuper praedata puelle est....» из кн. «Amores». Впервые — П и П, ч. 2, стр. 293—295. *Богиня Пафоса* — Венера. *Орала* (см. рало) — плуги. *Инаха дщерь* (греческ. миф.) — возлюбленная Зевса Ио. Обращенная Зевсом в корову, спасаясь от преследований ревнивой Геры, странствовала по Греции, Азии и Египту.

ТИБУЛЛ

К Делии (стр. 171). Перевод элегии Тибулла «Ibitis Aegaeas sine me Messalla, per undas...» *Делия* — возлюбленная Тибулла, вольноотпущенная. Имя это, заимствованное из элегий Тибулла, сделалось в мировой поэтической традиции условным именем возлюбленной. *Мессала* Марк Валерий Корвин — римский общественный деятель и полководец, друг и покровитель Тибулла. *Корцира* — остров Коркира, на котором остался больной Тибулл во время похода Мессалы в Киликнию и Сирию. *Лары* — боги-покровители домашнего очага. *Крон* (греческ. миф.) — отец Зевса. *Дни Кронова правленья* — золотой век. *Киприда* — Афродита, богиня любви. *Элизия* — край загробного блаженства. *Юнона* (римск. миф.) — верховная богиня, жена Юпитера. *Иксион, Тиций, Тантал* (греческ. миф.) — преступники, осужденные на жестокие муки в царстве теней. *Лета* — река в царстве вечности.

Освящение полей (стр. 174). Перевод стихотворения Тибулла «Quisquis adest faveat: fruges lustramus et agros...». Впервые — П и П, ч. 2, стр. 278—283. *Церера* (римск. миф.) — богиня плодородия. *Фалернское, хийское* (хиосское) — сорта вин. *Аквитанский триумф* — Мессала получил его за победу над кельтами в Аквитании (27 г. до н. э.). *Кросна* — ткацкий стан. *Минерва* (римск. миф.) — богиня ремесел, наук и разума. *Плавая* (старослав.) — желтоватая. *Фригия* — древнее государство в северо-западной части Малой Азии.

ПРОПЕРЦИЙ

К Цинтии (стр. 177). Перевод элегии «Non ego nunc tristis vereor, mea Cynthia, Manis...» Впервые — П и П, ч. 2, стр. 284—285. *Цинтия* — условное литературное имя возлюбленной Проперция.

Гостии. *Орк* — бог царства теней Плутон. *Айдес* (греческ. миф.) — царство мертвых. *Цербер* — адский пес, охраняющий вход в царство мертвых.

РАЗНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Истинный герой (стр. 181). Впервые — Пр. и пол., 1796, ч. 10, стр. 255—256.

Ночь (стр. 182). Впервые — Пр. и пол., 1796, ч. 10, стр. 155. *Герой, венцом венчанный славы* — Кай Юлий Цезарь — римский император. *Ты скиптр желал иметь в деснице, Желал — и меч в груди твоей* — имеется в виду убийство Цезаря руководителями республиканского заговора. Стихи представляют собой перефразировку строк Державина из стихотворения «Водопад»:

> В сенате Цезарь средь похвал,
> В тот миг, желал как диадимы,
> Закрыв лице плащом, упал.

Ратное поле (стр. 186). Впервые — Пр. и пол., 1796, ч. 12, стр. 72—79.

Вечер (стр. 190). Впервые — Пр. и пол., 1797, ч. 14, стр. 164—173. *Сатурн* (римск. миф.) — отец богов, бог времени.

Росс (стр. 197). Впервые — Пр. и пол., 1797, ч. 13, стр. 143—144. *Эгид* (вернее — эгида) — щит Зевса; здесь — щит, защита.

Гений дружества (стр. 198). Впервые — Пр. и пол., 1798, ч. 17, стр. 141—144. *Беллона* (римск. миф.) — богиня войны.

Мое утешение (стр. 200). Впервые — Пр. и пол., 1798, ч. 17, стр. 157—160.

Стихотворец (стр. 202). Впервые — Пр. и пол., 1798, ч. 18, стр. 174—175.

К Уралу (стр. 203). Впервые — Пр. и пол., 1798, ч. 17, стр. 173—176. *Атлант! сын Норда знаменитый, держащий росски небеса* — согласно греческой легенде, Атлант — великан, поддерживающий небосвод. *Вайгат* — Вайгатский пролив. «Новая Земля» отделяется «от матерой Земли Вайгатским проливом» (И. Ф. Гакман. Пространное землеописание Российского государства. СПб., 1787, стр. 9). *Хвалын* — Каспийское море. *Рифей* — Урал. *Пермесски потоки* — ключ поэтического вдохновения на горе муз. *Орфей* (греческ. миф.) — легендарный поэт и певец.

Лаура и Сельмар (стр. 205). Впервые — Пр. и пол., 1798, ч. 18, стр. 141—143. *Голконда* — древний город в Индии, славившийся алмазами.

Слава (стр. 206). Впервые — отдельной брошюрой: А. Ф. Мерзляков. Слава. М., в типографии А. Решетникова, 1801. Начало работы над стихотворением — 1799 г. (см. запись в дневнике А. Тургенева от 9 ноября 1799 г. Рукописное собрание ИРЛИ, Тургеневский архив, № 271, л. 2—2 об). Стихотворение предназначалось для неосуществленного сборника стихов Андрея Тургенева, Мерзлякова и Жуковского. Вновь вернувшись через год к идее сборника, Андрей Тургенев записал в дневнике 27 января 1800 г.: «Теперь скорее надобно «Славу» исправить» (там же, л. 45). Стихотворение было закончено в 1801 г. и читалось на заседании Дружеского литературного общества. На это указывает то, что Андрей Тургенев, говоря, что ему «непременно хотелось бы выдать пиесы» «покойного Собрания», в первую очередь назвал «Славу» (см. письмо В. А. Жуковскому от 21 марта 1802 г., Тургеневский архив, № 4759, л. 71 об.). Возможно, что именно «Славу» имел в виду Андрей Тургенев, говоря о «стихах Мерзлякова», читавшихся на экстраординарном собрании 7 апреля 1801 г., однако может быть также, что в данном случае имелась в виду «Ода на разрушение Вавилона» (см. примечание на стр. 306). *Фемистокл* (около 525—461 гг. до н. э.) — афинский политический деятель. *Тени мудрого героя В жертву славную принес* — смысл стихов раскрыт примечанием, которым Мерзляков снабдил их в переделке 1812 г. (см. ниже): «Фемистокл, плачущий пред статуей Мильтиада». Этот апокрифический эпизод из биографии Фемистокла широко использовался в литературе XVIII в. Мерзляков мог его прочесть, например, в «Опыте о похвальных речах» Тома (Essai sur les Eloges par Thomas). *Эреб* (греческ. миф.) — царство теней. *Аристид* (около 540—467 гг. до н. э.) — афинский политический деятель, противник Фемистокла. В литературной традиции XVIII — начала XIX вв. — образ безупречного гражданина. В 1812 г. в «Трудах Общества любителей российской словесности при Московском университете» (ч. 1, стр. 3) была опубликована переделка стихотворения — «Обеты россиан, или Храм российской славы», лишавшая стихотворение его первоначального политического смысла. В текст были введены официальные славословия, прославление царей; ряд стихов исключен или переделан. Так, например, резко звучащие строки:

Человечество, проснися
И права свои возьми —

были смягчены. Последний стих читался:

И правам своим вонми.

Это звучало как призыв услышать права человека, провозглашаемые сверху (возможно, за этим стояли и вполне определенные политические представления — стихотворение было написано и опубликовано до падения Сперанского), что было, конечно, несравненно менее остро, чем требование эти права «взять». При переделке Мерзляков вместе с тем сделал и ряд интересных добавлений. В них, в частности, проявилось представление Мерзлякова о демократическом характере национальной культуры. Характерно, что из деятелей русской культуры Мерзлякова привлекают именно разночинцы (исключение — лишь Державин). Обращаясь к славе, «жрец» говорит:

Ты вещай о нас с веками,
Ломоносова в громах,
С небом, с миром и царями,
Рци Державина в устах,
Лейся сладостью, грозою,
Ты Орфеев наших с лир
Хочешь храмов. Пред тобою
Вновь Баженов строит мир,
Нежный Рокотов там пишет
Совершенства идеал,
Тамо мыслит медь и дышит:
Скородумов дух влиял.

В пример добродетельного гражданина приводится Минин:

Ободрися, жертва злобы,
Слава смертным суд дает,
Сеет клятвы злых на гробы,
Язвой память их гниет,
Но в алтарь преобращает
Гроб и Минина простой,
Цвет бессмертья развивает
Под гробовою доской.

Ода на разрушение Вавилона (стр. 216). Впервые — ВЕ, 1805, № 11, стр. 171—175. С незначительными изменениями, имеющими целью затушевать ее политический смысл, перепечатана в статье Мерзлякова «О гении, об изучении поэта, о высоком и прекрасном» (ВЕ, 1812, № 21—22, стр. 68—71). Текст этот потом повторен без изменений в «Собрании образцовых русских сочинений и переводов в стихах», ч. 1. СПб., 1815, стр. 35—39. Произведение представляет зашифрованный отклик на убийство Павла I в ночь с 11 на 12 марта 1801 г. (см. во вступительной статье). Название и первые стихи произведения связывают его с гл. 14 из пророка Исайи, однако дальнейшее содержание оды не находит соответствия в библейском тексте. Видимо, читалось на заседании Дружеского литературного общества 17 апреля или 11 мая 1801 г. Последнее из двух названных заседаний проходило в день двухмесячной годовщины убийства Павла I. Воейков произнес на нем речь, полную политических намеков и прямых призывов «свергать с престола тиранов». Будучи перепечатано в 1812 г. в одном номере ВЕ со стихотворением Жуковского «Вождю победителей», переосмыслялось как направленное против Наполеона. *Тиран погиб тиранства жертвой; Скончался в муках наш мучитель* — стихи имеют в виду убийство императора Павла I. *Егова* — библейский бог — создатель вселенной. *Ливан* — горный хребет вдоль малоазиатского побережья Средиземного моря. *Сиона высоты* — гора в Иерусалиме.

Письмо Вертера к Шарлоте (стр. 219). Печатается впервые по писарской копии с поправками рукой Мерзлякова. Рукопись хранится в ГПБ (Архив Жуковского, оп. 2, ед. хр. 346). Заключительные пять стихов, отсутствующие в рукописи ГПБ, восстанавливаются по поздней и неточной копии: «Последнее письмо Вертера к

Шарлоте, переведено с французского М. (!) Ф. Мерзляковым (Рукописное собрание ИРЛИ. Собр. Юдина, ф. 388, оп. 1, № 178). Рукопись ГПБ предположительно датируется 1801 г., список ИРЛИ — поздний, он помечен 1832 г. В 1799—1800 гг. Мерзляков и Андрей Тургенев начали совместный прозаический перевод «Вертера», рукопись которого сохранилась. Отрывки из стихотворения приведены в кн. В. М. Жирмунского «Гете в русской литературе». Л., 1937. «„Письмо Вертера к Шарлоте", — пишет В. М. Жирмунский, — целая маленькая поэма, насчитывающая около четырехсот стихов. Автор не следует в содержании своего послания за подлинным предсмертным письмом Вертера, из которого он заимствует только общую ситуацию и отдельные мотивы, подвергая их свободной анплификации» (указ. соч., стр. 55). *«Забудет мир меня, и я его забуду»...* и далее — стихи эти, вероятно, имел в виду А. С. Пушкин, создавая предсмертную элегию Ленского. Помимо общности сюжетной ситуации, можно отметить фразеологическую близость: «На землю упаду», «Забудет мир меня», «слезу прольешь». *«Что нежно чувствовать в пределах вышних знают»* — в рукописи ГПБ вместо «нежно», ошибочно: «можно». *«Где нежность, грации с Шарлотою живут»* — в рукописи ГПБ пропущено, восстанавливаем по копии, хранящейся в ИРЛИ.

<Из письма к А. И. Тургеневу и А. С. Кайсарову> (стр. 229). Впервые в статье М. И. Сухомлинова: А. С. Кайсаров и его литературные друзья. «Известия Отделения русского языка и словесности АН». СПб., 1897, т. 2, кн. 1, стр. 25—27. Время создания определяется датой письма — 17 сентября 1802 г. Письмо воссоздает атмосферу Дружеского литературного общества (1801). Членами общества были Мерзляков, Андрей Тургенев, Андрей Кайсаров и его братья — Михаил и Паисий, Жуковский, Воейков, Александр Тургенев, позже С. Родзянко и А. Офросимов. Общество собиралось по субботам в доме Воейкова против Девичьего монастыря в Москве. Об идейной жизни общества см. во вступительной статье, а также В. Истрин. Дружеское литературное общество 1801 г. ЖМНП, 1910, № 2; дополнение к этой статье — в ЖМНП, 1913, № 3. *Тургенев* Александр Иванович (1784—1845) — друг Мерзлякова, видный представитель культурной жизни первой трети XIX в. Осенью 1802 г. находился вместе с Андреем Кайсаровым в Геттингене. *Кайсаров* Андрей Сергеевич (1782—1813) — друг Мерзлякова; 1802—1806 гг. провел в Геттингенском университете (с перерывом на путешествие по славянским землям). В 1806 г. защитил диссертацию «О необходимости освобождения рабов в России»; в 1811 г. — профессор Тартуского (Дерптского) университета, в 1812 г. — директор походной типографии в штабе Кутузова. Погиб в 1813 г.

К друзьям (стр. 231). Впервые — ВЕ, 1808, № 2, стр. 145—148. Стихотворение датируется летом — осенью 1803 г., так как написано на смерть Андрея Ивановича Тургенева, скончавшегося 8 июля 1803 г. Андрей Тургенев — ближайший друг Мерзлякова, вместе с ним был организатором Дружеского литературного общества. Материалы переписки Мерзлякова, Александра Тургенева и Жуковского между собой и с Иваном Петровичем Тургеневым —

отцом покойного, — известным масоном и директором Московского университета, в связи с постигшей их тяжелой утратой см. в статье В. Истрина «Из архива братьев Тургеневых. Смерть Андрея Ивановича Тургенева». ЖМНП, 1910, № 3, стр. 1—36 (отд. 2).

Тень Кукова на острове Овги-ги (стр. 232). Впервые — «Утренняя заря», кн. 4. М., 1805, стр. 254—263, и отдельной брошюрой под тем же заглавием (СПб., 1805). В 1806 г. в петербургском журнале «Constantinopel und Petersburg» появился немецкий перевод (рецензию на него см. ВЕ, 1806, № 17, стр. 54—55). Стихотворение развивает высказанную в «Славе» идею всемирного братства людей. Идея эта получила широкое распространение во французской публицистике эпохи революции. Так, например, картиной всемирного братания народов заканчивалась книга Вольнея «Руины, или Размышление о революциях империй». В 1792 г. этой идеей был захвачен Н. М. Карамзин, мечтавший, чтобы «житель Отаита прижался к сердцу обитателя Галлий и дикий американец, забыв все прошедшее, назвал бы Гишпанца милым своим родственником, когда бы все народы земные погрузились в сладостное, глубокое чувство любви» («Московский журнал», ч. 6, кн. 2, стр. 72). Характерен положительный отзыв Карамзина о книге Вольнея (там же, ч. 5, кн. 1, стр. 150—151). Своеобразие позиции Мерзлякова в том, что в качестве средства примирения народов указывается наука. Близкую мысль, также в сочетании с осуждением колониальных захватов, выдвигал Ломоносов (см. «Письмо о пользе стекла»). Осуждение колониального захвата и проповедь братства народов — устойчивая тема поэзии Мерзлякова. В стихотворении «Гармония» читаем:

> Куда, Колумбы, вы, куда вы, Гаммы смелы?
> Куда летишь, Пизар, тиранства грозный сын?
> Усеяны костьми Америки пределы...

Он помнил Чесмесских орлов — в Чесменском сражении 1770 г. русский флот под командованием Алексея Орлова разбил турецкую эскадру. *Шелехов* Григорий Иванович (1747—1795) — русский путешественник и мореход. *Геллеспонт* (греческ.) — Дарданеллы. *Кастилан* — испанец. *Пизаров преступленье* — Пизаро Франциско (1475—1541) — завоеватель Перу, известный своей жестокостью. *Хилиец* (устар.) — чилиец, житель Чили. *Макартней* — имеется в виду книга «Путешествие во внутренность Китая и в Тартарию, учиненное в 1792-м, 1793-м, 1794-м годах лордом Макартнеем, посланником англинского короля при китайском императоре...» М., типография Христофора Клаудия, ч. 1—3, 1804, ч. 4—1805. Об этой книге см. примечание Б. М. Эйхенбаума в кн: С. П. Жихарев. Записки современника. М.—Л., 1955, стр. 724. *Мемфис* — богатый портовый город в древнем Египте.

Мячковский курган (стр. 236). Впервые — ВЕ, 1805, № 13, стр. 56—59.

К несчастию (стр. 238). Впервые — ВЕ, 1806, № 5, стр. 50—52.

К Лауре за клавесином (стр. 240). Перевод стихотворения Ф. Шиллера «Laura am Klavier». Впервые — ВЕ, 1806, № 2, стр. 112—114. В том же году в № 7 ВЕ (стр. 175—177) был опубликован перевод этого стихотворения Державиным. *Орковы поля* (римск. миф.) — подземный мир.

Торжество Александрово, или Сила музыки (стр. 241). Перевод кантаты Джона Драйдена (1631—1700), английского поэта и драматурга, «Alexander's feast; or the Power of musik». Впервые — ВЕ, 1806, № 4, стр. 273—279. Кроме Мерзлякова, кантату Драйдена переводили Востоков («Опыты лирические», ч. 2, стр. 63) и Жуковский (ВЕ, 1813, № 7—8). *Фурии* (римск. миф.) — богини мщения. *Перуны* — здесь — молнии. *Персеполь* — столица древней Персии, разрушенная Александром. *Цецилия* — святая, покровительница цеха музыкантов.

Элегия (стр. 245). Перевод стихотворения Парни «J'ai cherché dans l'absence une remède à mes meaux...» Впервые — ВЕ, 1806, № 9, стр. 22.

К неизвестной певице (стр. 248). Впервые — ВЕ, 1808, № 5, стр. 13—17. Стихотворение идейно и тематически связано с переводом «К Лауре за клавесином».

Призывание Каллиопы на берега Непрядвы (стр. 250). Впервые — ВЕ, 1808, № 22, стр. 109—112. *Каллиопа* (греческ. миф.) — муза эпической поэзии. *Помона* (римск. миф.) — богиня плодородия. *Флора* (римск. миф.) — богиня весны, цветов и урожая. *Converted* — нимфы гор.

К Элизе, которая страждет продолжительною болезнию (стр. 252). Впервые — ВЕ, 1808, № 10, стр. 103—105. Стихотворение датируется весной 1808 г. Обращено к Вельяминовой-Зерновой.

Надгробная песнь З.... А....чу Буринскому (стр. 254). Впервые — ВЕ, 1808, № 13, стр. 56—58. Захар Алексеевич *Буринский* (1780—1808) — рано умерший талантливый поэт. Творчество Буринского высоко оценивалось современниками, однако в значительной части осталось в рукописях. О «превосходных стихах» Буринского пишет С. Жихарев (Записки современника. М.—Л., 1955, стр. 11). Жихарев приводит образец поэзии Буринского — его стихи на смерть А. Давыдовой, интересные ритмическим новаторством поэта:

На ее могиле есть цветок незримый,
Всюду разливает он благоуханье,
Он цветок заветный, он цветок любимый,
Он воспоминанье
И вечно — душистый, цветок неизменный,
Не боится бури, не вянет от зною,
Сторожит сохранно имя преселенной
К вечному покою.

Маршрут в Жодочи (стр. 256). Впервые — в тексте книги М. А. Дмитриева «Мелочи из запаса моей памяти». М., 1854, стр. 104. Датируется предположительно 1810—1812 гг. — временем наиболее частых посещений Мерзляковым поместья Вельяминовых-Зерновых (см. примечание к песне «Среди долины ровныя...» стр. 292). *Жодочи* — подмосковное поместье Вельяминовых-Зерновых. *Поклонная* — гора на юго-западной окраине Москвы. *Сетунка* (Сетунь) — приток Москвы-реки. *Очаков* (Очаково) — расположенная в 8 верстах от Москвы по Калужской дороге деревня М. М. Хераскова. *«Россиада»* — эпическая поэма Хераскова. *Ликовая* — подмосковная местность на Калужской дороге.

Разлука и Любовь (стр. 257). Впервые — ВЕ, 1812, № 6, стр. 98—100.

К монументу Петра Великого (стр. 259). Впервые — Амф., 1815, № 8, стр. 39.

Бессмертие (стр. 260). Впервые — Амф., 1815, № 2, стр. 87.

Восток и Запад (стр. 260). Впервые — Амф., 1815, № 2, стр. 87.

Чудесный товар (стр. 260). Впервые — Амф., 1815, № 7, стр. 65. *Вертижи* (франц., искаженное) — головокружение.

Труд (стр. 262). Впервые — отдельной брошюрой: Речь о могуществе веры ... императорского Московского университета архимандрита Иннокентия. М., в университетской типографии, 1825, стр. 52—59. Тогда же перепечатано в ВЕ, 1825, № 12, стр. 241. Видимо, мыслилось автором как часть большого произведения «Гений и труд». Под таким названием Мерзляков включил это произведение под номером 77 в собственноручный список своих произведений (Всесоюзная библиотека СССР им. В. И. Ленина, Рукописный отдел, ф. ОЛРС, п. 24, ед. хр. 2). На это же указывают стихи:

Труд царствует везде: чувств, мыслей воспитатель,
Он гения отец, богатств его стяжатель.

Однако вторая часть стихотворения «Гений» не была исполнена на официальном университетском торжестве, а следовательно, не была и напечатана (была ли она написана? На это указывает вышеупомянутый список, но текст нам неизвестен). Причина, видимо, в том, что Мерзляков приступил к переделке одноименного стихотворения своего студента Полежаева. «Гений» Полежаева был зачитан, однако, лишь через год и опубликован в «Торжественных речах имп. Московского университета», 1826, и в ВЕ, 1826, № 12, в редакции, существенно отличающейся и от первоначального текста Полежаева и от переделки этого текста Мерзляковым. *Девы гор* (греческ. миф.) — музы, девять богинь — покровительниц наук и искусств. *Дриады* (греческ. миф.) — нимфы деревьев, лесные богини. *Бриарей* (греческ. миф.) — сторукий великан. *Экклезиаст* — библейский пророк, легендарный автор одноименной книги Ветхого Завета. *Крез в жизни миг единый знал, когда Солона призывал* — Крез (VI в. до н. э.) — сказочно богатый царь Лидии (древнее государство в Малой

Азии). Согласно сообщенной Геродотом легенде, захваченный в плен и возведенный персидским царем Киром на костер, Крез вспомнил, как греческий мудрец Солон говорил ему, что счастлив не богатый, а благополучно окончивший жизнь, и воскликнул: «О Солон, Солон!». *Демидов* Павел Григорьевич (1738—1821) — внук известного петровского деятеля Никиты Демидова. Интересовался науками и делал многочисленные пожертвования деньгами и коллекциями русским учебным заведениям. *Шереметев* Петр Борисович (1713—1788) — вельможа, известный своими чудачествами и богатством, любивший играть роль мецената.

Из «Освобожденного Иерусалима» Тассо. Песнь третия (стр. 270). Впервые — ВЕ, 1810, № 12, стр. 274—296. Отрывки из «Освобожденного Иерусалима» в переводах Мерзлякова начали появляться в журналах с 1808 г. «Олинт и Софрония» — ВЕ, 1808, № 8; «Адский совет» — ВЕ, 1808, № 1; «Из Тассова Освобожденного Иерусалима» песнь III — ВЕ, 1810, № 12; «Единоборство Танкреда с Аргонтом» — ВЕ, 1810, № 5; «Послы египетские» — ВЕ, 1810, № 2; «Песнь IX из Тассова Освобожденного Иерусалима» — ТОЛРС, 1812, № 2; два отрывка были опубликованы в журнале Амф., 1815, № 5 и 8, «Смерть Клоринды» — тот же журнал, № 10 (см. там же, ТОЛРС, 1816, № 6); «Описание страшного зноя» — ТОЛРС, 1818, № 11; «Очарованный лес» — ТОЛРС, 1819, № 3. Отрывки «Смерть Дудона», «Ерминия», «Олинт и Софрония» были перепечатаны в сборнике «Муза новейших российских стихотворцев». М., 1814. Полностью — «Освобожденный Иерусалим, поэма Торквата Тасса, переведенная с итальянского Алексеем Мерзляковым», ч. 1—2. М., 1828. Печатается по тексту издания 1828 г. Перевод был задуман в период борьбы с карамзинизмом и размышлений Мерзлякова над эпической поэзией (1802—1815). Характерно, что именно на перевод Тасса указывал Батюшкову Гнедич, желая направить его на путь высокой поэзии. Батюшков — убежденный сторонник малых жанров — раздраженно отвечал: «Ты мне твердишь о Тассе или Тазе, как будто я сотворен по образу и подобию божиему затем, чтоб переводить Тасса. Какая слава, какая польза от этого? Никакой. Только время, потерянное, золотое время для сна и лени» («Русская старина», 1877, т. 3, стр. 230). Перевод был, в основном, завершен к 1813 г. 14 марта 1813 г. Мерзляков писал Ф. М. Вельяминову-Зернову: «Тасс мой сохранен (после пожара Москвы. — *Ю. Л.*). Живучи в уединении, одним только им отводил я душу. Знаете ли Вы, сколько у меня переведено? 17 песен. Осталось только три, которые надеюсь кончить нынешней весной» («Русский архив», 1861, № 3, стр. 1076). Однако печатанье перевода затянулось до 1828 г. Письма Мерзлякова свидетельствуют, что причиной были материальные затруднения. *Сцилла* (Скилла) (греческ. миф.) — морское чудовище, обитающее в Сицилийском проливе. *Бетиль* (Вефиль), *Самарит*, *Вифлеем* — города в Палестине. *Архистратиг небес* — архангел Михаил. *Гедера* (hedera) — плющ.

СПИСОК СТИХОТВОРЕНИЙ А. Ф. МЕРЗЛЯКОВА, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В ДАННОЕ ИЗДАНИЕ, С УКАЗАНИЕМ ПЕРВЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

Алексис — ВЕ, 1806, № 2.
Альцеста, из трагедии Эврипидовой сего имени — ВЕ, 1808, № 7.
Амур в первые минуты разлуки с Душенькою — ВЕ, 1809, № 10.
Антигона, из трагедии Софокловой сего имени — П и П, ч. 1.
Аполлон, грядущий против Тифона — ВЕ, 1915, № 12.
Аполлон у Адмета — ТОЛРС, 1817, ч. 8.
Архитас <Из Горация> — «Сочинения в прозе и стихах», 1824, т. 5.

Благость — ВЕ, 1811, № 17.
Благотворителю московских муз Демидову — ВЕ, 1812, № 7.
Благотворителю наук — ВЕ, 1822, № 1.
Больному другу И. А. Л—у — Пр. и пол., 1798, ч. 18.

В альбом против альбомов — Амф., 1815, № 7.
Великие явления на севере — Пр. и пол., 1797, ч. 13.
Власы Вероники (Каллимаха) — ВЕ, 1828, № 23—24.
Возобновление Минервина храма — ВЕ, 1817, № 15.
Волхование <Из Виргилия> — «Эклоги».
Воспитание римлян <Из Горация> — П и П, ч. 2.

Галл <Из Виргилия> — ВЕ, 1805, № 20.
Гармония — ТОЛРС, 1822, ч. 1.
Гекуба, трагедия Эврипида, сцены (Смерть Поликсены) — ВЕ, 1808, № 4.
Гений отечества и музы — «Речи, произнесенные в торжественном собрании императорского Московского университета, июля 5 дня, 1828 года». М., 1828.
Гимн Аполлону (Каллимаха) — П и П, ч. 2.
Гимн Вакху <Гомеровский гимн> — П и П, ч. 2.
Гимн Венере <Гомеровский гимн> — П и П, ч. 2.
Гимн Зевесу (Из Клеанта) — П и П, ч. 2.
Гимн Луне <Гомеровский гимн> — П и П, ч. 2.
Гимн Минерве <Гомеровский гимн> — П и П, ч. 2.

Гимн непостижимому — «Утренняя заря», 1803, № 2.
Глас божий в громе — ТОЛРС, 1818, ч. 11.
Глас народа отсутствующему отцу отечества — Амф., 1815, № 3.
Глас радования восхищенных муз по случаю прибытия в Москву императора Александра I — ВЕ, 1816, № 16.
Гробница — «Идиллии».
Гроза — Пр. и пол., 1797, № 14.

Дамет и Меналк <Из Виргилия> — «Эклоги».
Дафна <Из «Превращений» Овидия> — П и П, ч. 2.
Дафнис <Из Виргилия> — «Эклоги».
Дидона. Из «Энеиды» Виргилиевой книги IV — П и П, ч. 1.
Для альбома — Амф., 1815, № 5.

Его величеству государю императору в день высочайшего прибытия в Москву — ВЕ, 1816, № 15.
Его императорскому величеству от верноподданных воспитанников Благородного пансиона, учрежденного при императорском Московском университете — ВЕ, 1809, № 24.
Его императорскому величеству по случаю прибытия в Москву — «Московские ведомости», 1820, № 57.

Зима — «Идиллии».

Ифигения в Тавриде. Сцены из трагедии Эврипидовой — П и П, ч. 1.

К Августу <Из Горация> — П и П, ч. 2.
К Амуру — ВЕ, 1811, № 2.
К Бакалу — П и П, ч. 2.
К Бариле — П и П, ч. 2.
К Виргилию <Из Горация> — П и П, ч. 2.
К Каллиопе <Из Горация> — П и П, ч. 2.
К кн. Д. М. Голицыну — ТОЛРС, 1812, ч. 3.
К Лидии <Из Горация> — Амф., 1815, № 8.
К Л. В. С—ой — Амф., 1815, № 1.
К Меценату <Из Горация> — П и П, ч. 2.
К миру — ВЕ, 1812, № 13.
К Неере — ВЕ, 1811, № 10.
К протекшему 1796 году — Пр. и пол., 1797, ч. 14.
К Саллюстию Криспу <Из Горация> — П и П, ч. 2.
К Секстию <Из Горация> — П и П, ч. 2.
К Талиарху <Из Горация> — П и П, ч. 2.
К Фортуне <Из Горация> — ВЕ, 1808, № 24.
К Цинтии <Из Проперция> — П и П, ч. 2.
К Цинтии <Из Проперция> — П и П, ч. 2.
К Элизе, от которой не получал очень долго стихов своих, взятых для прочтения — «Аглая», 1808, ч. 2, № 1.
К Элизе («Элиза! — что сей взор...») — ВЕ, 1806, № 6.
Кассандра в чертогах Агамемнона, из трагедии Эсхила под названием «Агамемнон» — Амф., 1815, № 7.

Любовь к отечеству — Амф., 1815, № 4.

Маленький птицелов и амур (Бион) — П и П, 4.
Мелибей <Из Виргилия> — «Эклоги».
Мерис <Из Виргилия> — «Эклоги».
Милон — Пр. и пол., 1797, ч. 14.

На всевожделенное его императорского величества прибытие в Москву — ВЕ, 1823, № 16.
На высочайшее прибытие его императорского величества в Москву 6 декабря 1809 года — ВЕ, 1809, № 24.
На семь колечек — ВЕ, 1811, № 2.
На смерть Сафо — П и П, ч. 2.
«Настройте, музы восхищенны...» — брошюра «Всерадостный глас благодарения московских муз вседержавному монарху россов Александру I, торжественно произнесенный апреля 14 дня за изъявленное его императорским величеством всемилостивейшее к ним благоволение в высочайших к начальникам Московского университета рескриптах от 4 апреля сего 1801 года». М., 1801.
Невинность — Пр. и пол., 1798, ч. 17.
Низос и Эвриал <Из «Энеиды»> — ВЕ, 1808, № 20.

Обеты россиан, или Храм российской славы — ТОЛРС, 1812, ч. 1.
Овечки — «Идиллии».
Ода на коронование государя императора Александра I — в брошюре, напечатанной в московской университетской типографии в 1801 г. (см. № 75).
Ода на новый год — «Московские ведомости», 1807, № 1.
Ода на священнейшее коронование императора Николая Первого — ВЕ, 1826, № 21.
Ода премудрости — брошюра «Торжественные речи в полувековой императорского Московского университета юбилей, говоренные в большой аудитории оного июня 30 дня, 1805 года». М., 1805.
Ода, сочиненная Пермского главного народного училища тринадцатилетним учеником Алексеем Мерзляковым, который, кроме сего училища, нигде инде ни воспитания, ни учения не имел — «Российский магазин», изд. Ф. Туманским, 1792, ч. 1.
От Аннушки маминьке при подарке альбома — Амф., 1815, № 5.
От Пенелопы к Улиссу — ТОЛРС, 1812, № 2.

Первая Пиндарова ода — ТОЛРС, 1816, № 5.
Песнь Девворы и Варана — ТОЛРС, 1817, № 9.
Песнь Моисеева на прехождение Чермного моря — «Утренняя заря», 1805, № 3.
Песнь Моисея пред его кончиною к собранному Израилю — ТОЛРС, 1818, № 10.
Песнь на заложение храма Христа-спасителя на горах Воробьевых — ТОЛРС, 1817, № 9.
Пирам и Тисбе <Из Овидия> — П и П, ч. 2.
Поллион <Из Виргилия> — «Эклоги».
Полтава — ВЕ, 1827, № 12.
Послания к Пизонам о стихотворстве — «Утренняя заря», 1808, № 6; Амф., 1815, № 10—11 и 12; полностью — П и П, ч. 2.
Похвалы Друза <Из Горация> — Амф., 1815, № 6.

Природа-учитель — «Утренняя заря», 1808, № 6.
Птицы — «Идиллии».

Ракетка — Пр. и пол., 1798, ч. 18.
Росс, или Обновленная Европа — Амф., 1815, № 1.
Ручей — «Идиллии».

Седьмь вождей под Фивами, сцена из трагедии Эсхиловой — ВЕ, 1806, № 17.
Селадон и Амелия, из Томсона — ВЕ, 1810, № 24.
Силен <Из Виргилия> — «Эклоги».
Сошествие Аполлона — в брошюре «Торжественные речи, говоренные в публичном собрании императорского Московского университета, июля 3 дня 1809». М., 1809.
Старец во гробе — Пр. и пол., 1796, № 17.
Стихи на возобновление Благородного пансиона апреля 14 дня 1814 года — ВЕ, 1814, № 10.
Стихи на восшествие на престол государя императора Александра I — отдельная брошюра под тем же заглавием. М., 1801.
Стихи на открытие новой аудитории в университете — ВЕ, 1819, № 3.
Стихи, написанные во время бала в доме Благородного собрания в Москве по случаю высочайшего прибытия в сию столицу — ВЕ, 1816, № 15.
Стихи на победу русских над французами при Кремсе — ВЕ, 1805, № 23.

Титр и Мелибей <Из Виргилия> — ВЕ, 1806, № 10.

Уединение — «Идиллии».
Утешение в печали — Пр. и пол., 1798, № 18.
Утро — «Утренняя заря», 1805, № 4.

Ход и успехи изящных наук — ТОЛРС, 1812, № 3.
Хор («Гром грянул славы быстропарной...») — ВЕ, 1829, № 12.
Хор детей для маленькой Наташи — ВЕ, 1811, № 13.
Хор «Кого сретают музы...» — в брошюре «Торжественные речи в полувековой императорского Московского университета юбилей... июня 30 дня 1805 г.». М., 1805.
Хор, петый в новой аудитории — ВЕ, 1819, № 13.
Хор, петый в торжественном собрании императорского Московского университета, июня 30 дня 1808 года — в брошюре «Торжественные речи, говоренные в публичном собрании императорского Московского университета, июня 30 дня 1808 г.». М., 1808.
Хор. Подражание псалму 71 — ВЕ, 1826, № 21.

Цветы — «Идиллии».

Человек, удовольствие и печаль — Пр. и пол., 1798, № 18.
Что есть Амур? — Амф., 1815, № 2.

Шувалов и Ломоносов — «Московский вестник», 1827, № 16.

Эдип Колонейский, сцена из трагедии Софокловой — Амф., 1815, № 2.

Электра и Орест при гробе Агамемнона (Из трагедии Эсхиловой «Косфора, или Приносители возлияния») — П и П, ч. 1.

Эпитафии Лазаревым. — «Историческое описание Института восточных языков», СПб., 1865.

Юбилей — ВЕ, 1830, № 12.

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис.* А. Ф. Мерзляков. Портрет Афанасьева. Государственный Русский музей (Ленинград). Воспроизводится впервые.

2. *Стр. 59.* Автограф песни «Я не думала ни о чем в свете тужить...» (Письмо А. Ф. Мерзлякова А. С. Кайсарову). Рукописное собрание ИРЛИ АН СССР (Пушкинский дом).

3. *Стр. 69.* Титульный лист сборника «Песни и романсы А. Мерзлякова». М., 1830.

4. *Стр. 113.* Титул книги Мерзлякова «Подражания и переводы из греческих и латинских стихотворцев», ч. 1. М., 1825.

5. *Стр. 215.* Список стихотворений — автограф А. Ф. Мерзлякова. Библиотека СССР им. В. И. Ленина. Рукописное собрание, ф. ОЛРС, ед. хр. 1—2.

6. *Между стр. 240 и 241.* Могила А. Ф. Мерзлякова на Ваганьковском кладбище в Москве. Фото.

7. *Стр. 269.* Титульный лист книги «Освобожденный Иерусалим. Поэма Торквата Тасса, переведенная с итальянского Алексеем Мерзляковым», ч. 1. М., 1828.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ[1]

[1] Первая цифра обозначает страницу текста, вторая (курсивом) — страницу примечаний.

Подражания и переводы из греческих и латинских стихотворцев

ГОМЕР

САФО

ФЕОКРИТ

МОСХ

БИОН

ТИРТЕЙ

ГОРАЦИЙ

ОВИДИЙ

ТИБУЛЛ

ПРОПЕРЦИЙ

Разные стихотворения

Мерзляков Алексей Федорович

СТИХОТВОРЕНИЯ

Редактор *В. Н. Орлов*

Художник *И. С. Серов.* Худож. редактор *М. Е. Новиков*
Техн. редактор *В. Г. Комм.* Корректор *З. Н. Петрова*

Сдано в набор 17/XII 1957 г. Подписано в печать 22/III 1958 г.
Бумага 84×108/32. Печ. л. 20 3/4 (17,02). Уч.-изд. л. 16,65.
Тираж 10 000. Заказ № 1111. Цена 6 р. 55 к.

Ленинградское отделение издательства
«Советский писатель»
Ленинград, Невский пр., д. 28

Типография № 5 УПП Ленсовнархоза
Ленинград, Красная ул., 1/3

Заголовки греческих текстов в примечаниях на стр. 299—300 набраны без знаков придыханий, ударений и без «точек разделения» ввиду отсутствия соответствующих литер в типографии.

А. Ф. Мерзляков